

НАРОД

НАРОД

НАРОД

НАРОД

НАРОД

НАРОД

НАРОД

НАРОД

НАРОД

1

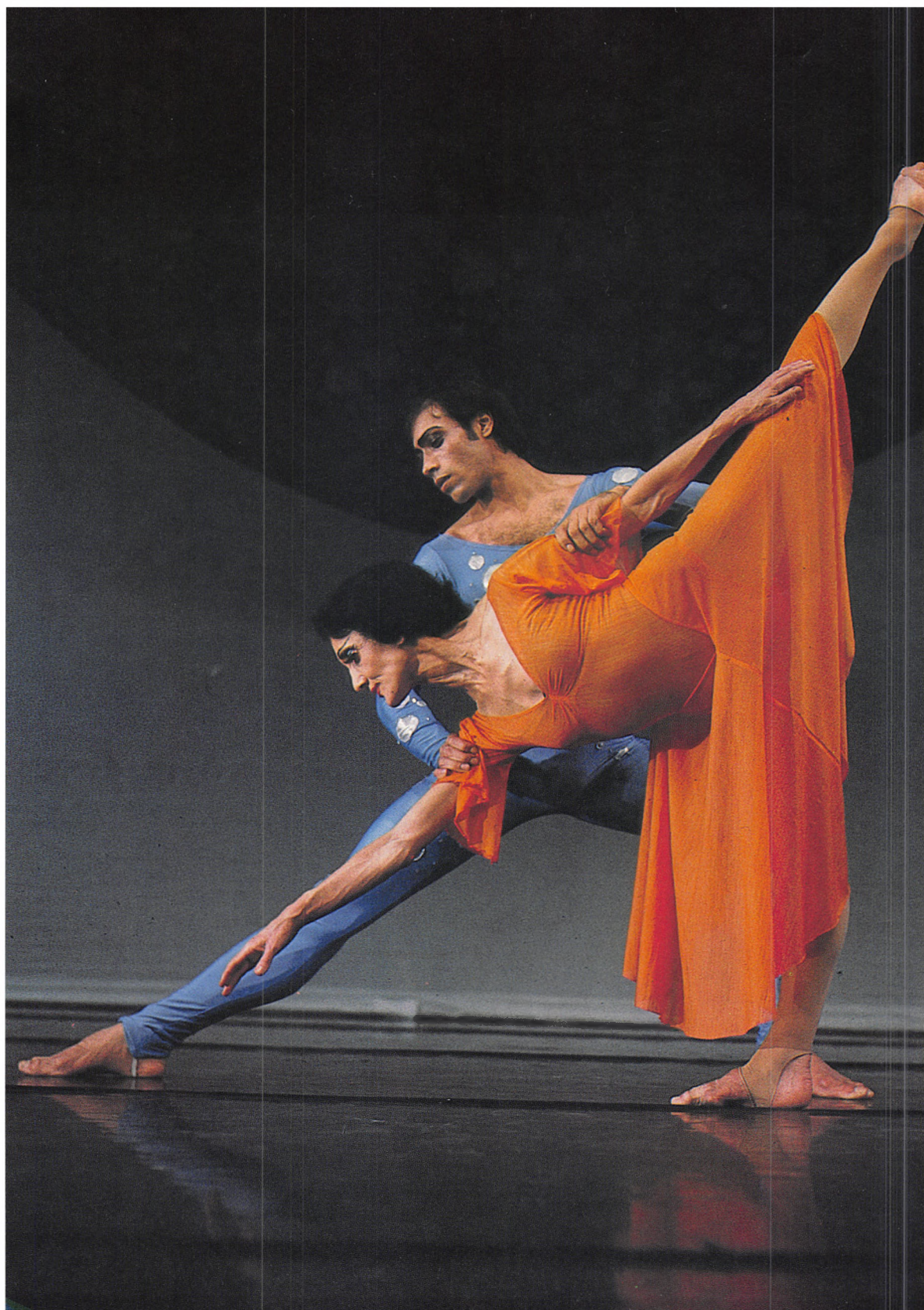
3 7 4 2

1

1984

НАРОД
ДЖУН





НАРОД ЪЪЪЪЪ

*ЖУРНАЛ
ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ*

Иерусалим / №1 / 1984

Председатель редакционного совета *Ицхак Мерас*
Главный редактор *Феликс Дектор*
Литературный редактор *Наталья Рубинштейн*
Художник *Ирена Бат-Цви*

Литературный фонд им. И. Бабеля
Издательство "Тарбут"

На первой странице: *Реувен РУБИН. Танцующие на горе Мерон. Холст, масло. 1926;*
на второй странице: *Танцоры балетного ансамбля Бат-Дор. Фото.*

Printed in Israel

"Express", Jerusalem, P.O.B. 8383

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Давид ФОГЕЛЬ – На берегу большого города. Стихи. <i>С иврита. Переводы Вл. Глозмана и Я. Брагинского</i>	7
Ицхак МЕРАС – Сара. Роман. <i>С литовского. Авторизованный перевод Ф. Дектора</i>	13
Шломо ИБН-ГВИРОЛЬ – Уходя из Сарагосы. Стихи. <i>С иврита. Перевод М. Генделева</i>	62
Давид ШАХАР. Тени образа. Рассказ. <i>С иврита. Перевод В. Кукуя</i>	67
Александр РОЗЕНФЕЛЬД – Звезда Израиля, укажи мне путь... Стихи. <i>С польского. Перевод Ю. Винер</i>	99

К НАШИМ ВКЛАДКАМ

Э. К. – Соавтор природы	34
Шуламит ЙОНАИ – Мастерская в пустыне	83

ЭКРАН И СЦЕНА

Михаил КАЛИК – Король Матиуш и старый доктор. <i>Рисунки Ирены Бат-Цви</i>	105
Эдуард КАПИТАЙКИН – Зелиг и Ентл	149
Уильям МАНДЕЛ – "Черная уздечка белой кобылице..." (Возрождение еврейского музыкального театра в Москве)	155

ВОСПОМИНАНИЯ

Голда МЕИР – Автобиография: Иерусалим – Нью-Йорк – Москва. Главы из книги. <i>С английского. Перевод Руфи Зерновой</i>	161
---	-----

ЗВЕНЬЯ

Раби Имануэль ЯКОБОВИЦ – Еврейская точка зрения	191
Михаил ВАЙСКОПФ – О сюжете Пятикнижия	197
Борис МОЙШЕЗОН – Загадки древних цивилизаций	210
Михаил ВАЙНШТЕЙН – Буденный – критик Бабеля	228
Савелий ДУДАКОВ – Русская партия	235
М. К. – Талисман Александра Сергеевича	239

КНИГИ И МНЕНИЯ

Яков АШКЕНАЗИ – Раби Акива и наши претензии * Михаил ХЕЙФЕЦ – Притча о негасимой свече * Зеэв БАР-СЕЛА – "Кругом одни евреи"	241
---	-----

ХРОНИКА	249
---------	-----

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	253
--------------------	-----

THE PEOPLE AND THE LAND

CONTENTS

PROSE AND POETRY

David FOGEL — On the Shore of A Big City. Poems. <i>Translated from Hebrew by Vl. Glozman and Y. Braginsky</i>	7
Yitzhak MERAS — Sarah. A Novel. <i>Translated from Lithuanian by F. Dector</i>	13
Shlomo IBN-GVIROL — Leaving Zaragossa. Poems. <i>Translated from Hebrew by M. Gendelev</i>	62
David CHAHAR — Shadows of the Image. A Story. <i>Translated from Hebrew by V. Kukuy</i>	67
Alexander ROSENFELD — The Star of Israel, Show Me The Way. Poems. <i>Translated from Polish by Yu. Viner</i>	99

COLOUR PLATES

E.K. — A Co-Author of Nature	34
Shulamit YONAI — A Workshop in the Desert	83

THE STAGE AND THE SCREEN

Michael KALIK — King Matiush and the Old Physician. A Film-Story. <i>Drawings by Irena Bat-Zvi</i>	105
Eduard KAPITAIKIN — Zelig and Yentl	149
William MANDEL — "A Black Bridle to the White Mare..." (The Revival of Jewish Musical Theatre in Moscow)	155

MEMOIRS

Golda MEIR — Jerusalem — New-York — Moscow	161
--	-----

CONTACTS

Rabbi Immanuel JAKOBOVITZ — The Jewish Viewpoint	191
Michael WEISKOPF — On the Plot of the Pentateuch	197
Boris MOISHEZON — Riddles of Ancient Civilizations	210
Michael WEINSTEIN — Budyonny as a Critic of Babel	228
Savely DUDAKOV — The Russian Party	235
M.K. — The Charm of Alexander Sergeevich	239

BOOKS AND OPINIONS

Yakov ASHKENAZI — Rabbi Akiva and Our Claims * Michael HEIFEZ — The Parable of the Inextinguishable Candle * Zeev BAR-SELA — Only the Jews Around	241
JEWISH CHRONICLE	249
ABOUT THE AUTHORS	253

Давид ФОГЕЛЬ

На берегу большого города...

* * *

Летними вечерами
Иногда синеватый пар
Восходит
Над речкой
И бродит пугливо
Вдоль трескотни вечерней.

Иногда окунется ветер
В этот пар — и взлетает,
Приносит густой аромат.

Возле самого леса
Сидят одинокие девы:
Волосы распустили,
Льют драгоценные слезы
Беспричинно.

Дайте и мне подкрасться
Тихо-тихо, вечером летним,
Задрожит душа
Тайной дрожью —
Беспричинно.

* * *

Как пруды — огромны и прозрачны
Были эти дни:
Потому что были мы детьми.

У берегов сидели мы подолгу,
Играючи,
Или спускались плавать
В ясной воде.

Но иногда мы отправлялись плакать
В мамин фартук.
Ибо жизнью были мы полны,
Как вином — сосуды.

* * *

Мы устали,
Пойдем-ка спать.

Кончики дней упираются в ночь,
Упираются в смерть.

Мыльные пузыри
Мы пускали зимой и летом,
А теперь ничего не осталось.

Этот дом
Постоит и после меня.
Если кто-то поселится в нем —
Вряд ли узнает, что был я.

Но ведь мы устали,
Пойдем-ка спать.

* * *

Тяжело ступают кони,
Тяжело ступают — в гору.
Черная ночь навалилась
На нас и на весь мир.

Тяжело скрипит телега —
Точно тысячи покойников на ней.

Песню тихую отправлю
По ночным волнам
Далеко.

Кони слушают, бредут неспешно в гору.

* * *

Белым квадратом зуба
Вонзись в мой палец,
Чтобы красной залился кровью.

Черным глазом —
О нежной ночи душа! —
Проникни в меня:
Веселись там, пляши,
Как темнеющий лес
В бледной ночи.

Или как черная птица
В темно-синем пространстве.

И едва затрепещет рассвет —
Упаду пред тобой на колени
И пред самим собой —
Ты впечатана в жизнь мою.

* * *

Тысячи черных гробов,
Распахнутые, ждут
По всей земле.

Возле них — безногие
Старики-половинки
Протягивают
Длинные тощие руки.

Осторожные люди
Сидят по домам
И живут изнутри.

По ночам подплывает к окну
Длинный и тощий палец,
Стучит потихоньку.

* * *

Все-все
Облысели веселья,
Увяла моя голова.

Долгий прошли мы путь,
Пока не притащились сюда,
В никуда-то.

А теперь опустевший мир
Осадил нас со всех сторон,
Пляшет повсюду дождь.

В уголке ночи густой
Давай-ка от страха укроемся —
Я и ты.

* * *

Рыдающий день осенний
Бледной дрожащей рукой
Осторожно снимает черное платье
С усадьбы сонной твоей.

У белого дворца,
Нахмурившись, липа стоит,
Нагая красавица.

Слегка поклонюсь ей:
"Привет передай госпоже!".

А ты —
Все еще дремлешь в покоях своих.

* * *

Ты сидишь возле меня,
Наши тени огромны.

Гаснет свеча.
Радость уже приходила, уже ушла.

Сердца томятся,
Тоскливой тревогой полны,
Как у детей, страшной виной
виноватых.

Ты сидишь возле меня,
Наши тени — огромны.

Перевод Вл. Глозмана.

* * *

На берегу большого города буду сидеть,
усталый буду сидеть.

Когда-то был у меня отец,
папа печальный, молчаливый.

Летним приятным вечерком
шептались темные деревья.

Когда-то было у меня село.

На берегу большого города буду сидеть,
усталый буду сидеть.

* * *

Топот армий по всему свету —
все вышли в бой.

Дух убийства везде торжествует,
а я еще малость тут задержусь.

И меня, знаю, не обойдет,
и жену, и ребенка.

Для чего убью и буду убит?

Из этой долгой смерти мы вышли
короткий мост жизни
пройти торопливо
к долгой смерти.

И бедны мы,
и голодны.

Слепой туман
в мягком снеге валяется.

Запрудил на моих глазах улицу
и волны леса
с горы скользящие,
И нет у нас тепла.

Вот еще осталось у меня
немного ничего.

Сварю ложку супа
И позову бедняка
поест со мной.
И лечь возле меня
на постель из сена.

Перевод Я. Брагинского.

* * *

В сутолоке дневной
Идет сквозь ревушую улицу
Очень пугливая курица
В городе милом и дальнем,

А где-то поближе к вечеру
Пронесутся два ряда каштанов
В направлении тишины:
Их речи залиты ночью.

Мы с тобою тихо ступаем
По луною шитым коврам,
Уже мы успели скинуть
Лохмотья тяжелого дня.

А когда потаенный возница
На ночь замахнется кнутом,
Мы вновь налакаемся вдоволь
Белизны промелькнувшего детства.

Перевод Вл. Глозмана.

Ицхак МЕРАС

Сара

Роман

1.

Она забыла, что рядом с ней, в постели, спит солдат.

И зеленое дерево снова шумело над всей землей.

Это потом уж, когда проснулась, все было иным и выглядело по-иному, но пока что она спала и улыбалась во сне.

Ей снился тот самый сон, который видела уже много раз и не только во сне. Иногда, если никого не было рядом, она грезила наяву, о чем-то задумавшись или тихо молясь, хотя молилась редко.

А пока что она спала, и первые петухи, пропевшие в близком селенье самаритян, не разбудили ее, хотя обычно будили, и тогда она злилась, потому что было рано, и будильник звонил гораздо позже, чуть ли не час спустя.

В эти предутренние часы, еще лежа в полудреме, она тоже видела свой сон, хоть и не всегда с начала и до конца.

Но ей и этого было достаточно, она не старалась вызвать то, что будет после, или то, что было перед этим.

Зато в каждом, пусть даже мимолетном сне ей снилось это дерево.

Одинокое дерево, которое выросло, распустилось, вымахало неведомо как на песчаной пустоши, где никто не поливал его, и не было поблизости другого такого дерева, и вообще никаких деревьев, лишь кустарник мелкий жался к земле, пряча голову, чтобы не пропасть на раскаленной от зноя почве, почти не знавшей никакой влаги, кроме скудной ночной или утренней росы.

Солдат застонал во сне и повернулся на другой бок, но она не слышала.

Дерево, то самое дерево, и теперь стояло на высоченной песчаной дюне.

Вечерами, придя с работы, она любила забраться в постель, свернуться клубочком и смотреть на это дерево. Так и смотрела год за годом, хотя когда-то,

давным-давно, дерево было молодым, и она глядела на него из барачного окошка, а теперь — с высоты шестого этажа, но дерево и отсюда не казалось меньше, потому что разрослось, разветвилось за столько лет, и его могучие, облизанные ветрами корни были похожи на уходящие в землю руки.

Под деревом курчавилась трава — зеленый лоскут, живая поляна среди желтой песчаной пустоши, возникшая тоже давным-давно, в тот год, когда всю зиму лило как из ведра и земля ненасытно впитывала влагу.

Потом ее так и подмывало схватить ведра, набрать воды и сбегать полить траву, да все неудобно, неловко было, и поэтому она каждое лето с нетерпением ждала прихода осени и зимы — ждала дождей. И когда прыскал первый, пусть даже самый мелкий дождик, глаза у нее сияли так, словно сама она, изнуренная жаждой, глотала воду. Потому что однажды покрылась поляна алыми цветами, и потом они расцветали каждый год, и казалось издали, будто вся поляна в красных, спелых ягодах.

Солдат спал, и она пошла с Давидом.

2.

Она шла по ягоды с Давидом, хоть и не было тогда еще ни ягод этих, ни цветов, и трава была чахлой, и само дерево — совсем молоденьким.

Был вечер Судного дня.

Весь длинный барак — старики, их дети и внуки, несколько темных верениц, выбеленных седыми бородами и молитвенными покрывалами, — вернулся после богослужения, и теперь уже все лежали, но не спали, а кряхтели, стонали, вздыхали, вымаливая прощенья за грехи и проступки уходящего года, а дети ныли, канючили и поминутно хлопали дверьми, выскакивая на двор, — переели, к посту готовясь.

Эти звуки распирали, взрывали тесные комнатки барака, и тонкие асбестовые стенки тряслись и трескались, а под полом отчаянно пищали наглые крысы, сбиваясь в кучи и налезая друг на дружку.

Она всем лицом, губами, носом, приникла к груди Давида, а он гладил ее плечи.

Крысы гомозились, пищали, не переставая.

Тогда она села на кровати и, прижав ладони к ушам, прошептала:

— Не здесь...

— Почему?

— Не могу я... с крысами...

— Ну, что ты...

— Не хочу, чтобы мы... чтобы ребенка... здесь...

Он тоже сел, обнял ее.

— Ты не любишь меня? — спросил он.

— Только не здесь...

- А где же?
- Там...
- Где там?
- Под деревом... на поляне...

Она была босая, в одной сорочке, а он — тоже босой и голый.

И пошли они вдвоем, и никто их не видел, потому что той ночью все молили Бога простить их за грехи уходящего года, просили не осудить их, не покарать, помиловать, дать пожить еще год, до другого Судного дня.

Они поднялись на высоченную дюну, где на самой вершине стояло дерево, а под деревом курчавилась трава.

И легли на землю, и трава обожгла студеной росой — была уж осень, и они обнялись, и вверху, над редкой, тихо шумящей тополиной листвой, в густой синеве мерцали звезды, потому что небо той ночью было ясным, безоблачным.

3.

В это утро ее сон повторялся несколько раз подряд.

Она берет Давида за руку, они пересекают дорогу и бегут по песку, и песок не слишком вязкий, чуть-чуть только; ноги ступают легко-легко, так и взлетают сами, а песок еще теплый под хрупкой верхней корочкой, проваливающейся под ногами.

Там, высоко на вершине, — дерево. И они взбираются на самый верх, бегут к тому дереву, а оно все ближе, ближе, и кругом тихо, лишь скрип песка да шелест листьев, и на всем белом свете — как в начале: ни души больше, только двое, он и она.

Не было прежде никого и ничего, все только начинается. И сама она тоже только-только началась.

С той ночи.

Она улыбалась, и даже вторые петухи самаритянской деревни не могли ее разбудить.

Может быть, она потому не спешила просыпаться, что хотела еще раз взойти на дюну, может быть, потому, что слишком тяжело ей дались последние две недели, а может, — из-за солдата.

4.

Солдат — немолодой уже, с волосатой грудью, тронутой сединой, — нерешительно стоял в дверях спальни.

Подушка, с которой недавно поднял голову, еще хранила его тепло, а широкий тугой матрац не успел расправить морщины измятой простыни и неглубокую вмятину, продавленную его грузным телом.

Он смотрел в угол.

Серая капля масла, оставив извилистый жирный след на выщербленном прикладе старой винтовки, застыла посреди одной из желтых плиток пола.

А рядом, откинув пустой рукав, валялся зеленый ком гимнастерки и сидели на белой табуретке грязные солдатские брюки.

Солдат отвел глаза, но теперь на него смотрели замызганные ботинки с тупыми сбитыми носами и ссохшимися, вываленными по-собачьи бурыми языками, с которых серой слюной стекали пыльные шнурки.

Он поднял глаза и увидел перед собою зеркало — огромное, вполстены, где отразилась вся эта маленькая спальня, с полированным деревянным шкафом до потолка, с большим окном, выходящим на восток, и с широкой кроватью, на которой спала она.

Она спала, раскинув руки, и они плыли, текли, катились, вились белыми речками, которые сужались к устью и разбегались пятью протоками, уходившими пятью алыми ногтями в цветную простыню, как в землю.

Ему снова хотелось целовать эти руки, гладить ее открытую грудь и острый сосок, который вечером и ночью был набрякшим, как ягода, а теперь — розоватым и прозрачным, потому что в открытое окно струился розовый сумрак, который оседал, окутывал пеленою все, и потому что занималась заря, и уже дважды пели петухи.

Он осторожно сел на кровать, поежился и прикрылся простыней, заметив свою наготу и застеснявшись самого себя, но вскоре отбросил простыню, а затем стянул простыню и с женщины и смотрел, как мелкие пупырышки выступают у нее на животе и бедрах.

Она приоткрыла глаза, но, видно, была еще во сне, потому что ничего не сказала, лишь протянула руки и прижалась лицом к его груди, и скользнула губами вниз, и он закрыл глаза и все забыл, потому что еще не ведал такой ласки.

Он вскрикнул.

5.

Станный звук вдруг прорезал тишину утра, и они вздрогнули, ибо звук этот напомнил вой сирены.

Она зажмурилась, вся сжалась и лишь потом протянула руку, нащупала маленький будильник, стиснула его, и странный звук оборвался, но она все еще слышала сирену — ту самую, что внезапно взвыла в субботу, в первый день войны.

Ее надсадный вой был таким же острым, пронзительным, как когда-то — давным-давно — истошный вопль матери, которого никто не слышал, потому что мать кричала молча.

Она, маленькая девочка, выбралась из тайника за шкафом, подбежала к окну и при жидком свете фонаря увидела, как два полица остановили бредущую к дому мать.

Кто они были, эти мужчины в форме?

А может, не было их?

Может, их вовсе не было, думала она, закрыв глаза и не выпуская из рук будильник — черную коробочку из пластмассы, ящичек с белым циферблатом, боясь, чтобы он опять не взвыл.

Разве важно то, что было когда-то?

Там, под деревом, началась она, лишь тогда и родилась на свет.

Так почему же в субботу, в Судный день, когда завывала сирена, она подбежала к окну и смотрела, как смотрела когда-то девочка с большими желтыми звездами на груди и спине, маленькая девочка, которая увидела, как два полиция остановили бредущую к дому мать?

Разве было такое?

Не было.

На поляне, в густой сини ясной ночи началась она.

Под деревом.

6.

Она открыла глаза.

В глубине зеркала отражалась широкая кровать, а на кровати — под двумя простынями — лежали женщина и мужчина.

Женщина эта была она, а мужчина — солдат, которого привела вчера вечером, но кровать была не здесь, она была далеко, в глубине зеркала, и те двое на кровати, тоже далекие, — совсем не она и не солдат...

— Эй, ты! — крикнула она, глядя, как женщина в глубине зеркала вместе с ней открывает рот, шевелит губами, как дрожат ее длинные ресницы.

Она взмахнула рукой, согнула пальцы.

И женщина подняла руку, показав ногти.

Она встряхнула головой.

И та откинула голову, и длинные каштановые волосы поднялись волной, взметнулись, потекли по обнаженным плечам. Словно кукла-марионетка, которую и на палочках не держат, и за веревочки не тянут.

Странная кукла.

Она усмехнулась.

— Эй, старик! — снова крикнула она, на этот раз — кукле-солдату.

Он смотрел на нее из зеркала.

— Кто ты? Как тебя звать?

— Как звать? — переспросил солдат, глядя на мужчину в зеркале, и ответил:

— Авраам. А тебя?

— Сара! — И глаза у нее блеснули.

— Неправда, — сказал он.

— Сара.

— Врешь!

— Сара.

— Я тебя лучше никак не буду звать, — буркнул солдат.

Он сел на кровати и потянулся за одеждой.

Она смотрела в зеркало, на чужого мужчину, который вдруг оказался Авраамом: вот он не торопясь натягивает майку, надевает мятую зеленую гимнастерку, влезает в солдатские брюки, которые, видно, слишком узки и коротки ему.

7.

Вчера-то не разглядела, что брюки малы ему, наверняка бы он показался ей смешным, если б видела.

Но он совсем не казался смешным.

Солдат ведь.

Хоть и пожилой, непригодный для фронта, но годный для прочих разных армейских дел — тушить пожары, вытаскивать людей из-под развалин, привязывать раненых к носилкам и спускать на веревках с третьего, пятого или десятого этажа, рыть окопы, если надо, а если нет такой надобности, то таскаться с тяжелой, выбракованной всеми прошлыми войнами винтовкой тут, рядом, в городе, поселке, деревне; просто-напросто расхаживать с винтовкой за плечами, чтобы люди знали — их не только на фронте защищают; чтобы видели — охраняют повсюду их, даже здесь, у дома.

Было легче на душе, заслышав вой сирены, спускаться в бомбоубежище, захлопывать за собой массивную железную дверь, дышать прелым подвальным воздухом, ловить, задравши голову, тусклый свет, едва сочащийся из крохотного отверстия под потолком, и не чувствовать себя заживо погребенной в бетонном ящике, зная, что там, за дверью, остаются пожилые солдаты, которые несут караульную службу, и, если бомба ударит и рухнет дом, они вытащат тебя из-под развалин — живой или мертвой.

Может быть, и живой.

Они, эти пожилые солдаты, должны были оставаться еще и последними защитниками города.

Об этом, конечно, никто не думал, потому что война была далеко, очень-очень далеко.

Один фронт, — который на юге, — отошел, извиваясь ломаными линиями танков и трупов, отодвинулся, перескочил по водам в Африку.

Другой, — на севере, — отступил за горы, побросав в зловонных бункерах обезглавленные обрубки тел.

Он совсем не казался ей смешным, этот пожилой солдат. Да и почти что не виден был на темной улочке, среди затемненных домов, потому что уже смеркалось.

Только слышала его голос, злой, осипший.

— Затемнить! — кричал он, размахивая фонариком. — Затемнить!

Никто ему не ответил, и песня лилась — ни тише, ни громче:

*Ахаке леха,
Ахаке леха бэ-соф а-дэрех...**

Так со второго дня войны пела одна популярная певица.

Тяжелая штора упала на освещенное окно, вдруг стало совсем темно, только маленькая, закрашенная синим лампочка у подъезда, под которой она стояла, вырвала из темноты приближающийся фиолетовый силуэт.

Солдат остановился, замер.

— Здравствуй, — услышала она знакомый сиплый голос.

Так сипел Давид, когда возвращался, усталый, после трудных полетов.

Она молчала.

— Ты откуда сюда свалилась? — спросил усталый голос.

— Из больницы, — ответила она. — А ты?

— С неба... — просипел он.

— С того света, — сказала она.

— Да нет!

— Из преисподней.

— Пусть будет так, — сказал он. — Важно, что ли?

— Нет, — ответила она.

Они притихли и стояли друг перед другом молча, и она почувствовала на себе его взгляд, такой знакомый, словно ладонь, скользящая по ее распущенным волосам, лицу, груди, потом по животу и бедрам. Она прикрыла руками грудь, заметила, что верхняя пуговица не застегнута, и опустила голову; она была еще в белом заношенном халате — так и не переделась, забыла переодеться, выбежав из больницы, а халат этот был ей узок и короткий, она еще утром скинула свой, грязный, залитый кровью, и схватила первый попавшийся под руку, но халат был чужой, не ее, и нижняя пуговица не сходилась, и голые ноги вылезали — длинные, как бы идущие от самой шеи.

— Ты... Ты узнала меня? — спросил солдат.

— Конечно, — ответила она.

— Я так и думал, — обрадовался солдат. — Я знал, что ты узнаешь. Стой здесь, никуда не уходи. Подождешь?

— Да, — послушно ответила она.

— Только не уходи отсюда. Не уйдешь?

— Нет.

Он загорелся как мальчик, и она улыбнулась.

— Я ребятам пойду скажу...

— Я постою. Иди.

Она одернула халат — слишком узкий и слишком короткий, который был чей-то, не ее, потом, сжав ноги, с трудом застегнула нижнюю пуговицу и снова растянула и смотрела на солдата, который тут же пропал во тьме, но еще долго были слышны его шаги, тяжелые и усталые.

**Буду ждать тебя, буду ждать в конце пути... (Иерит.)*

Она так долго ждала, что, задумавшись, не заметила, как он вернулся, и вздрогнула, вдруг услышав тихий голос:

— Зато ты, ей-богу, — прямо с неба...

Ничего не ответив, она вошла в подъезд, и он последовал за ней, тоже молча, и не обменялись ни словом, пока лифт поднимался не шестой этаж, пока она открывала квартиру.

А когда щелкнул выключатель, он сказал:

— Можно помыться? Я грязный. Весь в грязи.

— Вторая дверь, — сказала она. — Уборная рядом. Я дам полотенце...

И вдруг осеклась на полуслове, не понимая, почему она должна объяснять Давиду, где у них ванная и где уборная.

В гостиной уже горел свет, но они все еще шли на ощупь, как слепые.

8.

Он встал, и она увидела, что не ошиблась.

Действительно, брюки были коротки и узки ему, и теперь, при свете восходящего солнца, вдруг брызнувшего в окно, вид у него был смешной, мальчишеский.

Встав, он спросил:

— Ты... одна живешь?

— Одна.

— Совсем одна?

Она помолчала, потом спросила:

— А тебе-то что?

— Нет, ничего... Не знаю. — И добавил: — Я подумал: может, муж на войне, на фронте, а жена — с другими.

— Ну и что?

— Не хотел бы я быть ее мужем.

— А спать с ней... хочешь?

— Ну чего там... Сама ведь сказала, что одна...

— Но вчера ведь ты не спрашивал?

Он молчал.

— А сегодня? Когда будил меня спозаранку?

Он зашнуровывал ботинки и сопел, потому что места было мало, ногу поставить некуда, и приходилось завязывать шнурки, чуть ли не в три погибели согнувшись, вот он и сопел.

— Тебе-то что? — снова спросила она.

Он выпустил шнурки, с которыми никак не мог справиться, — они путались друг с другом, обвивались вокруг пальцев, не лезли в сплюсненные дырочки ботинок, — и смотрел перед собой на полированную дверцу шкафа, где виднелось его бледное отражение.

— Я хотел... я только хотел сказать... хорошо, что ты одна...

— Хорошо, что я одна!

— И я говорю: хорошо, когда человек один.

— А тебе? Плохо? — спросила она.

Он помолчал, глядя на бледную фигуру в шкафу, а потом ответил:

— И мне хорошо.

И повторил:

— Мне тоже хорошо. Разве я не говорил?

— Нет.

Она обрадовалась.

Он нравился ей таким, как есть, солдат.

Ведь мог приплести какую-нибудь историю: про сына или двух сыновей, и что оба, мол, офицеры, а офицер — он первым идет в атаку. И что еще, мол, дочь у него, и, чего доброго, тоже на фронте, потому что служит шофером или санитаркой. И, дескать, мать их тихо сходит с ума, потому что сам он — тоже солдат, хоть и немолодой уже, но солдат.

А он просто ответил:

— Мне тоже хорошо.

Она любила правду, какой бы та ни была.

Она и от Давида всегда хотела правду: правду, правду и только правду, ибо все равно ведь придется однажды изведать ее вкус.

9.

Какой бы ни была она, эта правда, чуешь ее губами, горлом, языком, ноздрями, глазами, пальцами, всем телом...

Война тогда отгремела быстро, за шесть дней, потом ее так и назвали — Шестидневной.

Она целовалась на улице с незнакомыми людьми, как в самый большой праздник.

Это и в самом деле был праздник, потому что все праздники, большие или малые, приходят и уходят, независимо от того, сколько в мире женщин, и праздники не перестанут приходить только от того, что она — не единственная женщина в мире.

Так было тогда, и тогда она извела вкус правды.

После войны, когда праздник отшумел...

А до войны — нет, Давид не лгал, он и сам еще не знал правды.

Шмулик тогда пошел в военное училище.

Хотел быть летчиком, как отец.

Она не хотела.

Да разве запретишь ему? Разве удержишь?

Такая жизнь у них.

— Разве я не возвращаюсь? — успокаивал Давид. — Я всегда возвращаюсь. Отлетал — и домой. Не так ли?

- Да, ты возвращаешься.
- И он тоже: закончит полеты — и домой.
- Домой! — И, помолчав, добавила: — А ты?

Давид смеялся.

- Ты же сама сказала. Я всегда возвращаюсь!
- Да.
- Мы всегда будем вместе. Нас никто не разлучит, не разведет.
- Нет?
- Нет. Никогда.
- Ни... женщина? Ни...
- Никто и никогда!

Очень любил, наверно, слепо любил ее и Шмулика, если не думал тогда, что жизнь есть жизнь.

Все меняется.

Вдруг все идет не так.

А почему? — из-за женщины — потому что в мире много женщин, и нет уже, нету больше той, одной-единственной, когда приходит война.

Она долго ждала, прежде чем поняла, что не единственная.

Многое менялось тогда, и бараки сносили.

Все расставались.

Один за другим пустели асбестоновые домики.

Семьи темными вереницами уходили, разъезжались кто куда, почти никого не осталось тут.

Может, не стоило уходить из барака, думала она после того большого праздника, когда ждала, ждала, да так и не дождалась. Может, не стоило уходить из барака, прожив тут столько лет.

Разве плохо им было?

Ничего, что тесно, зато мальчик рос — Шмуэль, Шмулик, Шмульт.

Холодно зимой? Но разве Давид не грел ее?

Жарко летом? Но чем же плохо, когда солнышко светит-греет? А по ночам садится живая прохладная роса.

Ведь за дорогой, на дюне, рос, зеленел тополь, их дерево, и трава под ним с каждой зимой была все гуще, и не жухла, не вяла, и была мягкой, как постель.

Она радовалась тогда, что сбежала из барака.

Сбежала из-за крыс, polegших всюду маленькими серыми кочками, потому что раньше, чем стали ломать бараки, прибыли крысоловы, приехали и уехали, а на другой день вся земля, все дворы от стены до стены были завалены вздувшимися крысиными тушками, ступить было некуда.

Хоть и не из-за крыс, конечно.

Они могли уже переехать и собиравались на новую квартиру, только барак их был последний в ряду, и они задержались дольше других, не спешили, потому что Давид вечно пропадал, задерживался в полетах, не возвращаясь по неделе и по две, но она знала номер телефона и звонила ему, и часто дозвани-

валась, но как увидела эту пададь серую, увидела, что нет никого кругом, лишь она одна, даже сын на каникулы не едет, так бегом помчалась из старого дома в новый и не вернулась больше, хотя в новой квартире еще ни воды, ни света не было, и братья-двойни, скуластые, с раскосыми монголоидными глазами, лопотавшие что-то такое, чего никто, кроме нее, и понять не мог, но прилежные, сильные оба, помогали ей таскать воду на шестой этаж.

А барак их не успели снести, так и остался один на краю, у самой дороги, между городом и песчаной пустошью. И старая койка там осталась, и жесткий тюфяк на ней.

И каждый день после работы, убравшись в новой квартире и перекусив на скорую руку, она все вечера просиживала на том жестком тюфяке в бараке, дожидаясь чужих людей, подъезжающих на чужой, незнакомой машине, потому что вряд ли известен им новый адрес, а уж старый-то наверняка ведь знают.

И раскосые двойни тоже пошли за ней, стали воду в барак таскать, не зная, что ни к чему ей вода в бараке, и там, на жестком тюфяке, желая хоть чем-то отплатить за воду, что ли, она и легла с ними первый раз, сперва с одним, а потом с другим, потому что братья сидели возле нее на тюфяке и игрались торчащим своим, не зная, что с ним делать.

Может, тем самым отплатила она и той, другой женщине.

10.

Чем платить за добро?

Чем за зло платить?

Она легла на жесткий тюфяк, подняла юбку, развела ноги, подозвала одного из братьев и велела ему лечь на нее, и велела качаться, и впервые почувал он то, что чувствует самец, и слюна потекла у него с подбородка, а глаза стали еще уже, и тогда она спихнула его и позвала брата, и ему тоже была самкой, а потом погнала обоих за водой, и они притащили два ведра и вышли, а она мылась, мылась холодной водой, отмывая низ живота, и между ног, и бедра, стоя сразу над обоими ведрами, а двойни, прижавши носы к окну, таращились на нее снаружи, не понимая, что она делает, и она видела раскосые их глаза, и хотела прогнать их, но не гнала, ей было все равно, потому что покамест они ходили за водой, лежала на жестком тюфяке и не спешила встать, боялась ноги сдвинуть, чтобы не почувствовать склизкое семя на своих бедрах, лишь повернулась набок, и ее ресницы, горячие и сухие, беззвучно слиплись.

И пока те двое глазели на нее, она все мылась, мылась, пытаясь вспомнить, и никак не могла, даже голова разболелась, но так и не могла вспомнить, можно ли понести от монголоида и если можно, то кто родится — монголоид или нет?..

11.

Каждый день ходила она в барак дожидаться незваных гостей, что подъезжают на чужой, незнакомой машине.

Она хорошо знала всю эту церемонию — от начала и до конца, сама не раз в ней участвовала, стараясь точно выполнить все, что было положено ей по роли в этом странном, однообразном, всегда одинаковом и всегда другом представлении.

Обычно в нем четверо действующих лиц.

ОФИЦЕР.

Который сообщает это.

Ваш отец...

Муж...

Брат...

Сын...

Уже не вернется.

Погиб.

Защищая родину.

Смертью храбрых.

ДЕВУШКА-СОЛДАТ.

Которая молча передает какие-то вещи.

Документы, фотографии — одну или несколько, книгу, зубную щетку, недописанное письмо, носовой платок, очки — от близорукости или от солнца, записную книжку, часы, солдатский жетон на цепочке с личным номером, иногда кольцо — обручальное или холостяцкое — золотое, серебряное, позолоченное, из простого металла, с камнем, без камня, или еще что-нибудь.

И — чек. Компенсацию.

Впрочем, нет — чек присылают позже.

Девушка-солдат старается каждый раз не плакать, и плачет — большими, редкими слезами, а порой — вообще без слез, одними сухими черными подглазьями.

ПСИХОЛОГ.

Сама она обычно сидит в сторонке, напряженно прислушиваясь к долгой речи психолога, мужчины или женщины, стараясь что-то понять из нее, но слышит только набор слов, которых не понимает, потому что не может взять в толк, как это муж, брат, отец или сын — уже не вернется.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ.

Который иногда заменяет психолога. А иногда и наоборот.

И она — МЕДСЕСТРА.

В руках у нее потертый чемоданчик — со шприцами, иглами, пакетиками и бутылочками, с успокоительными каплями, таблетками или ампулами.

Знакомая церемония. Постылое, подлое представление.

Каждый день ходила она в барак поджидать чужую, незнакомую машину, потому что не была уверена, известен ли им новый адрес, а может, и потому, что усеянный дохлыми крысами барак был все еще своим, привычным, старым собственным углом, и скуластые двойни всегда провожали ее, и вовсе не каждый день начинали они свою игру, но если уж начинали, она ложилась на жесткий тюфяк, задирала юбку, раздвигала ноги, и братьев уже не надо было

звать, а потом она шла мыться, и даже не гнала их из комнаты, потому что ведра с водой были заранее приготовлены, и она становилась над этими ведрами и мылась, а двойни сидели на койке тихо, молча, не шевелясь и не сводя с нее глаз.

Каждый день ходила в барак.

Пока, наконец, не перестала ходить, потому что однажды чужая машина с незваными гостями подъехала прямо к новому дому — стало быть, знали адрес, и она удивилась, что их так мало: не пятеро и даже не четверо, а всего трое перешагнули ее порог, и уж старались они, старались, говорили и говорили долго-долго, так долго, что ей даже слушать надоело, но она все слушала, хоть и молчала, но слушала.

Не прерывала их.

И вещей никаких не надо было принимать, потому что ничего не принесли. Совсем ничего.

Ибо исчез человек. Пропал без вести.

Усмехнувшись криво, хотела перебить их, сказать:

— Не надо...

Кому это нужно?

Зачем обманывать?

Правда есть правда.

Правду свою она сама знала.

Бросил.

Ушел к другой.

И адрес им дать успел. Знал ведь, еще тогда заведомо знал, что бросит.

12.

Не иначе, как там, в каком-то ином, неведомом краю, далеко-далеко отсюда, тоже был песчаный пустырь, дюны были, а на самой высокой дюне — ветвистое дерево.

Может, тополь.

А может, какое-нибудь другое дерево, с другим названием.

Было все то же утро, и солнце лило в окно багряный свет, а солдат смотрел на женщину.

Она лежала на кровати, разбросав руки и запрокинув голову, утонувшую в мягкой подушке, и тонкая простыня на ней сливалась с каждой складкой тела, и груди были округлыми вершинами Иудейских гор, запорошенных легким снегом, и темные потрескавшиеся губы были бурой, запекшейся почвой Самарии, иссохшей от жажды, и крутая ложбинка между ног была глубокой впадиной Мертвого моря, а длинные, редко вздрагивающие ресницы были жидкими, чахлыми кустами сухих русел Негева, и белые руки текли речками севера, разбегаясь в низовьях узкими протоками, уходившими ногтями в землю.

Солдат стоял, прислонясь к блестящему шкафу и не смея шелохнуться, боялся разбудить ее, потому что, казалось, она спит.

А она шла с Давидом к дереву.

И на нем ничего не было, а на ней — одна сорочка.

Трава жгла холодной росой, и Давид лег на спину и протянул ей руки, и она оперлась на них.

— Кто под небом открытым зачат, тот летать будет, — сказал Давид.

Она смеялась, опускаясь, приближаясь и накрывая его, будто светлым пологом.

— Хочу... чтоб летал, — шептала.

И больше не было слов.

Только светлый полог взмывал и падал белогривой волной, медленной и тяжелой, как вода, и легкой, как пена; а она как ухватилась, так и не отпустила его руки; и не было больше никого ни вблизи, ни вдали, и нигде в мире, только зеленый шелест сверху, а еще выше — униженный блесками гигантский черный купол.

И тогда она застонала, и это был не стон, а вопль, долгий истошный крик, которого, небось, и сама бы испугалась, если б услышала, но ведь не слышала, и это был в ее жизни первый крик, такой долгий и неистовый.

— Тебе пора? — спросила она солдата.

Солдат вздрогнул, когда спящая заговорила.

Она лежала, по-прежнему не шевелясь, только губы двигались.

— Тебе пора уходить? — повторила она. — Уходишь?

13.

В это время на дворе зашумел мотор, взвизгнули тормоза.

Чужие звуки эти донеслись до шестого этажа, и солдат прислушался, а она, лежавшая как во сне, вскочила, села на край кровати, потом кинулась что-то искать, все искала и не могла найти. Он помог бы ей, но не знал, что именно она ищет, а спросить не решался.

Она перерыла всю постель — подняла простыни, подушки, распахнула одну дверцу шкафа, потом другую, снова присела на край кровати, закрыла лицо ладонями и снова встала, но теперь искала только глазами и наконец нашла — зеленый халат, висевший на углу зеркала.

Она накинула халат и заглянула в глаза солдату, то ли его, то ли себя о чем-то спрашивая, но так и не смея спросить.

Тогда он сам спросил.

— Чужая? — спросил солдат.

— Что?

— Машина.

Она неохотно кивнула.

— Ждешь? — тихо спросил он.

Она опять заглянула ему глубоко в глаза, самого его, однако, не видя, и вообще, наверное, ничего не видя.

— Сиди, — сказала она, взяв солдата за плечи и усадив на кровать. — И не откликайся.

Сама села рядом и застыла в ожидании.

Через минуту послышались шаги.

По ступенькам.

На лестничной площадке.

Потом стихли.

И залился дверной звонок.

— Си-ди!.. — беззвучно повторила она одними губами, и ее пальцы вцепились в его руку.

Было тихо.

Только большой, тяжелый самолет, груженный, может, танками, а может, ракетами, замедляя скорость, приближался к близкому аэродрому, и весь дом дрожал, и крылатая тень скользила по крышам, стенам домов, по зеленой поляне и песчаной пустоши, изгибаясь, меняя форму, сужаясь, и расширяясь, и острея.

И, видно, напуганный этой тенью, не ко времени кукарекнул петух в самаритянском селенье.

В дверь позвонили еще раз, неизвестно какой по счету, потому что раньше не слышно было из-за самолета.

Потом наступила тишина.

И опять зазвучали отчетливые шаги — удаляясь.

По лестничной площадке.

А затем по ступенькам — вниз.

Она вышла в гостиную и прильнула к окну, не отодвинув шторы.

Штора была редкой, прозрачной, и она увидела девушку в солдатской форме, которая вышла из дому и села за баранку джипа.

Девушка захлопнула дверцу, и джип, слегка присев на задние колеса, рванулся вперед, рыча разъяренным псом.

— Твоя?

Она обернулась и увидела, что солдат — рядом.

— Одна я. Сказала ведь.

— Так почему непустила?

— Приедет еще. Попозже.

Он уперся ладонями в окно и прижал ее к стеклу, не давая пошевелиться.

— Кто ты? — снова спросил он.

— Сара, — ответила она.

— Как зовут тебя ?.. Имя! Имя твое!..

— Сара.

14.

— Сара?

— Пусти!

Он молчал.

— Отпусти меня, — попросила она.

И он отпустил.

— Уже уходишь?

— Нет.

— Не пора еще?

— Хорошо бы побриться...

— А бритва есть?

— Есть, — ответил он.

Она улыбнулась.

— Будем завтракать? — спросила.

— Да.

— Поджарить яичницу? — усмехнулась она.

— Ага.

— С колбасой?

— С колбасой. Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Нет, правда...

— Я все знаю, — сказала она и скрылась в ванной. — Я сейчас... — донеслось оттуда.

15.

Он ступил в гостиную, будто впервые попал сюда.

Да так оно, собственно, и было, потому что вечером прошел, не задерживаясь, а утром еще не входил сюда.

Кругом на стенах картины, картины.

Синий лес.

Зеленый луг.

Три красных маленьких цветка.

Коричневые пески.

Сиреневая река в белой пене.

Но чего-то не хватало.

Он ходил, кружил по салону, снова присматриваясь, выискивая что-то, чего тут не было и чего ему не хватало.

Так и делал круг за кругом, пока не понял: нет людей на картинах.

Ни людей.

Ни домов.

Ни строений.

Ни птиц или животных.

Не было ничего, что могло бы двигаться, ходить, гулять, глядеть, стоять, ни одной вещи, сделанной человеческими руками, и только деревья, вода, трава и цветы — цветы, трава, деревья и вода.

А еще были две фотографии.

Сбоку, в углу, как бы случайно здесь оказались.

Серый военный самолет на сером бетоне.

С шестиконечной звездой на фюзеляже.

Серое лицо девочки, в сером платочке, сером костюмчике.

С шестиконечной звездой на груди.

Сотни раз видел он эту фотографию самолета: ее можно купить во всех киосках.

И девочку эту видел десятки раз: в газетах и документальных фильмах, в музеях и альбомах.

Но даже эти привычные, знакомые снимки почему-то раздражали, резали глаз, и только потом, приглядевшись, он понял, почему.

Оба снимка — серые, бесцветные, и на обоих звезды закрашены желтым.

Маленькая — на девочке.

И большая — на самолете.

Он провел рукой по измятой гимнастерке, поискав и у себя на груди желтый шестиконечный лоскут.

Нет, не нашупал.

Только все вдруг застыло, вещи, картины, и было тихо, смолкла вода в ванной, ни звука, только его собственное частое дыхание.

Он кинулся в спальню, схватил сумку, винтовку и сам испугался своего отражения — словно призрак в зеркале, и только капля масла на полу, скатившаяся с приклада, была живой; он нагнулся, потрогал эту каплю пальцем, словно пытаясь забрать ее с собой, еще раз потрогал, другим пальцем, и вскочил, услышав живой голос:

— Иди брейся, если хочешь.

— Что?

Она смотрела на солдата, уже собравшегося уходить.

— Уходишь?

— Не-ет, — он смутился и добавил, еще больше смущаясь, не смея поднять глаз: — Пол запачкал... маслом...

— Маслом?

— Ага.

— Ничего, — сказала она, — мне нравится запах масла.

Он поставил винтовку в угол и поднял голову.

Поднял голову, взглянул на женщину и забыл обо всем, потому что снова увидел ее лицо и глаза, голубые, сияющие.

— Ты такая красивая!..

Она, видно, не поняла, что он сказал.

— Почему ты такая красивая, Сара?

Она опустила глаза, застеснявшись вдруг, как девочка, которая впервые слышит такие слова.

16.

Она была еще девочкой, ребенком гетто, привыкшим молча терпеть, беззвучно плакать и радоваться одними глазами.

А может, она так и осталась взрослой девочкой?

Долгую жизнь прожила когда-то девочка.

В толще каменной стены, за шкафом, в глухой темной нише, откуда лишь по ночам ее извлекали дрожащие руки матери, которые поднимали ее над землей, которые грели, кормили, гладили, баюкали, переодевали, сажали на горшок, умывали, поили, причесывали, утешали, ругали, показывали из окна — запыленного окошка — неведомый мир, кривую, узкую улочку меж серых кирпичных стен и лениво качавшийся, почти не светивший фонарь; которые больно зажимали уши, и уже не ушами, а теменем слышала девочка мерный глухой звук — тах-тах-тах, — словно дятел клювом; которые крепко-крепко прижимали к себе, потом как на крыльях уносили в глубь стены, в темноту черной ниши, на мягкое ложе, что взбивали те же руки.

Она была девочкой.

И она побежала на кухню, и зеленый халат, развеваясь, бежал за ней.

17.

— Увидишь, будет вкусно, — сказала она, когда солдат кончил бриться и вошел в кухню.

Он хотел было что-то ответить, но прислушался.

Из соседней квартиры или дома донеслись приглушенные слова:

*Ахаке леха,
Ахаке леха бэ-соф а-дэрех...*

— Ты слышишь? — обрадовался солдат.

— Слышу.

— Тебе нравится?

И, не дожидаясь ответа, включил стоявший на полочке транзистор.

Но из черной коробки послышалась не песня:

”...израильский пилот, израсходовав свой боезапас, направил самолет на...”

— Выключи! — сказала она.

Солдат не понял.

”... фамилия летчика до сих пор не установлена, хотя...”

Она сама выключила радио.

— У меня... выходной... сегодня... — сказала она едва ли не по слогам.

— Извини, я не знал, — сказал солдат. — Не сердись.

— Только один день.

— И у меня, — снова напомнил себе солдат и обрадовался. — Полдня.

Через минуту, спокойно готовя завтрак, она сказала:

— Говорила тебе, что я одна.

— И я.

— Так зачем нам известия?

— Да, конечно...

Он смотрел, чем бы заняться, чтобы не надо было говорить.

Увидел дощечку и белый батон на ней, а рядом — нож.

Широко расставив ноги, взял нож, попробовал лезвие пальцем и неторопливо стал нарезать хлеб, стараясь, чтобы ломтики были тонкими, и одинаковыми, и ровными, и резал, пока батон не кончился.

Он работал бы так и дальше, будь под руками другой батон, потому что надо было молчать, а ему очень хотелось спросить, чьи это две электробритвы в ванной, такие знакомые, виденные столько раз.

Одна — круглая, с тремя вращающимися ножичками — БРАУН, другая — плоская, с вибрационной сеточкой — ФИЛИПС.

Он случайно увидел электробритвы; никогда бы не стал открывать чужой шкафчик в чужой ванной.

Он порезал щеку и инстинктивно открыл дверцу туалетного шкафчика в поисках кровоостанавливающего карандаша или одеколona; такой же шкафчик, с тремя дверцами — тремя зеркалами, точь-в-точь такой же висел у него дома, и были в нем толстый белый кровоостанавливающий карандаш, и одеколон, и ФИЛИПС, и БРАУН. Одна бритва — Ичика, другая — Ури.

Он захлопнул дверцу, схватил полотенце, вытер лицо и выскочил из ванной.

У него тоже был выходной.

18.

— Может... выпьем? — спросила она, сняв сковороду с плиты.

— А есть? — солдат потер ладони.

— В гостиную. Мне — шерри, бутылка в красном бархате.

Он открыл бар и сразу увидел бутылку, отличавшуюся от других.

У нее и пробка была фирменная, с тисненым прямоугольником, который держали в коротких передних лапах два льва, стоявших на широко расставленных задних лапах, улыбаясь и высоко задрав хвосты, похожие на два симметричных факела. Герб венчала овальная корона.

Marnier-Lapostolle Marnier Lapostolle Cherry-Marnier J.B. Lapostolle Fondateur 1827
Produce of France.

Солдат знал только два французских слова — мерси и мираж, но и эти слова уже были не французскими: первое принадлежало всем, а второе — войне.

По длинному горлышку пузатой бутылки вилась потемневшая золотая тесьма, припечатанная выпуклой гербовой печатью к стеклу и бархату. Marnier-Lapostolle. Косая линия рассекала герб по диагонали. В верхней части, как в небе, повисла пятиконечная звезда. Внизу — замковые ворота с высокой башней, а рядом — приземистый дом с круглой крышей, совсем как на старых почтовых марках, где на трех или четырех языках писалось: Палестина. Triple Cerise. Снова герб со львами и короной. Marque Deposee. Triple Cerise. CHERRY MARNIER. Liqueur. 25°. Produce of France. 66 cl, 6. Fine old Cherry Brandy. Бархат был ярко-красный, но не похож на кровь. Он был светлее крови, которая из вен, и темнее той, что из артерий.

Бархат не был кровавого цвета, бархатная бутылка была красивой игрушкой. Шерри.

— Ну, что там? Не нашел? — донеслось из кухни.

Но солдат не слышал.

Он выбирал напиток для себя.

Машинально протянул руку и взял двумя пальцами прозрачную бутылку с бесцветной жидкостью Mizrachi Vodka, Wodka Luksusowa, странный польско-еврейский гибрид, и тут же почувствовал едкую горечь, и горячая слюна заполнила рот, как позавчера (или запозавчера?) дома, когда налил полстакана, выпил залпом и почувствовал, будто желчи хватил.

Он отдернул руку, и желтая этикетка с красным ободком юркнула на свое место, со звоном прислонилась к соседке с черно-белой наклейкой:

BLACK & WHITE. By Appointment To Her Majesty The Queen Scotch Whisky Distillers James Buchanan & Co. LTD. London. BLACK & WHITE.

А солдат, он какого цвета?

19.

Солдат Авраам, которого на самом деле звали Яковом, получив увольнение на полдня и подойдя к дому, не стал звонить у подъезда. Как ни торопился попасть домой, он не поленился снять с плеча винтовку и поставить ее в угол, рядом с почтовым ящиком, осторожно, чтобы никто не слышал.

Потом не спеша опустил на землю солдатскую сумку и стал медленно ощупывать карманы ладонями, отыскивая ключи.

Не найдя их в карманах гимнастерки, засунул обе руки глубоко в карманы брюк, пошарил там и, опять не найдя, прислонился к стеклянной двери подъезда и посмотрел по сторонам.

Все вокруг было таким же, как и две, и три недели тому назад, ничего не изменилось.

Плющ на стене стоявшего напротив дома подбирался к окнам третьего этажа.

Три сосенки с толстыми и длинными, как палец, иглами в углу двора.

Молоденькая пальма, маленькая, всего несколько вершков от земли, с че-

тырмья широкими листьями, похожими на капустные, по-прежнему была здесь, на этой половине двора.

Розы.

Еще какие-то цветы.

Куст, который покрывался весной фиолетовыми цветами.

Белые выцветшие полосы на черном асфальте, между полосами — машины, все знакомые; только они и переменились: фары закрашены синей краской.

Его машина осталась с белыми фарами: она не выезжала со двора, ее не останавливали на шоссе или улице, не мазали синей кистью.

— Аккумулятор, наверно, сел, — вслух подумал Яков.

Но не стал подходить.

— Отключить надо...

И опять не двинулся с места.

— Надо завести, пусть поработает мотор, — добавил про себя.

И отвернулся.

Из почтового ящика с выбитым на дверце номером 17 выглядывали края разноцветных конвертов.

— Ривка еще не выходила, — сказал он сам себе.

Вынул почту из ящика, искал в ней конверт или открытку без марки, с треугольным солдатским штемпелем, но не нашел.

Все были с марками и круглыми или прямоугольными штемпелями, как ни в чем не бывало, будто все идет своим чередом.

Из банка:

"Мы шагаем в ногу с веком".

Из страховой компании:

"Мы избавим вас от забот".

Из общества Красного Щита Давида:

"Сдавайте кровь — для себя и своих близких".

Эту открытку Яков задержал в руке и вспомнил голос диктора, который утром слышал по радио:

"...представители Красного Креста передали Третьей египетской армии, окруженной в Синайской пустыне, кровь для переливания раненым..."

Сунул почту обратно в ящик, обернулся и снова увидел запыленную машину с незакрашенными фарами, и снова сказал себе:

— Аккумулятор, наверно...

Но так и не договорил: ему показалось, что чья-то тень мелькнула возле дома напротив, между плющом и колонной.

Он не спускал глаз с колонны, но там никого не было, и только по-прежнему шелестел плющ, время от времени раскачиваясь сильнее, когда налетал порыв ветра.

Яков опять похлопал ладонями по карманам и на этот раз нащупал связку ключей в правом кармане гимнастерки.

Взявшись за ключ от подъезда, снова бросил взгляд на соседний дом, на плющ и колонну рядом, но там по-прежнему было пусто.

Ицхак ДАНЦИГЕР. Нимрод. Нубийский песчаник. 1939.

Соавтор природы

Ицхак Данцигер родился в 1916 году в Германии. Ему было семь лет, когда его родители переехали в Эрец-Исраэль. Данцигер учился в Лондоне, несколько лет работал в Париже, но большая часть его жизни прошла в Израиле. Его скульптуры можно видеть по всей стране. Университетский городок в Иерусалиме, парк а-Яркон в Тель-Авиве, горные склоны под Хайфой, поселения на Голанах, площадь в Петах-Тикве, солдатские могилы в Негеве...

В 1968 году Ицхак Данцигер был удостоен государственной премии Израиля, а в следующем — стал лауреатом знаменитой премии Сандберга, которую присуждает Национальный музей. Он погиб в 1977 году в автомобильной катастрофе.

В 1981 году открылась посмертная выставка работ Ицхака Данцигера. Три просторных зала музея не смогли вместить всех, кто хотел посмотреть его скульптуры. Было много людей старшего поколения — друзей художника, его ровесников. Это те, кто строил страну, создавал израильскую культуру.

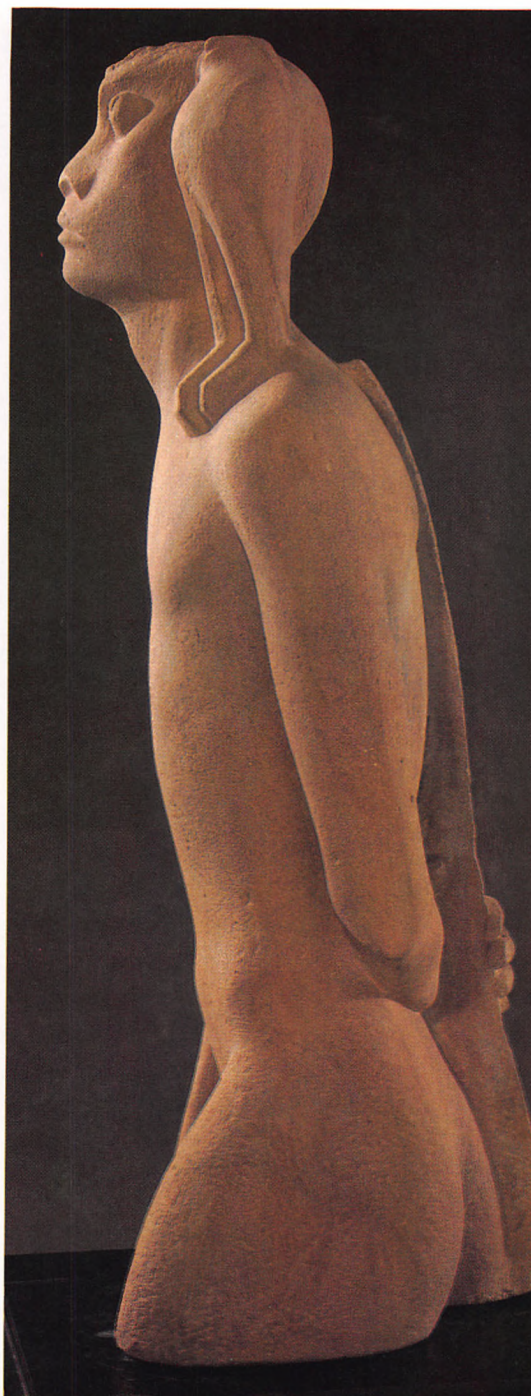
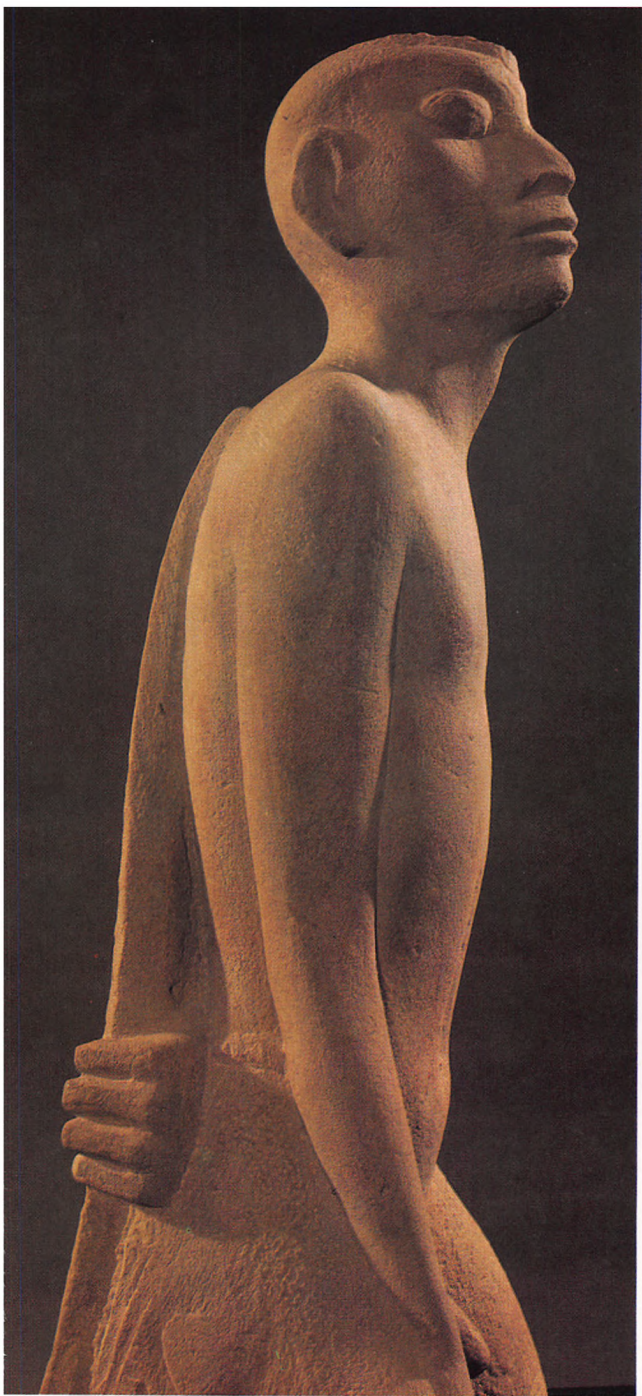
Тому далекому героическому периоду посвящена знаменитая скульптура Данцигера "Нимрод". В конце 30-х годов, когда она создавалась, художник увлекался культурой Древнего Востока — искусством Египта, Вавилона, Индии. "Нимрод" и есть стилизация древних восточных мотивов, вдохновенная попытка перекинуть мост между прошлым и настоящим. Юноша с удлинённым, египетским разрезом глаз. Прежде всего, конечно, дитя природы. Но не только. Вспомним, что Нимрод — потомок Хама, сына Ноя, прославившийся как "сильный зверолов пред Господом". Так сказано о нем в Библии. Миф о Нимроде — одно из ранних еврейских сказаний о сильном человеке и о полном слиянии человека с природой. Нимрод "сей начал быть силен на земле" (Бытие, X). Для Данцигера и его поколения легендарный ханаанский охотник был символом возрождения нации, ее возвращения к труду, к земле, к природе.

Для Ицхака Данцигера единственным и всегда современным источником художественного творчества оставалась связь мастера с природой, контакт с естественной средой, гармоничное единство художника и окружающего мира. Данцигер стремился дополнить природу, используя ее же средства. Его скульптурам тесно даже в самых просторных залах, они просятся на волю: в горы, в леса, на площади и улицы городов и селений.

Оставаясь неизменным в главном, в принципах, Данцигер часто менял средства выражения. Работы последних лет представляют собой абстрактные геометрические скульптуры, в которых явно прослеживается склонность к архитектуре, к дизайну. Интересно сравнить двух пастухов Данцигера — давнего "Нимрода" и вполне современного "Короля пастухов". Казалось бы, "Король", составленный из металлических стержней и трубок, уступает мифическому, но изображенному реалистически "Нимроду". Однако это металлическое сооружение каким-то чудом органически вписывается в израильский пейзаж и не только украшает его, но и несет практическую нагрузку — по трубкам поступает вода, орошающая поля. Вода, без которой нет жизни.

Таков новый и все же оставшийся самим собой Данцигер — ценитель и преобразователь природы, ее внимательный и чуткий соавтор.

Э. К.





Он открыл дверь, придержал ногой, чтобы не захлопнулась, правой рукой взял сумку, а левой дотянулся до винтовки, подцепил ее за ремень и втащил в парадное.

Дверь медленно затворилась, щелкнув замком, и тогда он снова посмотрел в окошко на плюш, а потом локтем нажал кнопку лифта.

Поднимаясь в лифте, поставил винтовку в угол и, стоя перед широким зеркалом с почерневшими краями, провел ладонью по небритому лицу и впервые заметил, что щетина на подбородке почти совсем седая.

Тогда он пальцами, как гребнем, пригладил волосы, прижал их ладонью, стараясь прикрыть лысину, толкнул ногой дверь лифта, взял винтовку, сумку и остановился перед белой дверью, на которой чернел тот же номер — 17, а под ним блестел стеклянный глазок.

Оглядев лестничную площадку и не заметив никаких перемен, тихонько повернул ключ в замке, открыл дверь и остановился, прислушиваясь: услышала Ривка щелчок замка или нет.

Нет, не слышала.

Он все еще стоял в дверях, в одной руке винтовка, в другой — солдатская сумка.

— Здравствуй, — сказал он. — Ждала?

И улыбнулся, точно зная, что ждала.

Никто не ответил.

— Ривка! — позвал он.

Прокрался как вор в гостиную и, прислонясь к стене, первым делом взглянул на пианино.

Все три фотографии по-прежнему стояли на пианино.

Ицик, нагнувший голову, уперший ладони в бока и широко расставивший ноги. Зеленая форма. Три лычки на погонах. Коричневые ботинки со шнурками, высокие — выше щиколотки.

Ури, оседлавший красный мопед.

Юдит, подавшаяся вправо из-за тяжелого портфеля в левой руке.

Все три фотографии стояли, как и две, и три недели назад, ни одна не была повернута к стене.

На столе, под керамической вазой с розовыми гвоздиками, белел листок бумаги.

"Работаю в больнице, прихожу поздно. Почему не пишете? Целую. Ривка.

P.S. Я знаю, все живы и здоровы. В холодильнике — салат, суп, котлеты и гуляш. Надо только разогреть. Фрукты — на веранде. Обнимаю, целую. Р."

Листок был свежий, белый, не тронутый пылью, и Яаков понял, что Ривка пишет эти записки каждое утро, уходя на работу. И слова каждый день одни и те же, меняется лишь меню.

Он перевел дух и только теперь почувствовал, какой он усталый, грязный.

Стянул гимнастерку и кинул на пол. Расшнуровал ботинки — высокие, как у Ицика, только уже не новые — и сбросил их, как колодки.

Тут он почувствовал голод, но сначала пошел за фруктами.

На веранде стояла большая плетеная корзина, набитая яблоками, грушами и апельсинами, а сверху — гроздь бананов.

Он открыл жалюзи.

Утренний свет хлынул на веранду, и фрукты заиграли всеми цветами радуги, будто искусственные, поставленные для украшения.

Он выбрал большое румяное яблоко и, повернувшись уходить, случайно глянул на двор.

У плюща, прижавшись спиной к колонне, стоял солдат.

— Ами, — прошептал Яков. — Боже мой, Ами... Кому же и быть, как не ему...

Ами всегда поджидал Ору у этой колонны, под плющом.

— Ами, — выдохнул Яков, все еще не веря, только догадываясь.

Солдат выглянул из-за колонны, но не вышел на свет, остался в тени, и Яков видел половину его темного лица и сверкающий как у кошки глаз.

Когда солдат снова скрылся, Яков рывкнул:

— Ами!

Ами стал медленно выходить на свет.

Яков подбежал к двери, снял трубку интеркома и, заслышав шаги, нажал кнопку и не отпускал, пока внизу не хлопнула дверь.

Тогда он распахнул дверь квартиры.

Он слышал, как лифт спускается, проходит мимо четвертого этажа, останавливается внизу, как открывается и закрывается дверца, лифт снова поднимается и останавливается тут, на четвертом этаже, открывается дверца, человек выходит из лифта и входит в квартиру.

Незнакомец приблизился. Левый рукав — пустой — пристегнут к гимнастерке, вместо левого уха — кусок марли, рядом глаз, вбитый глубоко в череп, без ресниц и без брови; половина лица — сплошной багровый шрам.

— Здравствуй, Ами, — выжал из себя Яков.

— Здравствуй, — ответил Ами чужим голосом.

Яков хватал воздух открытым ртом, словно долго бежал.

— Я ждал Ору, она еще не знает, что я жив... — сказал своим новым голосом Ами. — Меня успели вытащить... Хоть, может, и не стоило.

— Садись, — выговорил наконец Яков. — Садись, чего ты стоишь.

Но ни тот, ни другой не сел, так и стояли друг перед другом два солдата, один — с фронта, уже отвоевавший, другой — из тыла, еще воюющий.

Яков знал, что не надо спрашивать.

Он и не хотел.

Но, видимо, надо было.

Как не спросить?

И он с трудом заставил себя.

— Ты... все время... был с Ициком?..

Спросил и опустил голову.

Ами кивнул.

Яков даже не видел, что он кивнул.

Он и без того уже знал, просто так спросил.

И еще он хотел спросить, очень хотел, но не спросил. А хотел спросить: осталось ли что-нибудь? хоть знак какой-то? или один только пепел?

И было тихо.

Долгая тишина.

Двое мужчин стояли друг перед другом, понутив головы.

После того, как Яков прочитал *кадиш*, он спросил:

— Ривка не видела тебя?

— Нет.

— Никто не видел?

— Нет, я только пришел, и вы вернулись.

— Слушай... Сейчас я тебя отвезу домой.

— Ладно.

— Потом найду Ору. Скажу ей.

— Ладно.

— И чтобы я тебя больше тут не видел.

— Ладно.

Яков поднял с пола гимнастерку, натянул ее, сунул ноги в ботинки, шнурки завязывать не стал, запихнул их кое-как в ботинки и положил руку парню на плечо.

— Пошли.

Ами двинулся к двери.

— погоди еще... — остановил его Яков. — Нехорошо мне.

Он открыл дверцу бара, налил полстакана водки из бутылки с желтой этикеткой с красным ободком и надписью *Wodka Luksusowa*.

Пил и чувствовал, будто желчь глотает.

Но выпил все.

Тогда взялся за краешек белого листа, вытащил его из-под вазы с гвоздиками и написал:

"Забегал на минутку. Яблоки, румяные эти, очень хорошие. Целую. Яков".

Выскочил на веранду, схватил пару крупных яблок и, вернувшись, засунул их Ами в карманы брюк.

Взял свою сумку, винтовку.

Запер дверь и вызвал лифт.

Он все еще держал Ами за пустой рукав, словно боясь, что тот убежит.

Втолкнул парня в машину, огляделся по сторонам и порадовался, что никто их не видит.

Мотор завелся сразу, он даже удивился.

И они поехали, и дети не останавливали их машину на улице, хоть фары и не были синими, потому что никто уже не закрашивал фары.

Ами ни о чем не рассказывал, и Яков не спрашивал.

Он включил радио.
Слышал шум, и этого было ему достаточно.

20.

Наконец-то он выбрал напиток для себя.

Еще повертел в руках эту темную бутылку с белой наклейкой, и все мелкие буквы и надписи исчезли, смылись, остались только большие буквы BLACK & WHITE и две сидящие собачки, очень милая пара.

Эту бутылку отложил для себя.

И еще, разумеется, вынул из бара красную, бархатную.

Взял небольшую рюмку, вытащил пробку, нагнул бутылку. Еще не успела политься красная жидкость, как в бутылке булькнуло — вкусно, маняще.

Он выпрямил бутылку и снова нагнул ее, играя, и снова раздался вкусный плеск, а потом уж красная жидкость заполнила рюмку.

Он поднес ее к губам и вобрал ноздрями горьковатый запах вишневых косточек.

В баре стояли всевозможные вишневые ликеры, и, конечно, все они пахли вишней.

— Ривка, — проговорил он вдруг. — Почему ты пьешь этот... бархатный компот?

И замолчал.

Замолчал, но ждал ответа, хотя она могла и не откликнуться на чужое имя.

Она тоже помолчала.

Потом ответила:

— Это самое вкусное. Попробуй.

— Я пробовал, — ответил он, появляясь на пороге кухни с двумя бутылками в руках.

Она смотрела на него, склонивши голову набок, держа обеими руками тяжелую сковороду, только что с огня.

— Идем в гостиную, — сказала она. — Будем завтракать там.

Он поставил бутылки на стол в гостиной и смотрел, какой из шести стульев выбрать.

На противоположной стене висели те два снимка — самолет и девочка, и ему не хотелось сидеть перед ними.

Он не поленился, отодвинул стулья и вытащил стол на середину комнаты.

Поставил темную бутылку на одном, а красную, бархатную, — на другом конце продолговатого стола.

Потом снял со стола тяжелую керамическую вазу с красными гвоздиками.

Снова открыл бар и вынул две длинноногие хрустальные чаши, одну — себе, другую — ей.

Она, подбоченясь, стояла в дверях кухни, смотрела на хлопотавшего у стола солдата и улыбалась, а затем не выдержала, стала смеяться.

— Ладно, — вырвалось у нее сквозь смех, — если ты...

Он испуганно обернулся.

— Что — я?

— Если ты хочешь, — продолжала она, — пусть так и будет.

Она вытерла руки о передник и решительно зашагала к буфету, но он остановил ее на полдороге.

Он глядел на улыбку, еще игравшую на ее лице, на темные зрачки, то хитро сжимавшиеся, то разжимавшиеся.

— Кто ты — фея или ведьма? — спросил он, хватая ее за плечи.

— Баба, — ответила она, игриво посмотрев на солдата, и добавила: — Возьми-ка бутылки и бокалы.

И тогда постелила льняную скатерть, большую и белую как снег.

— Мне давно уже не было так хорошо, — проговорил он.

Она подняла рюмку.

И он поднял свою.

В комнате стоял полумрак. Жалюзи на всех окнах были закрыты, шторы задернуты.

На столе горели семь свечей.

Когда она или он начинали говорить, пламя свечей колебалось. И по стенам гостиной бегали зыбкие волны света и тени, и на мертвенном масле картин оживали на миг цветы, трава и деревья, легко покачиваясь, словно подхваченные порывом ветра.

А они все говорили и говорили, почти не умолкая.

— Как насчет... салата из крабов, а? — сказала она.

— Гм... А может быть... лучше начать с красной икры? Или...

Он посмотрел на белый фарфор с золотым ободком, старинный мейсенский фарфор, заполонивший стол, и, как бы усомнившись в чем-то, поднял полупрозрачную тарелку, перевернул и убедился, что не ошибся: на дне тарелки были два скрещенных меча.

— Красная икра забивает вкус крабов.

— Да, ты права.

Ей захотелось встать, взять салатницу с нежным содержимым, обойти вокруг длинного стола и положить ему, на его тарелку, самую вкусную часть салата, с того края, где проглядывает розоватая кожица, где больше крабов.

— Прошу вас, — она облизнулась, и впрямь почувствовав на губах вкус крабов.

— Благодарю вас, — сказал он. — Я положу себе сам.

И взял салатницу, а потом передал ей:

— Вкусно!

— Тебе понравилось, да? — обрадовалась она.

— Очень!

— И мне.
— Ты бывала когда-нибудь в России? — спросил он.
— Нет. — И добавила: — Нигде не была я. Только здесь.
— А я был. Во время войны. Мы бежали, бежали. Пешком, на поездах, пароходах, грузовиках. И очутились в Пензе. Война только началась, а продуктов уже не было. Во всех витринах дразнили глаз и желудок намалеванные деревянные колбасы, деревянные сыры и коричневые деревянные буханки хлеба, на прилавках магазинов было пусто, а все полки были забиты крабами. Круглые банки с одинаковым и незнакомым красным существом на этикетке. Тысячи консервных банок, заброшенных с Дальнего Востока. Ты знаешь, теперь у них совсем другой вкус.

— Вкус... Это очень важно, да? — усмехнулась она.
— Еще бы!
— Вот тебе икра... Ты за столом-то разговорчивый, а я уж думала, из тебя слова не вытащишь.

— Да что ты!
— Вот и хорошо. Нам еще пировать и пировать. Или ты спешишь?
— Куда мне спешить?..
— Сегодня мы будем есть, есть...
— И пить...
— И пить... Еще икры?
— Конечно!
— А потом чего? Хочешь рыбу по-польски?
— О!
— Но, может быть, ты не любишь?
— Рыбу по-польски — обожаю!
— Правда?
— Ей-богу! Польскую водку — тоже. Когда-то любил ее... Давно уже, правда...

— А я любила сладкое красное вино, наше, — *ИДИТ, яин адом маток*. Корона с красным доньшком и две виноградные грозди. Но это было тоже давно. Теперь вот пью только это — французское, бархатное и...

— Ну так выпьем! Будем здоровы!
Он поднял искристый бокал.
— Будем здоровы! — радостно подхватила она.
Он встал, потому что не мог дотянуться до ее бокала.
Она тоже встала, и хрусталь, коснувшись хрусталя, зазвенел, как нежно тронутая струна.

— А где же музыка? Почему я не слышу музыки?! — воскликнула она.
— И я не слышу, — подтвердил он.
— Сейчас...

Она включила радио, но тут же выключила, потому что раздался резкий голос диктора.

Она поспешно включила магнитофон, а потом взяла первую попавшуюся

кассету, и из всех четырех углов гостиной — из четырех динамиков — поплыла, окутывая комнату и заставляя трепетать огоньки свечей, труба Армстронга.

— Хосо Косо! — заскрипел немазаной глоткой покойный король. — Верный Гусар! Верный Драгун!

Верный драгун...

— Ну что... You make me feel like dancing... Кто это пел?

— Не помню. Какая-то негритянка.

— Ну и?..

— Разумеется. Почему бы и нет? Я тоже хочу танцевать. Непременно. Танцевать с тобой.

Он обошел вокруг стола, остановился перед ней и отвесил поклон, смущаясь как мальчишка, а она поднялась со стула, и не хватало только, чтобы сделала реверанс, как было принято когда-то, в те времена, когда они были очень, очень молоды.

Хосо Косо.

Не надо было думать, как и что танцуешь, достаточно было танцевать и все, разгуливать под музыку. И, гуляя, хотелось медленно покачиваться из стороны в стороны, потому что так играл и пел своим скрипучим голосом негр с вдавленной верхней губой, похожей на полумесяц, Луи Армстронг, король без королевства, с круглым жирным лицом и выпученными глазами.

Он так и разгуливал, несмело обняв ее, пока труба не укачала обоих, и тогда он прижал ее к себе, и она легко подчинилась движению его левой руки, а он положил ее правую руку на свое плечо и обнял ее обеими руками, и она всем телом прильнула к нему, и они медленно шагали так, мерно покачиваясь, как этого требовал барабан, Хосо Косо.

Он удивлялся, что в наше время девушки так прижимаются, и ему нравилось, что это так, и хотелось танцевать, танцевать бесконечно, всю жизнь.

Ему действительно было хорошо, этому солдату.

Хосо Косо. Верный гусар.

Пир на весь мир.

Мейсенский фарфор.

Трепетные огоньки свечей.

Живые цветы и живые деревья на картинах, писанных масляными красками.

Музыка лилась беспрерывно, бесконечно.

Их пир был в разгаре.

Она обняла его.

Крепко-крепко обняла солдата, уткнулась лицом в его плечо и медленно, в такт музыке, плыла с ним по комнате.

Потом откинула голову, посмотрела ему в глаза и усмехнулась:

— Буду босиком!

Сбросила туфли, они отлетели к стене и остались валяться там, смешно уткнувшись, а она еще крепче обняла солдата и снова поплыла с ним по комнате, чувствуя босыми ногами ворс ковра и прохладные скользкие плитки пола, как в тот раз, когда танцевала одна, и тоже босиком.

Тогда она тоже танцевала.

Они — не пятеро и даже не четверо, а только трое — нашли ее.

Зря она столько дней просидела в бараке, хорошо еще, что двойни приходили, не оставляли ее, одинокую, брошенную.

Она не заплакала, не закричала, когда, тихо прошуршав шинами, остановилась перед домом машина. Она давно ждала людей, которые вышли, осмотрелись по сторонам и обменялись неслышными словами, как бы желая лишний раз убедиться, что это именно та улица, тот дом, тот подъезд и та лестница, где живет она.

Нехорошо, когда сразу после войны останавливается у дома чужая машина.

Прислали б лучше письмо, открытку, бумагу какую-нибудь. Так не хотелось остаться с глазу на глаз с этими незнакомыми людьми, которые еще переминались с ноги на ногу вниз, хоть и знали уже, что это ее улица, ее дом.

Топ, топ — шаги, все выше, выше и все слышнее.

Остановились у двери, выждали.

И позвонили.

Впусти их.

Впусти, попробуй!

И войдут, и скажут, — и все.

А после этого, может, не сейчас, может, после, в другой раз, придут другие и передадут — клочок одежды или расческу, насы, фотокарточку, бритву или зубную щетку.

Или — ничего.

Она не заплакала.

Не заплакала, но и с места не встала; еще минуту или две сидела с закрытыми глазами, утонув в глубоком кресле, вытянув ноги, раскинув руки.

И хотела лежать и лежать так, не вставая, забыв обо всем и ни о чем не думая, чтобы так и кончилось все, закончилось и исчезло, и больше не быть, и ничего не знать, и не вставать, и не впускать их, этих людей, потому что — как же так?! Как это — был, столько лет был тут, рядом, возле, вместе был — и вдруг уже нет и не будет, будто не было никогда.

Она сидела так, сросшись с креслом, не шевелясь, еще минуту, две.

А за дверью — шаги, люди потоптались за дверью, снова позвонили.

Потом наступила тишина, страшная тишина, ни звука.

И тогда она включила радио, и в комнату ворвалась странная мелодия, которую слышала когда-то, давным-давно, которая заглушила все, и больше не было тишины, шагов, ничего не было, только эта старая мелодия. Она встала, и ноги сами заскользили в такт, и руки подчинились этому ритму, и она качнулась, выпрямилась, качнулась в другую сторону и поплыла по комнате, слыша только музыку и ощущая босыми ногами ворсинки ковра и скользкие прохладные плитки пола. Как ощущала когда-то колючую траву и вязкий песок под ногами — в ту ночь, когда вернулась с Давидом из-под дерева,

когда поняла, что уже не девушка, женщина, и что любима, и эта странная мелодия доносилась из деревеньки самаритян, потому что больше нигде не могло быть музыки в ночь Судного дня.

И танцевала, танцевала, и еще один резкий, пронзительный звонок не сбил ни ее, ни мелодию. Она не слыхала, не слышала никакого звонка и танцевала, чувствуя ворс ковра и прохладные плитки пола не только ногами, но всем телом. И мелодия звучала, пела долго, пока не умолкла, не кончилась, не оборвалась.

Тогда она выключила радио и, как была, босиком, подошла к двери и открыла.

22.

Как тогда, давно еще, когда была маленькой, она прильнула к окну, хоть и запрещено было, строго-настрого запрещено, потому что ее могли увидеть полиция или солдаты. А если увидят, — придут и станут ловить ее, гонять по этой крохотной комнатухе, где взрослому и повернуться-то негде, но будут гонять и ловить ее, и неважно, если раз или два она, такая маленькая и ловкая, проскользнет, как зверек, пронырнет на четвереньках между широко расставленными солдатскими ногами, неважно, если забьется в самый маленький уголок, под низкую койку, все равно будут гнаться за ней, и если даже успеет юркнуть в свой тайник, все равно поймут: какой-нибудь солдат запустит руку в тайник и вытащит ее, ухватив за шею, руку или ногу, и тут же, на месте, раздавит ее тяжелым сапогом или вышвырнет вон и там, на улице, растопчет, потому что так поступали со всеми детьми, которых родители не отдали, когда было приказано.

И не было рядом человека, который оттащил бы от окна и упрятал в темный тайник эту маленькую непослушную девочку, игравшую в такую опасную, недетскую игру, никого рядом не было, и она прижалась к окну и все видела.

Разве надо было?

Но она смотрела и видела.

Мать вернулась наконец, она видела бредущую к дому мать, видела, как два полиция остановили ее, и две руки схватили с двух сторон, платье лопнуло, и грудь матери тускло белела в желтых сумерках.

23.

Хосо Косо кончался трубой и аплодисментами. Запись прямо с концерта. Музыка вот-вот могла оборваться, кончиться.

А ей хотелось, чтобы мелодия продолжалась, чтобы все пел и пел покойный король трубы с вдавленной, похожей на полумесяц верхней губой, чтобы

по-прежнему хрипел его скрипучий, уже несуществующий, но все еще живой, уцелевший голос.

Ей нравилась эта мелодия.

Она осторожно высвободилась из объятий солдата, подбежала к магнитофону, быстро-быстро перемотала пленку и поставила с начала.

Ей хотелось танцевать.

Хосо Косо.

Роковой гусар.

Он хотел обнять ее еще крепче, но она вдруг отстранилась.

Он хотел прижать ее лицо к своему плечу, — она отшатнулась, вырвалась.

Он пытался обнять ее, но она взмахнула руками, дернула плечом и вынырнула из его объятий.

Смотрела на него зло, презрительно.

— Что с тобой? — спросил он.

— Драгун... — процедила она сквозь зубы.

— Что?

— Голый гусар...

— Кто? Я?

— Голый гусар с волосатой грудью... Бродяга!

— Что с тобой?

— Проклятый вояка — такой же, как и все.

— Неправда...

— Все вы такие!..

— Нет!

— Бросил свою и к другой пошел!

Стало тихо. Только Армстронг играл.

— Я же говорил: один я, — тихо сказал солдат.

— Врешь.

— Не вру...

— Врешь! Пошел на войну и бросил женщину, другую нашел, и уже не вернешься домой, я знаю.

— Но я — один, один, один, — твердил солдат. — Как и ты... Один я.

— Ты... всегда один... или только сейчас? — она вдруг затихла.

— Один, — повторил солдат.

Тогда она опять услышала музыку.

— И я одна.

И прижалась к солдату.

Она стала еще гибче, еще податливей, чем была, и он опять подивился, что в наше время девушки так прижимаются — всем телом, каждой клеточкой.

— Я люблю тебя, — сказал солдат.

Ее гибкое тело, прижатое широкой ладонью, слилось с его телом, руки обвились вокруг его шеи, и в полусвете призрачных свеч их глаза блеснули, и они глядели друг на друга расширенными зрачками.

— Люблю, — повторил солдат.

Ее глаза раскрылись еще шире и губы дрогнули.

— Очень люблю.

Она прижалась щекой к его щеке. Он почувствовал ее влажные губы на своей шее, и ее волосы щекотали ему нос, глаза и лоб.

Он чувствовал ее всю — с головы до ног — и добавил тихим, осипшим голосом:

— Буду любить всегда.

Он ни о чем не спрашивал, только хотел сказать ей то, что сказал, но задрожал как мальчик, услышав:

— И я...

— Неправда.

— Я люблю тебя, очень люблю.

Труба нежно пела свою мелодию, и было странно, что труба такая нежная, и солдат взял ладонями ее лицо:

— Я хочу тебя...

Она не ответила ни словом, ни движением.

— Очень-очень!...

— И я.

Сказала и зажмурилась.

24.

— Правда?

Она улыбалась.

Это было в Ницце, в ночном баре.

— Ты смеешься? — спрашивал Йона, у которого еще было другое имя — Иоганн. — Положи руку на сердце и повтори!

Она засмеялась, отпустила шею Йоны и положила руку на грудь.

— Нет, не свою, а мою руку, — сказал он.

Она расхохоталась:

— Знаешь, так можно охладить навек даже самую горячую женщину.

Но, сказав это, прижала его руку к своей груди, прямо к сердцу, и еще раз, уже без смеха, повторила:

— И я.

Но он еще не верил.

— Может быть, это шерри? Коварный напиток, может, от него у тебя разыгралась кровь?

Она молча обвила руками его шею и прижалась к нему всем телом, и он почувствовал, как часто-часто бьется ее сердце.

Тогда, торопливо бросив деньги равнодушно улыбающейся полуодетой кельнерше, он стал пробираться к выходу, раздвигая танцующих вытянутыми вперед длинными своими руками, на которых повисла она. Она и впрямь перебрала этого Cherry Marnier — такое славное питье! Она захмелела, ей казалось,

будто она сидит в карете, держась за подлокотники сиденья, а карета, беззвучно покачиваясь, медленно катит по устланной ковром мостовой, проплывая сквозь веселую, пеструю толпу карнавальной ночи.

Они поднялись по ступенькам, устланным таким же мягким ковром, вошли в лифт, и лифтер — невысокий, смуглый, похожий на синайского бедуина, был исключительно вежлив и не остался в накладе.

Йона привел ее в свою комнату, и они любили друг друга всю ночь, до зари, ненасытно, словно впервые любовь познали, любили, пока силы их не иссякли, и они уже не могли любить, хотя по-прежнему хотели друг друга.

Потом сидели, опершись на мягкие подушки, на широкой белой кровати с золотыми шишками по углам и смотрели в окно.

На море было тихо, только легкая рябь искрилась, переливалась, озаренная восходящим солнцем, и вода была такой синей, словно тут не Средиземное море, а тихая глубь за Эйлатом.

— Ты спишь? — тихо спросила она.

— Нет.

— Ты еврей?

— Нет!..

— Правда?

— Правда.

— Но ты какой-то...

— Какой?!

— Не знаю, как сказать... Ты...

— Обрезанный?

— Обрезанный?! Извини, я не заметила. — Она рассмеялась.

— В самом деле?

— Да.

— Не врешь?

— Не вру.

Тогда он успокоился и сказал:

— Но это действительно так...

— Значит, ты все-таки еврей?

— Нет.

— Но ты же сам сказал...

— Таким родился.

— В Баварии?

— Да, в Баварии.

— И твой отец был солдатом вермахта?

— Он погиб на восточном фронте, я говорил.

— Если у нас... — сказала она и замолчала.

— Что — у вас?

— Если у нас рождается мальчик... которому не нужно делать обрезание...

— Да?

— Так это — чудо. Он счастливчик, будто в сорочке родился.

— Понимаю.

— А ты — счастлив?

Он вдруг вскочил, жесткими пальцами схватил как клещами ее плечи: это был другой человек, она просто не узнавала его и даже испугалась, но потом успокоилась, видя, как дрожат его закушенные губы.

— Ты сделаешь меня счастливым? — спрашивал он. — Да? Не оставишь? Не бросишь меня здесь, под этим синим французским солнцем, среди полуодетых официанток, услужливых лифтеров, широких позолоченных кроватей и молодых голых немок на пляже? Не бросишь? Сделаешь меня счастливым? Ответь! Ты любишь меня? Или это вино тебе в голову ударило? Может, ты всего лишь вдова голодная, по мужику соскучилась? Или просто шлюха? Ты меня любишь? Не бросишь меня?

25.

Ей казалось, что это она увидела его.

А он говорил — что он.

Она сидела на террасе гостиницы. Увидела медленно идущего к ней мужчину и удивилась, какой он большой, высокий, какой плечистый, с длинными мускулистыми ногами и сильными руками.

— Боже мой, — подумала она, — какой великан!

И еще подумала, что если прижаться к нему, ничего уж не будет страшно: он защитит от всех и вся.

Она говорила, что первой увидела его.

Он же говорил, что нет, что еще издали, когда она еще не видела его и строила глазки какому-то итальянцу с тонкими усиками, который косил на нее бархатистым карим глазом, то выглядывавшим из-за газеты, то снова прятавшимся, уже тогда он увидел ее и после видел только ее одну — ее, и больше никого.

Уже целых две недели ездила она по Европе, не задерживаясь на одном месте, думая все время о тех деньгах, которыми оплатила поездку первым классом, обменяв на доллары в подворотне тель-авивской улицы Лилиенблум, те самые доллары, которыми платила за шикарные гостиницы, разноцветные коктейли, склизкие устрицы, ласточкины гнезда или хвосты кенгуру и дешевые украшения-побрякушки, которые так любила.

Из Лондона ее понесло в Стокгольм, из Стокгольма — в Париж, в Париже села на поезд, идущий в Копенгаген, из Копенгагена полетела в Стамбул и обратно, а вернувшись, снова медленно проехала поездом через всю Европу, очутилась в Ницце, на Золотой Ривьере, где нету золота, хоть и блестит, сверкает все вокруг, но есть песок, песок, песок, и соленые воды того же моря, и пальмы на берегу — как дома.

Она ела луковый суп, самый вкусный, какой только есть во Франции, а ей

казалось, что живой плотью удобрили землю, из которой вымахал этот лук, зеленый-презеленый, зеленее всякой зелени, — потому что платила за него привезенными из дому банкнотами, и ее пекло изнутри.

Она ела бифштекс, такой сочный и мягкий, какой может быть только в английской деревне, а ей казалось, будто острые, голодные зубы входят в живое тело, раздирая тугие спинные мышцы, бегущие вдоль позвоночника, и из мышц сочится несвернувшаяся кровь, — и она бежала в туалет, чтобы выблевать это человеческое мясо и деньги эти, которыми платила за человечину, деньги, которые получила за то, что Давид не вернулся, компенсацию, которую он, бросив ее и найдя другую женщину, оставил ей, чтобы заплатить, откупиться за свой уход, за неверность свою ей, и дому, и сыну, оставшемуся без отца, и теперь приходилось лгать ему, говорить, что отец погиб на войне, пропал без вести, потому что не могла ведь открыть душу мальчику и кричать: нет, неправда, он бросил нас, нашел себе другую женщину, другой дом! Мужчина всегда неверен, уходя на войну, он бросает жену, детей и не возвращается больше — навсегда.

В Ницце она совсем перестала есть, только пила — чистую воду, но на третий день ее снова стало печь изнутри, печь от голода, и ее рвало, хотя уже больше нечем было рвать, только едкая жидкость шла, зеленая и горькая, как желчь.

Тогда она собрала оставшиеся деньги и стала рвать их, драть на кусочки — банкноту за банкнотой, пока не прикончила все до последней, а потом спустила их в унитаз, тот самый, над которым желчью рвала, и терпеливо спускала воду до тех пор, пока от них и следа не осталось, ни малейшего клочка.

И монеты все собрала, сгребла их в горсть, пошла к морю и зашвырнула как можно дальше.

Она нашла себе временную работу на полдня — тут же, в отеле: был разгар сезона, и требовалась медсестра.

Тогда снова начала есть — еще не мясное, а только молочное и белый хлеб, и тогда его, Иоганна, идущего к ней, увидела, и ей захотелось спрятаться за него, потому что он был не такой, как Давид: хоть и с волосатой грудью, но светлый-светлый, совсем как моченый, трепанный, сушеный на солнце лен.

26.

Он подошел, взял табуретку для ног, стоявшую рядом с ней.

— Разрешите?

И, не дожидаясь разрешения, сел, а она подумала: он такой высокий, что, даже сидя на этой низенькой табуретке, был чуть ли не вровень с ней, сидевшей на высоком стуле.

— Я весь день вас искал, — сказал он.

Она не откликнулась.

— И нашел, слава Богу.

Она молчала.

— Я искал вас везде, везде.

Она почему-то вспомнила мать и подумала: что бы попросила сейчас у нее? Сказку... обязательно попросила бы рассказать красивую сказку.

— И даже под водой.

Он вытянул руку с подводной маской и трубкой, которых она почему-то сразу не заметила.

— Там, в глубине, среди кораллов... — сказал он и осекся.

Она хотела сказать ему что-то, уже и рот открыла, но спохватилась, что не знает, о чем сказать, да так и осталась сидеть с приоткрытыми губами, потрескавшимися от солнца, соленого морского ветра и от голода.

— Там, в глубине, — снова начал он, — есть крутая, высокая скала. Она такая красивая, такая нарядная, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вся унизана яркими кораллами, и чисты их краски, как нигде на свете. Лучами широкими тянутся, расходятся белые, цветами колышутся розовые, невиданными лепестками распускаются желтые, зеленые, черные, пурпурные. А среди них, везде и всюду, порхают рыбки, пестрые, как разноцветные птички, похожие на ярких бабочек, черных, как бархат ночного облака, нежных, как луч зари, багряных, как блик заката, зеленых, как порыв дождя, синих, как взгляд небесной лазури, золотистых, как звездная пыль...

Она слушала.

— А под той скалой, у подножья, в глубоком дне зияет пещера, за той пещерой — царство невиданной красоты, и в том царстве сидит, пригорюнясь, печальная царевна. Но дорогу к пещере заслонили, преградили серые, злые кораллы, черные морские ежи с длинными острыми иглами, большие рябые змеи, тоненькие юркие рыбки с острыми, как кинжалы, клювами и живые ядовитые камни, похожие на старых жаб.

Она улынулась.

— Но порой, редко-редко, покидает царевна свое царство невиданной красоты, проплывает через всю длинную пещеру и останавливается у самого входа, под красивой крутой скалой. Останавливается и оглядывает глубины, ищет кого-то большими печальными глазами.

Она улыбалась.

— И я там был, мед-пиво пил... Стоял у той скалы и ждал, когда дева-царевна выплывет, глянет на меня своими большими глазами, засмеется звонко, рыбьим хвостом всплеснет, и нырнем мы с нею в глубь глубокою...

Она все еще не знала, что сказать, и засмеялась, выслушав эту сказку; ей захотелось вдруг потрепать его светлые волосы, еще влажные, слипшиеся.

И тут она вспомнила наконец, что хотела сказать:

— Здесь ведь нет кораллов...

— То есть как это нет?

— И разноцветных рыб нету.

— Есть! Должны быть!

— Нет и не было ничего такого.

— А царица?

Она не ответила.

— Дева с большими печальными глазами?

Она помолчала, потом спросила:

— Кто ты?

— Иоганн.

— Иоганн...

— А ты?

— Сара.

— Сара...

Он отбросил свою маску, трубку.

— Пойдем, Сара.

Он взял ее за руку и повел, петляя меж голых и полуголых тел, коробочек, сумочек, зонтов, шезлонгов, белых и загорелых животов, ног и рук, по горячему желтому и мелкому песку — в синее море.

И они уплыли, поплыли вместе и, ныряя, разглядывали друг друга, а потом, вынырнув из воды, терли глаза, потому что морская вода солона и щиплет, как слезы, даже тогда, когда смеешься.

И снова ныряли.

И он говорил, хоть она не слышала слов, только по движению губ могла прочесть:

— Я хочу, тебя.

27.

То же самое говорил ей врач.

Но глаза тогда не щипало.

Врач захватил с собою две пары подводных масок — себе и ей.

Она не видела движения губ, потому что изо рта у него торчала трубка.

Он не мог ничего сказать и говорил глазами.

Она отлично поняла его, хотя ничего не ответила тогда, под водой. А может, и ответила — так никогда и не спросила, ответила она ему тогда или нет, потому и не знала. Она ответила позже, ночью, там, на берегу Красного моря, в палатке, далеко от всех, где близки были только полная луна, светившая, как ночное солнце, водная ширь, серебряная рябь воды, ветер Синая, несущий песок, как дымку, да легкое поскрипывание этого песка на зубах и сухое першение в уголках глаз — тоже от песка.

Глаза у врача так и сияли, так и светились, и она удивлялась и не удивлялась, потому что, нырнув возле отвесной серо-бело-розовой и фиолетовой стенки рифа, видела маленький черный мячик, излучавший длинные-длинные шипы, еще подумала: игрушка, что ли? Но мячик глянул на нее пятью глазами — как звездочками, в самом деле, пятью лучистыми, золотыми звездочками, расположенными правильным пятиугольником.

Она дотронулась пальцем до одного из черных шипов и почувствовала боль, как от укола иглы, — конец шипа сломался, шип стал короче, но морской еж-игрушка не шевелился и по-прежнему смотрел на нее пятью звездочками, которые удивительно светились на диво правильным пятиугольником.

Врач вытащил шип, и боль стихла.

— Отвернись, — сказал он.

Она отвернулась.

Он долго отсасывал кровь у нее из пальца, а она в душе смеялась, потому что укол морского ежа не ядовит, хоть и болезнен.

Он сосал ее палец и сплевывал.

Слюна была красной и, должно быть, соленой, и в ту ночь, когда вся палатка просвечивала насквозь, будто снаружи висели фонари, потому что было полнолуние, и он соскользнул с туго надутого матраца, приблизился и замер в ожидании, распластавшись на брезентовом дне палатки, под которым был песок, горячий песок Синая, она подняла длинную — до земли — прозрачную галабию, купленную позавчера за несколько лир у смуглого бедуина, и уперлась руками ему в грудь.

И была лишь просвечивавшая насквозь палатка, полная луна за ней, пять золотых звездочек с одним обломанным шипом — в глубине да желтый песок под брезентовым дном палатки, который поскрипывал на зубах, легонько поскрипывал и сухо пощипывал глаза, только самые уголки глаз.

Как просто.

Я тебя хочу.

Я хочу тебя.

Такие простые слова.

Ясные, точные, как острая игла, которая колет, если уколешься, и тогда идет кровь, и ты знаешь, что это так и не иначе.

Три слова.

Долго, медленно, не спеша.

На песке, на глине, на чернозем.

И на облаке.

На облаке, если ты в силах нести и вынести.

28.

Эти три слова.

Она молчала.

Танцевала только.

— Я хочу тебя, — повторил солдат.

Она встала на цыпочки, обхватила руками его шею и впиалась горячими губами в его губы.

Под тонким, прозрачным зеленым халатом не было ничего, кроме ее тела, солдат чувствовал ее всю до последней складочки, и еще крепче прижимал к

себе, прижимал до тех пор, пока ее грудь не слилась с его грудью.

Труба — как синайский ветер.

Огоньки свечей, светлый сумрак — как в лунном свете.

Они танцевали.

Шаг за шагом, в одном и том же ритме, медленном, словно капли, падающие с ледяной сосульки под лучами зимнего солнца.

Станный, непонятный голод — как в Ницце, когда три дня не ела, сладкая горечь — как после польской водки.

Они танцевали под деревьями, машущими ветвями на неподвижных, написанных маслом картинах, под зеленеющей травой, которой вовсе не было, под распустившимися цветами, которым не суждено было увянуть, потому что не из земли они росли.

Он закрыл глаза.

Они танцевали медленно-медленно, шаг за шагом.

— Я люблю тебя, — прошептал солдат.

Она не ответила, может, потому, что в этот миг у нее перехватило дыхание.

— А ты... любишь меня? — тихим, усталым голосом спросил солдат.

Она не ответила.

— Сара...

Не слышала она.

— Сара!

Не откликнулась.

Она была в одной сорочке, и волосы разметались по плечам, а Давид был совсем голый.

Они вышли оба, и никто их не видел, потому что в ту ночь все просили Бога отпустить им грехи уходящего года и судить их не слишком строго.

Они пошли, взявшись за руки, тоже не видя никого и ничего, потому что вокруг был только песок. Ноги вязли в песке, и темный след тянулся за ними в лунном свете.

Они подымались на дюну, на вершине которой росло дерево.

29.

Это дерево и теперь стояло на той самой дюне, большое, ветвистое, под ним — поляна, а на поляне — алые мелкие цветы, как ягоды.

Кругом, насколько хватал глаз, так и не выросло больше ни единого дерева, лишь кое-где жался к почве низкорослый кустарник.

Да и кустарника уже почти не осталось, потому что перед самой войной на песчаный пустырь пригнали три бульдозера, которые принялись разравнивать желтые дюны, корчевать кусты, а лишний песок увозили грузовики, высокие и широкие, как баржи. Проезжая по узкой асфальтовой дорожке, проложенной у самого дома, прямо под окнами, они терзали слух своим страшным ревом и оставляли клубы вонючего серого дыма, который рассеивался только ночью.

Бульдозеры рычали от света до темна без передышки, один за другим срезая песчаные горбы, пока не добрались до самой высокой дюны, где росло одинокое дерево.

Теперь это дерево стояло на краю обрыва, свесив длинные обнаженные корни, словно гибкие голые ветви, — уже не живые, но и не засохшие.

Утром и вечером она наблюдала за передним бульдозером, ближе всех подобравшимся к дереву, и ждала, когда оно упадет.

Но дерево все не падало, стояло по-прежнему, впившись в землю второй половиной корневой кроны, стояло до самой войны, и в войну, и до сих пор стояло, потому что как остановился тогда бульдозер, так и застрял у обрыва под деревом, задравши свой ковш, как клюв, так и застыл, ржавея, словно чучело пригвожденного зверя.

В войну мужчины не разравнивают пески, и она могла только радоваться, что ее дерево все еще стоит, но как было радоваться, если дюну оставили в покое с того самого Судного дня.

30.

— Я зверски проголодалась, — сказала она, все еще обнимая солдата и глядя ему в глаза.

— И я.

— Какое блюдо едят после ласточкина гнезда? — спросила она.

— Нет, хватит! — воскликнул он.

— Я думаю, что за ласточкиным гнездом...

— ...едят яичницу.

— Дикарь! — вскричала она.

— Дикарь.

— Ты ужаснее дикаря! Ты увалень, которому лишь бы брюхо набить!

— Хочу яичницу...

— И будешь запивать яичницу виски?

— А ты запьешь ее своим красным французским шерри.

— Господи! Ты с ума сошел.

— Ну и что?

Захватив бутылки, он — одну, она — другую, и оставив в гостинной свечи, нетронутый мейсенский фарфор, сухие, так и непригубленные хрустальные чаши, они перебрались в кухню, где было открытое окно и было светло, уселись за маленьким кухонным столиком, перед большой сковородой, на которой лежала уже давно остывшая, сморщенная желто-розовая яичница.

Солдат откусил хлеба и принялся уплетать холодную яичницу с таким наслаждением, что она не могла удержаться от смеха.

Он не стал искать ни бокалы, ни рюмки. Придвинул стоявшие на столике керамические чашки, приготовленные для кофе, налил в одну красного шерри, в другую — виски, до половины.

Красную жидкость он наливал медленно, слушая, как булькает в бутылке. Прислушивался к этому сладкому бульканью, будто нет ничего интереснее на свете.

Себе же наливал, опрокинув бутылку, словно там не виски было, а пиво.

Налил и посмотрел на женщину.

А она все время смотрела на него.

Подбородок почему-то остался не выбритым, и на нем смешно топорщились разноцветные щетинки — черные, белые, рыжие, хотя голова и грудь были уже почти совсем седыми, только на висках волосы были потемнее. Но все шло ему: и седой бобр, и черно-бело-рыжая щетина. Борода — если отпустит, подумала она, еще больше будет ему к лицу и отрастет, наверное, мягкой шелковой и до смешного пестрой, и можно будет запустить в нее пальцы, и погладить заросшие щеки, как взъерошенного котенка, и не будет такой жесткой, как сейчас, перестанет царапать лицо, и шею, и грудь. И не видны будут длинные следы порезов под нижней губой, долго кровоточившие и наконец запекшиеся, да и вообще не будет порезов этих, если отпустит бороду — в самом деле, ведь не придется бриться либо затупившимся, либо, наоборот, слишком острым лезвием, и не будет больше ни порезов, ни крови.

Он поднял свою чашку, предлагая выпить.

И она подняла свою и улыбнулась.

Хорошо было пить из толстых разноцветных глиняных чашек, не чокаясь, потому что со звоном чокались уже раньше, когда и бокалов-то в руках не держали, и до сих пор еще стоял в ушах тот хрустальный звон, тихо и нежно колебля окружающий воздух.

Она сделала первый глоток.

Пила маленькими глотками этот сладкий, вкусный вишневый ликер, и не важно было ни как он называется, ни где его раньше пила, потому что смотрела на солдата и видела его глаза — поблекшие, усталые. Но они улыбались, то расширяясь, то сужаясь под тяжело смыкавшимися и вновь размыкавшимися ресницами. Глаза оживились, заблестели, когда солдат в несколько глотков выпил свои полстакана виски, но тут же снова поблекли, сузились, и ресницы стали еще более тяжелыми, ленивыми — захмелел солдат.

Он тронул ее руку, лежавшую на столике, узкую, с длинными пальцами, заканчивавшимися розовыми, как у младенца, ногтями, и она сжала его пальцы — негибкие, с утолщенными суставами и обломанными ногтями, погладила их грубую, шершавую кожу.

Она приоткрыла губы, желая что-то сказать ему.

Ничего не сказала, но он, видно, понял.

Сонливость вдруг исчезла, глаза расширились и не мигая смотрели на женщину, а грубые пальцы стиснули ее руки — сильно, до боли, до онемения, но женщина не шелохнулась и не высвободила своих ноющих, немеющих рук из его корявых ладоней.

Конечно, он понял, потому что тут же отпустил ее руки, как бы застеснявшись, застыдившись чего-то.

— Хорошо у тебя... — сказал он.

— Хорошо?

— И светло...

— Светло? Что ты! Сейчас я все окна открою...

Она встала.

— Постой, — удержал он. — Потом... Подожди еще... Иди ко мне...

Она, должно быть, ничего не слышала.

Он же все время слышал радио — где-то, может, в соседнем доме, — и знал, который час, знал, что уже истекло их время.

— Иди ко мне... — повторил он. — Посиди еще.

Он усадил ее к себе на колени, сунул ей в руку чашку, налил туда ее красного ликера, а себе плеснул бледно-желтой шотландской водки, которая тоже пришлась ему по вкусу.

— Ну, будь здорова!

— Будь здоров! — тихо ответила она, поняв, что он уходит.

— Светло? Что ты! Сейчас я все окна открою...

— Солдат я. Жаль, но я — солдат, — сказал он и добавил: — Теперь иди.

Открой окна.

— Да.

Она медленно открывала окна и слышала шаги — в одну, потом в другую сторону, к самой двери, — и будто щелкнул дверной замок.

Она открыла все окна.

Солнце хлынуло в дом, и все заблестело, засверкало, и она переходила из комнаты в комнату и улыбалась, радуясь свету, и только темное пятно в спальне смутило ее: на полу отсвечивала черная жирная капля масла.

Она нагнулась и принялась краем халата вытирать плитку пола, и терла до тех пор, пока совершенно не отчистила, и каменная плитка стала совсем сухой.

Тогда она встала, протянула руки навстречу самой себе, отраженной в зеркале спальни, и сказала:

— Здравствуй, Сара! С добрым утром!..

Солдат сказал:

— Я хочу тебя, Сара.

Он сказал:

— Доброго дня тебе, Сара.

31.

Солдат сказал и ушел.

Солдаты всегда уходят.

Они покидают своих женщин и уходят искать других. И если находят, то уже не возвращаются.

А может, это и хорошо?

Разве не благодать — почувствовать человеческое тепло?

Снова почувствовать, заново?

Она так чистила, терла плитку пола, что отчистила ее досуха. Не осталось и следа от темного пятнышка.

Но запах масла еще остался.

Она улыбнулась.

Может, это все еще пахнул пол, а может, ее одежда, впитавшая масло?

— Здравствуй, Сара, — сказала она.

А потом добавила — теперь уж солдату:

— И ты — тоже здравствуй.

Потому что в большом зеркале спальни отражалось окно, а за окном — кусок улицы, край песчаного пустыря и бассейн — серые бетонные стены с трубами и отверстиями и синеватое дно, полого стекавшее книзу, вглубь.

Там, в глубине, сухой, безводной, в самом углу, и устроился заступивший опять на службу солдат.

Он сидел на дне, широко раскинув ноги, привалившись плечом к углу, надвинув на глаза защитного цвета кепи и положив на колени солдатскую сумку с винтовкой.

Спал.

Видно, сразу уснул, сморило.

На краю бассейна, как два ангела-хранителя, сидели, свесив ноги, братья-близнецы с ведрами по бокам.

Сидели, не шевелясь, и глядели на солдата.

— Здравствуй, солдат, — сказала она.

Солдаты, вот и уходят.

Так уж водится.

Вот и в Судный день...

Странный шум нарушил тишину Судного дня.

Нет, не сирена. Сирена взвывает вдруг натужно, пробирая тебя насквозь, до самого нутра, но вскоре смолкнет. И после сирены снова тихо, а тут не было тишины, потому что приглушенный странный шум несся со всех сторон.

Негромко, словно нехотя, зашуршали машины, одна за другой, хоть им положено стоять и не двигаться в Судный день.

Но ведь то не машины были.

Может, радио?

И впрямь как бы радио включилось, хоть и ему положено было молчать в тот день. И тоже приглушенное, тихое, шелестящее, зашипело вдруг всюду радио — в квартирах, машинах, во дворах, но нигде не грянуло во весь голос, а все полупотопом, будто на ухо, по секрету.

А может, не радио это?

Шаги?

Действительно, шаги зашуршали по всей округе.

Шаги, шаги.

Приглушенные, шаркающие, словно ноги, которые плетутся еле-еле, не в силах согнуть колени, оторвать от земли ботинки, ползущие мерно, ровно.

Мужчины шли, и никто их не провожал.

Ни дети, ни женщины.

А если кто-то и вышел из дому вместе с ними, так не дальше, чем до угла, до конца двора, до первого перекрестка. И не разговаривали, молчали, ничего не желали друг другу, не здоровались, не прощались.

Может, потому и молчали, чтоб не прощаться.

Как на работу вышли.

День-то был святой, нерабочий, все по домам сидели, и вдруг всех на работу призвали, и все шли, как на работу, только с зелеными сумками в руках, в зеленой одежде только — вот и вся разница, только похожими, одинаковыми все стали, как близнецы, и много их, близнецов этих — считать не пересчитать; уходили солдаты из дому, провожаемые приглушенным тихим шарканьем.

Радио неустанно повторяло пароли-вызовы.

Но они и паролей не слушали, шли, зная, что уже называли их пароль, а если и не назвали, так назовут еще.

Йона не спешил выйти первым. Переоделся и ждал, пока сын ее, Шмулик пока не выйдет.

А она смотрела на сына и думала, думала что-то про себя.

Мужчины бросают жен и находят других.

Сыновья бросают матерей.

Почему?

Потому, что уже и они — мужчины?

Сыновья даже хуже мужчин.

Они бросают матерей, оставляют подруг, которым клялись в любви, которых целовали, ласкали по-детски, неумело, лишь пробудив их к жизни и не успев показать, что это такое, жизнь.

Она молча стояла у входа в кухню и смотрела на сына, дитя свое, зачатое ночью под деревом, на высокой дюне, на едва пробившейся травке, когда в небе светили луна и звезды и отражались две темных тропки, оставленных им и ею, когда шли в обнимку на самую высокую дюну, в ту ночь, когда она стала женщиной, когда заново родилась сама и, родясь на свет, зачала плод в своем лоне.

Шли солдаты, и сын ушел.

И не сын ее вовсе, а солдат в синей форме.

Свой?

Нет, не свой, а чужой совсем.

Ему нравилась эта синяя форма, с самого детства, еще когда отец рядом был, конечно. Синяя форма, как у отца. Еще бы!

Взлететь, вознестись над землей, сбежать, оторваться от матери. От матери, от земли, от дома.

Не свой, чужой.

Еще будучи у нее под сердцем и на свет не родившись, он вертелся, брыкался, бил изнутри кулачками ей в живот, желая вырваться — от нее, от матери,

отделиться, оторваться, отдалиться.

Чужой.

Такой же, как все солдаты, одинаковые, будь на них зеленая, серая, синяя или голубая форма.

Не простились, не обнялись они. Даже словом не обменялись, только взглянули в глаза друг другу. Она стояла, прислонясь к косяку дверей, и он, уходя, остановился перед ней и посмотрел на нее, заглянул в самую глубину ее глаз, и она — тоже.

И ушел.

Она стояла у окна, глядя ему вслед, а он даже не обернулся. Шел, шел, свернул за угол и исчез.

Она стояла у окна.

Стояла, хоть и запрещено ей было, чтоб солдат или полицей не увидел. Потому что увидит — убьет, как уже всех детей поубивали, и остались только те, что прятались, потому их нигде не видно было, и жили там люди, только большие, взрослые люди, и совсем не видно было детей, будто их сроду не было — мир одних больших и ни единого маленького — как бездетное стадо, яловое.

Девочка стояла у окна и увидела наконец бредущую к дому мать. Но в ту минуту, когда мать вошла во двор, два полиция остановили ее, сорвали платье, а когда ее грудь забелела в желтых сумерках, повалили ее на землю, тут же, за углом, между высокой кирпичной стеной и большим деревянным ящиком, в узком проеме между стеной и ящиком.

Мать не крикнула, даже рта не раскрыла, только глаза ее расширились, когда глянула на свое окно. Может, ее увидела, девочку.

Надо было отойти от окна, запрещено ведь было.

Но она не отходила.

И тогда услышала долгий звонок.

А потом еще несколько — долгих, нервных.

(Окончание в следующем номере)

С литовского. Авторизованный перевод Феликса ДЕКТОРА.



КНИГИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА "ТАРБУТ"

М. ВАЙНШТЕЙН. Антисемитизм... и завтра?! Анализ тенденций современной советской литературы. 288 стр. (\$11).

Г. ГАБЕ. Миссия. Рассказ об отказе государств мира спасти евреев Германии от угрозы уничтожения. 272 стр. (\$8).

Д. ДАР. Исповедь безответственного читателя. Публицистические раздумья о судьбе еврея-интеллигента. 152 стр. 2-е изд. (\$3).

Д. КОСОФ. Библейские истории. Живой и интересный рассказ о событиях еврейской истории. 351 стр. (\$5).

ТОМАС МАНН. Иосиф и его братья. Т. I — 765 стр., т. II — 920 стр. (\$26).

Я. СОРОКЕР. Давид Ойстрах. Художественно-документальный очерк. 220 стр. (\$6).

ЧЕРНАЯ КНИГА. Документальная история массового убийства евреев в СССР в 1941 — 45 гг. (под редакцией И. Эренбурга и В. Гроссмана). 576 стр. (\$25).

ВЫШЛИ В СВЕТ:

ПИСЬМА ЙОНИ (Портрет героя). Книга о подполковнике Йонатане Нетаньягу, который командовал отрядом десантников, освободившим заложников в Энтеббе. (\$7).

ДОВ ШИЛЯНСКИЙ. Мозельман, или одиннадцатая заповедь. Роман-воспоминание о страшных годах, проведенных героями в фашистских лагерях смерти. (\$5).

В цену включена стоимость пересылки. Заказы и чеки высылать по адресу: "Tarbut", P.O.B. 8383, Jerusalem 91083, Israel.

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ТАРБУТ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ**

Шломо ибн-Гвириоль (он же Габироль, Гебироль, Авицеброн, Авицеброль et cetera) родился в Малаге предположительно в 1021 г. Прожив около 30 лет, он умер неизвестно где.

Жизнь этого гениального еврея была кратка, блистательна и трагична. Крохи свидетельств его небогатых соседей по веку и вкрапления автобиографического характера в трудах самого Гвириоля сообщают нам, отдаленным потомкам его современников, самую малость: был он тяжело болен, нуждался, был нелюбим, был непонят и отличался скверным характером (о чем эти современники, конечно, не умолчали). И уже никакие порывы исторических открытий, никакие филологические бури не сдуют тумана недоверности и загадочности, окутавшего эту невероятную фигуру смутно различных веков, средних только по названию.

Смерть, которую он звал, ждал и называл Свободой, смерть встретил он в изгнание, в каковое — после продолжительной, но тем не менее ожесточенной травли (по популярному обвинению в чернокнижии) — отправили Гвириоля его почитатели — еврейская община Сарагосы. Заметим, что изгнание в те бурные и малоблагоклонные к поэту и еврею времена — изгнание из гетто — и было равнозначно смертному приговору. Болезнь же, при которой недуги Иова поминались с завистью, и золотая экзема славы настигли Гвириоля раньше: еще при жизни поэта его стихи были канонизированы и включены в синагогальные литургии.

Все это — смерть, слава, аскеза и ересь, и еще, конечно же, исключительные достоинства его разнообразных, но, к несчастью, далеко не полностью дошедших до нас трудов — придало его биографии черты эксцентричности, полуполюгендарности и неизмеримо печальной банальности высокой поэтической судьбы.

На обожженных черепках всех трех культур и религий читаем мы дактилоскопию его покрытых струпьями пальцев. Как Соломон Авицеброн, он основал демоно- и ангелологию, на его авторитет ссылаются чуть ли не все позднейшие богословы и схоласты. Его читал Фома Аквинский. Его учение о Воле штудирует Джордано Бруно. Сулейман Ибн-Джебэриль — имя в ряду выдающихся имен арабской философии, пережившей свой полдень в мавританской Испании. Для нас он, Шломо ибн-Гвириоль, астральный путешественник, философ и грамматик, "алмаз в ожерелье на шее Мудрости", величайший поэт еврейского средневековья.

Европейское средневековье герметично и труднопроницаемо, и в скорлупе его, в собственной и еще более твердой оболочке — средневековье еврейское. И в этой двойной скорлупе, двойной раковине, двойном, если угодно, саркофаге — в броне непереводимости гения и одиночества — Гвириоль.

И все же мы взяли на себя смелость предложить читающей по-русски аудитории опыт поэтического перевода одного из известнейших стихотворений поэта, ибо, рассудили мы: даже если тень крыла великого поэта, да что тень! — хоть шум пера одного достигнет слуха непросвещенного читателя — мы сочтем нашу нескромную миссию выполненной. А ежели непредвзятого нашего с Гвириолем читателя раздражает или смущает по отношению к тексту слово "перевод" (и впрямь изрядно скомпрометированное некоторыми нашими предшественниками) — что ж, мы согласны считать наш опыт лишь документом, записью некоего культурного переживания, какое перенесли мы при встрече с Шломо ибн-Гвириолем. Он же Ибн-Габироль. Он же Авицеброль.

Переводчик

Шломо ИБН-ГВИРОЛЬ

Уходя из Сараюсы

"Это одно из его прекрасных и длинных стихотворений, которое он произнес, покидая (навсегда) Сараюсу".

(Арабская надпись, предваряющая это стихотворение в сохранившемся списке "Дивана" Шломо ибн-Гвириля.)

- | | |
|--|--|
| 1. Язык к гортани прилип — ни
звука горлу — хрипы одни, | נָחַר בְּקֶרְאִי גְרוֹנִי,
דָּבַק לַחֲפִי לְשׁוֹנִי. |
| 2. и — сердцекруженье — то боль
и горе зажали в клешни, | הָיָה לִבִּי סַחֲרָהָר
מֵרֵב כְּאָבִי וְאוֹנִי. |
| 3. к очам моим поднялись
и стали бессонны они. | גָּדַל יְגוֹנִי וַחֲדָל
מִתַּת תְּנוּמָה לְעֵינַי. |
| 4. Так доколь уповать? Доколь
полыхать вам, гнева огни? | כֶּמָּה אֶיֶּחַל וְכֶמָּה
יִבְעַר כְּמוֹ אֵשׁ תְּרוֹנִי? |
| 5. кому излиться, кому
рассказать, как несносны дни! | אֵל־מִי אֲדַבֵּר וְאֶעִיד ⁵
לְמִי אֶסְפֹּר יְגוֹנִי? |
| 6. К кому припасть мне — утешь!
руку помощи протяни! | לֹא יֵשׁ כְּנַחֵם, מֵרַחֵם
עָלַי וְיֵאֱחֹז יְמִינִי. |
| 7. Я бы сердце свое пред ним
расплескал — а расплесни | אֶשְׁפֹּךְ לִבִּי לִפְנֵי
אֲנִיד קֶצֶה עֶצְבוֹנִי. |
| 8. Боль — да и отойдет душа
от горестей чертовни... | אוֹלֵי בּוֹכְרֵי יְגוֹנִי
אֶשְׁקֹט מֵעַט מִשְׁאוֹנִי. |
| 9. О, утешь! разве стон души
не покроет штормов грызни. | שׂוֹאֵל שְׁלוֹמִי, קֶרֶב נָא
וְשִׁמְעַ כְּמוֹ דָם הִמּוֹנִי! |

10. И — что сердце? — размякнет лал,
в мой позор его окуни.
11. По-твоему, жив я? — живя
среди быдла такого, что ни
12. в жизнь — правую не отличат
от левой своей пятерни?
13. Йздох я? В пустыне? Ан нет!
Мой дом -- яма, в нем хорони
14. того, кто юн, нищ, одинок,
без друга, да и без родни
15. (Пожалуй, что Разум один —
кому прихожусь я сродни)...
16. Я слезы мешаю и кровь
с вином, — горше нет стряпни!
17. Друг, жажду тебя! но — глотком
предсмертным — утешат ли дни,
18. иль с грезой меня развела
рать ангелов в блеске брони!
19. Здесь всем я чужак, я живу
среди страусов, среди болтовни
20. жулья — я, чье сердце подстать
мудрейшим, я — и они!
21. Один — жлоб. Злой аспид — второй:
вот яд, мол: ну-ка лизни;
22. а третий — с честняги лицом —
агнец — влечет в западни.
23. Народ... чьих старейшин к стадам
и псами-то взять не рискни!
24. чьи морды пока не раскрась —
и не покраснеют они.
25. Гиганты — кто ж им по плечу,
гигантам... мушиной возни!
26. ...Я притчу им — греком тотчас
ославят: "ты, мол, без фигни,
- 10 אם יש לבבך כשמיר —
יךך לרוב דראוני.
- איך תחשב כי אני חי
על דעתך דאבוני?
- המעט חיותי בתוך עם
יחשב שמאלו ימני?
- נקבר — אבל לא במדבר,
כי אם בביתי ארוני!
- נכאב, בלי אם ולא אב,
צער ויחיד ועני.
- 15 נפרד בלי אח, ואין לי
רע לבד רעיוני.
- אמסוף בדמי דמעי,
אמוג דמעי בייני.
- אצמא לרע ואכלה
טרם כלות צמאוני —
- כאלו שחקים וחילים
בין תאחתי וביני!
- נחשב כמו גר ותושב
ישוב בשבת יעני.
- 20 בין כל-פתלתל וסכל —
לבו כלב תחכמי.
- זה ישקה ראש פתנים,
זה יחליק ראשי ויני.
- ישים ארבו בקרבו
יאמר לך: «בי אדני».
- עם — נמאסו לי אבותם
מהיות כלבים לצאני
- לא יאדימו פניהם —
כי אם צבעום בשני:
- 25 הם פענקים בעינם —
הם פחנקים בעיני!
- בשאת משלי יריבון
עמי כמו עם יוני:

27. без зауми... языком
чевой нам народным загни!"
28. Да я вас!... О, мой язык
трезубый, под дых их пырни!
29. Тетери; вам колокол мой
не звонче набата мотни!
30. По мерке ль вам? ну-ка, надвинь
ярмо мое — и потяни!
31. Что пасть разеваете? — дождь
от туч моих — на-кось, глотни!
32. от мирры, что облаком я
над миром пронес — на, дохни!
33. Нам с Разумом горе — с таким
соседушкой! Через плетни
34. за Богопознание меня
зовут чернокнижником, пни.
35. С того-то и вою. Я сплю
во вретнице, без простыни,
36. гнусь, словно тростник, пощусь
вторые и пятые дни.
37. Чего ж еще ждать от судьбы?
на что опереться рискни? —
38. Назад безутешный свой взор
из целой Вселенной верни:
39. власть Смерти с призывом Земли —
что будет сильнее? — сравни!
40. Прельстись только Явью — и
в себе ж себя похорони —
41. заплатишь главой не за грех —
за искус! за мысли одни!
42. Явь похвалит тебя — хвалу
Явь душу почитит если — ни!
43. мой Гений! призывы ее,
и чары ее — отряхни,
- »דָּבַר שִׁפְתֵי-עַם וְנִשְׁמַע,
כִּי זֶה לְשׁוֹן אֲשֶׁקְלוֹנִי!
עָתָה אֲדַקֵּם כְּמוֹ טִיט,
כִּי קִלְשׁוֹנִי לְשׁוֹנִי.
אִם אֲזַנְכֶם הִיא עֲרֵלָה —
מָה יַעֲשֶׂה פַעַמוֹנִי!
30 לֹא יוּכְלוּ צוֹאֲרִיכֶם
לְשֹׂאת זֶהב שְׁהָרוֹנִי.
לֹו פָּעָרוֹ הַפְתָּאִים
פִּיהֶם לְמִלְקוֹשׁ עֲנִי,
נִטֵּף בְּשָׁמִי עֲלֵיהֶם —
בְּשֵׁם עֲנִן קְנָמוֹנִי.
אוֹי לְתַבּוּנָה וְאוֹי לִי
כִּי גוֹי כְּמוֹ זֶה שִׁכְנִי!
דַּעַת אֱלֹהִים יִשְׁמֹן
כָּאוֹב וְכִידְעוֹנִי.
35 עַל זֹאת אֵילִיל וְאַסְפָּד,
אֲשִׁית בְּמוֹ-שֶׁק מְלוֹנִי.
אֲכַף כְּאַנְמָן וְאַצּוֹם
שְׁנֵי חֲמִישֵׁי וְשְׁנֵי.
מָה זֶה אֵיחָל אֲנִי עוֹד
אוֹ מָה יִהְיֶה בְּטַחְוִנִי?
עֵינִי בְּחַבֵּל תְּשׁוּטֵט
לֹא תַחֲזֶה בָּהּ רְצוֹנִי!
תִּיקֵר תְּמוּתָה בְּעֵינִי,
תִּקַּל אֲדָמָה בְּאַזְנוֹי.
40 אִם יִשֵּׁט לְבִי לְדַרְכָּהּ
לְטָמֵן בְּחַבֵּי עֲוֹנִי —
יֵשֵׁב עִמָּלִי בְּרָאשִׁי,
יִרַד בְּחִיקֵי יְדוֹנִי.
נַפְשִׁי כְּבוֹדָה תִּמְאָן,
כִּי עַם כְּבוֹדָה קְלוֹנִי!
לֹא אֲעִלּוּ בָּהּ לַעֲוֹלָם,
לֹא יַעֲלֹז בָּהּ גְּאוֹנִי —

44. Звездам откажи, позовут
когда: в гости, мол, заверни...

לו קראו לי בני-עש
«סורה שבה-פה, פלני!»

45. Нет! Если жернов Земли
взвалил — его и тяни!

45 כי היתה האדמה
פעל עלי צורני.

46. Что в этом миру мне, когда б
дух слепо не перли ступни!

מה לי אני עוד בתבל
לולי שאת עורוני?

47. Умру — и с Душою сольюсь,
ликуя в Престола тени;

נפשי במותי תרנן,
לו מצאה צור מעוני.

48. мне ль плоти не презирать
за бренность покровов — взгляни:

אקוץ בחיי ואמאס
להיות בשרי מכוני.

49. как весел я в дни беды,
как плачу в победы дни;

כי יום ששוני — אסוני
וביום אסוני — ששוני.

50. и лишь отпадут когда
плоти моей ремни —

50 אינע להבין ואדע
ככלות בשרי ואוני.

51. узнаю: за стоном — покой,
за голодом — тучные дни!

כי סוף אנחה — הנחה
ועקב רוזני — מזוני.

52. Но жив я пока — молю,
как дед мой Шломо: "Осени,

אדרש בעודי, אחפש
כמצות שלמה זקני:

53. Проникающий Бездны, — дай
Разум мне и Познание — они

אולי מגלה עמוקות
יגלה תבונה לעיני.

54. лишь и есть цена бытия
моего — лишь они одни!"

כי היא מנתי לבדה
מכל עמלי והוני.

С иврита. Перевод Михаила ГЕНДЕЛЕВА.

Давид ШАХАР

Тени образа

Вы верно охраняете в миру Господний образ.

Х. Н. Бялик

1.

В семнадцать лет Эфраим ушел из дому и несколько недель прожил у чужих людей. Его отец, конечно, знал об этом, но, к нашему удивлению, не вмешался и даже не пытался заставить сына изменить свое странное решение. Я сказал "к нашему удивлению", потому что тогда нам еще не было известно о событиях, которые потрясли семейство Великого Раввина Аарона Сегалья, как называли люди Эфраимова отца, хотя официально тот никогда не занимал пост раввина, и я не уверен, что он был большим знатоком Мишны, библейских изречений и прочего, без чего просто невозможно быть в Израиле раввином. Не надо думать, что отец Эфраима хоть раз попытался украсить себя званием, ему не принадлежащим, но он все же не воспротивился, когда его стали величать "раввином", хотя следовало ему поступить именно так. По профессии он был бухгалтер, но средства к существованию ему давала должность заведующего сиротским домом; сверх того он состоял членом квартального комитета и еще ряда других комитетов, которые в ту пору множились как грибы после дождя. Он был фанатик порядка и насаждению одного отдавал всего себя безраздельно. Если какое-нибудь учреждение или комитет оказывались неспособны выбраться из накопившейся за годы неразберихи, то приглашали его — как приглашают на консилиум знаменитого эскулапа в том случае, когда познания местного врача оказываются недостаточными, чтобы исцелить больного; и, подобно знаменитому медицинскому светилу, отец Эфраима знал себе цену и был тверд и непреклонен в своих суждениях. Роста он был невысокого, но крепок в кости и широкоплеч. Бороду, короткую, квадратную, всегда

аккуратно подстриженную и причесанную, он носил так, что она вполне соответствовала его телосложению, как и положено человеку, любящему порядок во всем, а взгляд его маленьких черных глаз, казалось, проникал на полметра сквозь землю. Если шум, возникший в каком-нибудь классе приютской школы, достигал его кабинета, он вставал, направлялся в класс и едва открывал дверь, как немедленно воцарялась тишина. А поскольку уже одно его появление восстанавливало порядок, ему никогда не приходилось поднимать на детей руку. И точно так же, как он умело выявлял зачинщика безобразий в сиротском приюте, он обнаруживал ошибку в гроссбухе какого-нибудь учреждения. В молодости он выпустил учебник по бухгалтерии, и хотя книга была написана устаревшим языком и полна сокращений, принятых скорее в талмудическом трактате, однако материал был распределен и изложен в образцовой последовательности. Возможно, он посвятил бы себя исключительно счетоводству и работал только ревизором, не испытывая он такой страсти вмешиваться в общественные дела и вникать в самую суть наиболее злободневных вопросов окружающей жизни.

Как ни странно, этому поборнику порядка никак не удавалось навести порядок в собственном доме. Жена была моложе его на десять лет, ростом же — выше на полголовы. Со дня свадьбы и по самый день ее смерти он поучал жену, как вести хозяйство и как быть бережливой, — но все безуспешно. Она погибла в результате несчастного случая, возвращаясь вечером со свадьбы близкого родственника. Ее, двух других женщин и ребенка сбил пьяный водитель английской военной автомашины, вырвавшийся на тротуар. К тому времени Эфраиму, младшему в доме, исполнилось семнадцать, а обе его сестры и старший брат уже обзавелись собственными семьями. В молодости мать была красива, и следы красоты сохранились на ее лице до самой смерти. Люди говорили, что она легкомысленна, и она и в самом деле была со странностями, отличаясь от своих соседок и подруг, хотя по сравнению с женщинами действительно вольного нрава ее поведение было очень религиозным, а требования к жизни — намного сдержаннее, скромнее и понятнее. Ее супруг, властный и тяжелый с другими, так и не сумел подчинить ее себе, и его суровый, пронзительный взгляд смягчался и плавился, когда он смотрел на жену, и случалось, под ее взором он отводил глаза. В то время как он пытался экономить, урезать расходы, жить скромнее, она тратила его зарплату как попало — во всяком случае, так полагал он, и так считали соседи. Она покупала на рынке все самое дорогое, детей одевала в самое красивое, да и сама наряжалась в платья, повергавшие в смущение окружающих, а больше всех — мужа. Он, Великий Раввин, заведующий сиротским домом и член квартального комитета, полагал, что наряды его благоверной, матери взрослых сыновей и дочерей, должны приличествовать ее возрасту и положению. Нет, Боже упаси подумать, что она одевалась, как распущенная женщина, но ее платья были слишком яркими, а шелковые чулки — слишком тонкими. А вместо головного платка она надевала, отправляясь на рынок, красивую маленькую шляпку. Сам он мог бы проходить в одном костюме десять лет, но она и его заставляла

обзаводиться новым костюмом каждые два-три года. Она приучала его к этому с первых лет супружества. Года через два после свадьбы она намекнула, что ему нужен новый костюм. Это его потрясло, и он принялся ей втолковывать, что в платье, которое человек справил к собственной свадьбе, он вполне может проходить до свадьбы своих сыновей. Она не стала спорить, — все равно в словесных баталиях его не победишь, — но спустя неделю преспокойно извлекла из комода отрез дорогой английской шерсти и сказала ему:

— Вот возьми и поди отдай шить себе костюм.

И он взял, пошел и отдал шить.

В то время, как в их квартале еще сплошь пользовались керосиновыми лампами, Шейндл — так ее звали, и это имя как нельзя более подходило ей* — провела в доме электрическое освещение, а вслед за тем наш Великий Раввин Аарон Сегаль был вынужден купить радио, электрический уют и электроплитку. Так ему никогда и не удалось что-то скопить на случай беды или старости. И потому он жил в непреходящем страхе перед завтрашним днем.

Если бы не Эфраим, он мог бы гордиться в душе тем, что наставил сыновей на правильный путь и вырастил их людьми добрыми и благочестивыми. Старший сын, с детства одаренный приятным голосом, женился на девушке из хорошей семьи и уехал в Америку, где приобрел известность как прекрасный кантор. Обе дочери тоже вышли замуж за достойных молодых людей. Один из них был торговым поставщиком, и счастье улыбнулось ему в делах, а другой — выпускником религиозного училища, человеком строгим, знающим, с помощью тестя получившим место преподавателя в сиротском приюте. Вот только Эфраим... Эфраим причинял ему лишь страдания и муки и, по мере того как рос, — все больше.

2.

Еще не родившись на свет, Эфраим не знал покоя, сильно толкался в чреве матери, а при рождении запутался в пуповине и чуть не задохнулся. Первые три года был слабым и болезненным. Нос и горло всегда заложены... Ощущение, что он вот-вот задохнется и страх перед этим кошмаром сопровождали все его детство. Однажды, когда миновал тяжелый кризис очередной болезни и Эфраим начал выздоравливать, мать усадила его среди подушек, чтобы он мог смотреть в окно. Вечерело, и колесо солнца, спускающегося меж огненных облаков, повисших над иерусалимскими горами, излучало малиновый свет. Пораженный, мальчик не отрываясь глядел на это действо, пока солнце не исчезло и крыши окружающих домов не обозначились во всей своей уродливой наготе. Это запечатлелось в его душе первым ясным воспоминанием, вместе с великой и безотчетной тоской по свету, что проникал из-за небесного предела, из-за гор, из-за неведомых далей. Тоска по красоте извечно связана с отраще-

*Красавица (идиш).

нием к уродству. Резкое ощущение красок дрожало в нем, вызывая подчас чувство огромного счастья.

Когда ему было шесть лет, он гулял однажды с матерью по весенней улице Яфо. Вся улица была залита солнцем, солнечные лучи отражались от каждого окна. Мать надела белое платье с большими синими цветами и широкополую соломенную шляпу. Он вдруг поднял глаза — и великая любовь к матери захлестнула его. Стало ему радостно, что вот он жив и здоров, что та, которая идет рядом с ним, — его мама, что на улице так много света. Они миновали галерею, где продавались картины, и мать, бегло взглянув на витрину, пошла было дальше, но Эфраим точно прирос к месту... Середину окна занимала большая картина: три лошади на лугу. Две лошади терлись шеями в порыве любви и силы, а третья щипала траву. Те, что нежно лынули друг к дружке, были красновато-коричневые, а третья — синяя. Краски жили своей собственной жизнью и ощущались так непосредственно, что, казалось, стекают с картины и, подобно освежающему напитку, наполняют жаждущий рот.

С тех пор Эфраим что ни день просил:

— Мама, пойдем к лошадям.

Вначале она не понимала, чего он хочет, а когда разобралась, отказалась наотрез. И тогда Эфраим решил пойти один. Неожиданно для себя он оказался в Старом городе. Огромные камни древних стен угрожающе громоздились вокруг него, множество больших и маленьких арабов толкались и оглушительно кричали.

— Что ты здесь делаешь, черт побери?! — вдруг закричал на него кто-то знакомым голосом.

Он повернулся и увидел доктора Вайнштока, врача из их квартала. Как всегда летом, доктор был в белой английской панаме и белом костюме. Он взял мальчика за руку, и они вместе пошли по крутой, узкой улочке вверх, к пролетке, запряженной парой вороных лошадей. Сидение было обито зеленым плюшем. Кучер — араб в красной феске — потянул вожжи, взмахнул кнутом, и лошади дружно припустили легкой рысью. Временами они охлестывали себя хвостами по ляжкам, их спины блестели, как шелк, и отражали солнечный свет.

— Что ты искал один в Старом городе? — спросил доктор.

Эфраим был захвачен удовольствием езды, вопрос озадачил его, и он признался:

— Лошадей.

— А-а, — сказал врач. — Наверное, ты хочешь стать кучером...

— Да, — сказал Эфраим, но не потому, что хотел стать кучером, а потому, что почувствовал: такой ответ удовлетворит доктора. Он впервые в жизни ехал в экипаже, и ему чудилось, что они несутся с величайшей быстротой. Мимо проплывали большие и малые дома, а люди, — взрослые и дети, — казалось, шагают вспяты. Это удовольствие, как и вообще все удовольствия на свете — было недолгим. Пролетка остановилась, доктор опустил Эфраима на землю неподалеку от дома и сказал:

— Не ходи больше один в Старый город глазеть на лошадей. А теперь — живо домой.

И только после того, как закрылась за Эфраимом дверь, пролетка тронулась и покатила дальше. На другой день Эфраима отдали в школу.

3.

Школа, куда определили Эфраима, содержалась фондом "Мизрахи". Она открылась года за два до того. Возможно, его послали бы в другую, обычную начальную религиозную школу, не будь директор этой приятелем Эфраимова отца еще с юности, когда оба они учились в религиозном училище. В первый же день школа испугала Эфраима, и страх поразил и не покидал его все годы учебы. Множество детей — маленьких и постарше, — гвалт, беготня, учителя, коридоры и классы — все это казалось ему кошмарным сном. Учитель и ученики и все, что говорилось, и все, что происходило, — доносились до него словно сквозь завесу тумана, и он целиком был занят окном да эвкалиптовым деревом, что за окном. В первые же школьные часы охватило его ощущение удушья, как в те ночи, когда он был болен; в перемены, выходя на воздух, он всячески старался держаться подальше от общего гвалта. Продолжительно дребезжал колокольчик, с тоскою в душе он шел в класс и старался не слышать голос учителя — тот голос, что звучал в ушах, когда он поздно вечером засыпал. Учителем был еврей лет шестидесяти, с голосом хриплым и нетерпеливым, подобным скрежету камня по жести. Эфраим не мешал учителю, а тот не замечал его, Эфраима, присутствия — и так шло до того дня, когда в классе начали учить: "В начале сотворил Бог небо и землю. Но на земле был хаос, и тьма над бездною, а дух Божий парил над водою". Учитель читал библейские стихи голосом металлическим, хриплым, и Эфраиму этот хаос представлялся похожим на то, что он испытывал во время болезни: все вокруг смешивалось, кровать куда-то проваливалась, а потом ощущение удушья миновало, заложенный нос и горло освобождались — дух Божий парил над ним свежим дуновением, — он спокойно вдыхал благодатный воздух, воздух жизни, и — да будет день, воздух и солнце. И вдруг услышал Эфраим свой собственный пылкий возглас:

— А кто же сотворил Бога?

Хриплый голос учителя смолк, все обратили взор на Эфраима, словно удивляясь этому существу: вот уже давно сидит он среди них, а они его раньше почему-то не замечали. Учитель с учениками успели дойти до сотворения всех зверей земных по роду их и скота по роду его, и всех гадов по роду их...

— Чтобы задать вопрос, поднимают руку, — сказал учитель и кашлянул.

Эфраим поднял руку и повторил вопрос.

— Бог был всегда, — сказал учитель. — Как мы произносим во время

утренней молитвы?... ”Без начала, без конца... предвосхитивший все, что сотворено, изначальный, и нет ничего раньше Его первоначальности, и Он — превыше всего”.

Вернувшись домой, Эфраим хотел тот же вопрос задать отцу, однако почувствовал, что отец ответит подобно учителю и с тем же недовольным лицом. Поэтому он подошел к матери, которая стояла на кухне, и тихо спросил:

— Мама, кто сотворил Бога?

Мать в это время мыла посуду. Она вытерла руки передником и взглянула на сына. И вдруг подняла его на руки, прижала к груди и очень крепко поцеловала.

— Майн кинд, — сказала она на идише. — Мой мальчик! Да ведь такого, как ты, нет на всем белом свете.

И он успокоился, легчало ему, и некое чувство, будто между ним и матерью существует глубокая тайна, известная лишь им двоим, захлестнуло его. На другой день подошел к нему мальчишка и спросил:

— Это почему у тебя весь нос в веснушках?

Эфраим не знал, что у него на носу веснушки, и не понимал, что означает это слово.

— Нет у меня никаких веснушек, — ответил Эфраим; он заподозрил, что веснушки — это плохо.

— Ну да, нету... Вот, спроси хоть у Мати.

Подошел Мати и заключил:

— У всех рыжих нос в веснушках.

— А у тебя еще и ноздри видно, — сказал первый мальчишка и дернул Эфраима за волосы так, что у того слезы едва не брызнули из глаз.

Он хотел убежать, но они схватили его за руки; он попытался вырваться — и завязалась драка. Мальчишки повалили его на землю и принялись дубасить. Эфраим боролся изо всех сил, руками и ногами, весь перепачкался в земле, пыль набилась в горло, один из мальчишек уселся ему на грудь, Эфраим почувствовал, что задыхается, и испустил громкий крик. В тот же вечер он заболел и целую неделю бредил в жару. Выздоровев, отворил дверь большого шкафа и посмотрел в зеркало на внутренней стороне двери. Он увидел лохматые красновато-коричневые волосы, вздернутый кверху нос, а на нем — веснушки, полным-полно веснушек.

— Мама, почему я рыжий? — спросил он.

Мать удивленно на него взглянула, потом улыбнулась и сказала:

— У тебя красивые волосы, Эфраим! Они такого же цвета, как мои, а меня никогда не называли рыжей.

Она сняла платок, которым дома покрывала голову, и — по плечам заструился поток шелковистых каштановых волос. В эту минуту вошел отец. Он остановился, бледность расплылась по его лицу, словно он застал жену обнаженной, однако не произнес ни слова и поспешно прошел в другую комнату, а сердце у него в груди продолжало учащенно биться.

Вечером, засыпая, он слышал голоса родителей в соседней комнате.

— Ребенку достается в школе от других детей, — говорила мать. — Он слабый, и они его колотят.

— Его побили старшеклассники, — сказал отец. — Я говорил с директором, он сказал, что их уже наказали. Однако меня беспокоит не это, а то, что мальчишка рассеян, не слушает на уроках, отстает в учебе. Дичится детей, грезит о чем-то наяву, в последний раз вызвали к доске, так он не смог выполнить простого арифметического действия. Задает вопросы, которые к делу не относятся, а спрашивают — отвечает не как надо.

Эфраим почувствовал, что тело покрывается гусиной кожей. Он зарылся лицом в подушку и долго плакал, пока не уснул. Назавтра отказывался идти в школу, хотя выздоровел. Отца не было дома, и мать решила: пусть останется. Когда отец узнал об этом, между родителями разгорелся спор, который скоро перешел в ссору. Отец винил мать, что та распускает сына, что, не воспитывая как положено, она вырастит из него бандита. Не пообедав, он ушел из дому злой, а мать со слезами на глазах удалилась на кухню.

Прошла еще неделя. Эфраим не ходил в школу. Вместо этого он бродил себе в удовольствие по пустырям в районе Сангедрии. Была весна, и все вокруг утопало в теплом запахе земли и солнечном свете. Однажды, подойдя к надгробьям судей Синедриона, он увидел женщину и мужчину, что сидели и рисовали. Мужчина — углем, она — кистью.

— Чья картина красивее? — внезапно спросил мужчина, не прерывая работу и не оборачиваясь к Эфраиму.

— Вашей жены, — ответил Эфраим. В душе он считал, что картина мужчины безобразна. Ничего он на ней не различал, кроме черных угольных пятен.

Оба рассмеялись.

— И тебе не важно, что это моя жена? — снова спросил художник, не глядя на него.

— Перестань умничать, — недовольно сказала женщина. — Видно, в живописи он смыслит больше тебя.

На художнице была оранжевая блуза и синие шаровары. Она вытерла кисть перепачканным лоскутом, а затем наклонилась и принялась что-то искать в корзине, стоящей возле камня. Ее короткая блуза задралась, показалась полоска белого тела и краешек розовых панталон. Художник протянул мизинец и пощекотал голое место на ее поясице, женщина пронзительно взвизгнула и с силой шлепнула его по руке.

— Еще раз, — сказала она, — и я, честное слово, не пойду больше с тобой рисовать.

Она достала из корзины пачечку жевательной резинки: пластинку взяла себе, а другую протянула Эфраиму.

— Присаживайся, — сказала.

Он сел подле нее и украдкой взглянул на художника, так глубоко ушедшего в работу, словно он перестал замечать их присутствие.

— А теперь скажи-ка мне, — сказала она, — почему ты не в школе?

— Потому что не хочу, — ответил Эфраим и отчего-то покраснел. Он пред-

ставил себе, что стоит у доски и не может решить примера, учитель уставился тяжелым, сверлящим взглядом, и весь класс тоже смотрит на него. Потом вспомнились мальчишки, которые его побили.

Художница взглянула на него и улыбнулась, а он добавил:

— Я болел.

— Есть вещи, которые приходится делать, даже если это против нашей воли, — сказала она. — Вот я обязана целыми вечерами мыть посуду в ресторане, чтоб заработать, а потом сесть и порисовать.

— Я тоже согласен мыть посуду в ресторане, — вызвался Эфраим с жаром.

И он уже видел, как по вечерам моет посуду, и зато может свободно отпрашиваться на весь день далеко-далеко, куда душе угодно.

— Придет время, ты еще загрустишь по школе, — сказала художница и подняла глаза на башню пророка Самуила.

Эфраиму показалось, что он видит грусть в ее глазах, и ему стало жаль, что она попусту тратит грусть на школу и прочий вздор.

4.

Дома отец встретил его злым, пронзительным взглядом:

— Если и дальше будешь слоняться целыми днями по улицам, станешь черным, как какой-нибудь йеменец, и невеждой, как Абдель Азиз.

Абдель Азиз был субботним гоем*. Одна рука у него была короткой и тонкой и висела, как ненужный придаток. Эфраим не стал объяснять, что не слонялся по улицам, а бродил по пустырям. Он не сомневался, что в глазах отца бродить по пустырям — грех похуже, чем прогуливаться по улицам. Он незаметно подошел к шкафу и глянул в зеркало: может, рыжие волосы почернели, но увидел, что они казались теперь даже еще светлее из-за потемневшего от загара лица.

— Иди умойся, — сказала мать, надевая шляпу и, как видно, собираясь уходить. — Если обещаешь вести себя хорошо, возьму тебя с собой.

Эфраим взглянул на отца, который почему-то не проявил никаких признаков раздражения, услышав такое. Волна радости охватила Эфраима. Он любил гулять с матерью и испытывал гордость, оттого что идет рядом с ней. Они неторопливо шли и вдруг очутились возле школы. Эфраим было попятился, у него часто забилося сердце, молнией ужалила мысль, что мать обманула, предала, и вся эта прогулка задумана, чтобы привести его в школу. Мать сказала мягко:

— Не бойся, Эфраим, я не стану тебя заставлять, только лавай подойдем и посмотрим на детей.

* Прозвище иноверцев, которые по субботам, когда евреям запрещено трудиться, зажигают и гасят свет в синагоге, а также делают другую работу. (Прим. переводчи ка.)

Они наблюдали из-за забора, как шумно играют дети. Эфраим долго, не проронив ни звука, стоял, смотрел и — потянулся душою к ним.

На утро он с бьющимся сердцем встал с постели, надел ранец и пошел в школу сам, не пожелав, чтобы мать провожала его. В кармане он сжимал плотно заклеенный конверт с запиской, которую отец написал для учителя. Он не выпускал конверт из руки, словно то был амулет. Вошел в школьный двор и едва совладал с желанием взять и убежать, и, может, так бы и сделал, не попадись ему на глаза тот самый мальчишка, который унизил и поколотил его. Эфраим вспыхнул и бросился на него, мальчишка вывернулся и полетел стрелой прочь. Эфраим кинулся за ним и — застрял головой между коленями учителя.

— Да ведь это Эфраим, — промолвил потрясенный учитель. — Он самый и никто иной.

Эфраим не находил, что сказать, он задыхался от быстрого бега и от испуга и, увидев возле себя раскрытую ладонь учителя, сунул в нее конверт с запиской, промямлив:

— Я — Эфраим... Я болел... Тут, в конверте... все написано.

— Ну-ну, — произнес учитель и, похоже, смутился не меньше, чем его буйный ученик. — Уж вижу, что выздоровел. Выглядишь, слава Богу, здоровым и крепким, чтоб не сглазить. Надеюсь, с этого дня ты всегда будешь здоров, и школу станешь посещать исправно, и учиться прилежно.

Начальная школа осталась в памяти Эфраима чем-то вроде лесной глухомани, душной, гнетущей, наполненной мраком, где только изредка мерцал слабый солнечный луч — и пропадал. Не сбылось предсказание художницы: не грустить ему в будущем по школьным дням... Разве что по годам учебы в гимназии... Поворот, как представлялось ему потом, был резким и ясным и произошел из-за одного изречения Иеремии. Однажды, в удущье классной комнаты, в сером тумане, что облепил его со всех сторон, стирая все чувства и мысли, внезапно, молнией во мгле, сверкнул стих: "Иди и возгласи дочери Иерусалимской: так сказал Господь: помню Я юных лет твоих благочестие, любовь твою, когда была невестою, когда следовала за Мною в пустыне, по земле незасеянной...". И вдруг поднялась и переполнила душу скрытая тоска по ней, доброй, чистой, красивой — поразительно красивой, — босиком ступающей следом за Ним по раскаленному песку пустыни. Давным-давно иссякли от тягот силы, но она продолжает идти — не собственным силам благодаря, а силою юной своей любви. И потому теперь — поскольку не сохранила она память о юной той любви — напоминает Он ей о юном ее благочестии, что растаяло, как сама юность. Она, дочь Иерусалимская, была ему мамой, а Он, Господь, отцом ему был. Строгим и требовательным, повелевающим и беспрестанно возлагающим долги, посильные и непосильные. Но, несмотря на это, а может, как раз потому — ведь Он всегда прав — ты молишься Ему, славяшь Его и превозносишь неустанно, любишь Его не иначе, как именно в те мгновения слабости Его, когда отказывает Он в милости Своей перед лицом ее греховного своеволия, и все это — из-за великой Его любви.

Учеба на учительских курсах началась для Эфраима счастливее, чем когда-то в школе. Он поздоровел и окреп, совсем избавился от неуверенности и лишь продолжал ощущать какую-то неприятную одинокость среди незнакомых людей. На новый путь он вступил с добрым намерением быть хорошим учеником, заслужить расположение товарищей и учителей, и, по-видимому, не было причин, чтобы это не осуществилось. Он не стремился навязать кому-то свою волю, в его характере не было властности, он был доволен уже, если другие не нарушали его покой, и даже когда нарочно злили — не раздражался, кроме тех случаев, когда при нем творилась несправедливость или его самого пытались втянуть в бессмысленное и совершенно пустое дело. Тогда он становился упрямым и был готов к неизбежным столкновениям. Чаще всего он уединялся на сангедрийских пустырях — то ли оттого, что в закрытой комнате испытывал ощущение удушья, то ли просто хотел избежать столкновений с отцом, который видел в чтении романов пустую трату времени и безделье, доводящее в конце концов до греха. За чтением Эфраим проводил все время, свободное от неизбежной учебы и столь же неизбежных молитв, а в классе сидел со скучающим лицом. Насколько удавалось, он старался не сближаться с соучениками; все вокруг так и оставалось ему чуждым. Давно уже не верил он в святость молитв и восхвалений, в обязательность большинства предписаний и запретов, и, в сущности, никогда не мог уяснить, зачем он должен так часто каждый день молиться и славить Бога: ведь рожден-то он помимо своего желания, и так же невольно предстоит ему умереть. При всем огромном чувстве к Богу, какое он только мог в себе вместить и которое безраздельно охватывало его, он не в состоянии был ужиться с мыслью, что это Бог требует от него исполнения всех двухсот сорока восьми предписаний и соблюдения всех трехсот шестидесяти пяти запретов; и точно так же, как не умел смириться с человеческим насилием, так восставал он в душе против насилия Бога над людьми. Отцовской власти, власти учителей и прочих наместников общества и Бога на земле он подчинялся, покуда не охватывало его ощущение удушья, и пока мог еще воздерживаться от столкновений. Чувство собственной греховности пугало его с младенческих лет; на каждом шагу, что бы ни делал, он уверял себя, что совершает проступок. И пребывал он в своих глазах великим грешником до того дня, когда начал изучать поздних пророков. Он все возвращался и вчитывался в них, и они вновь и вновь дарили ему свое великое прощение. "Сказано тебе, человек, что есть добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, милосердным быть и смиренно ходить перед Богом твоим".

Шли дни, он пытался сдерживать растущее брожение, но оно искало разрядки. И однажды в субботу, выйдя, как обычно, погулять за городом, понял он, что не может больше оставаться в религиозном училище. Уже само решение принесло ему чувство облегчения и свободы. Он свернул к Тальпиоту — местности, прилегающей к Старому Иерусалиму с юга, — и остановился на скале. Старый город целиком лежал перед ним, как на картине: весь — древность, покой,

великолепие; равнодушный к новым кварталам, что лепились вокруг него, словно пчелиные соты. Эфраим уселся на камень, достал из кармана книгу и, уже настроившись на продолжительное чтение, заметил на склоне внизу женщину. Она рисовала. Мгновенно, раньше, чем он отчетливо рассмотрел ее лицо, пронзило Эфраима чувство, что она — та самая художница, с которой повстречался он лет десять назад, возле синедрионских могил. Он спрятал книгу в карман и спустился. Да, это была она, разве что узкая прядь седых волос обозначилась над ее лбом. Она держала в губах сигарету и из-за табачного дыма рисовала, прищурив один глаз, а еще — потому что сосредоточенно вглядывалась в собственный рисунок. Эфраим стоял позади, женщина не обращалась, и он уже решил вернуться на прежнее место, но какое-то слабое искушение толкало его познакомиться. Меняя кисть, она мельком взглянула на Эфраима, и он улыбнулся ей. Она продолжала рисовать, потом вновь удивленно взглянула на него.

— Меня зовут Эфраим, — неожиданно вырвалось у него, и он покраснел до корней волос. Он готов был провалиться сквозь землю. "Чего это вдруг тебе вздумалось знакомиться с нею?" — вопрошал он себя.

— Очень приятно, — ответила она, все так же продолжая рисовать. Потом добавила:

— А меня Варда.

Она рисовала, а он стоял на прежнем месте, хотя чувствовал себя так, будто под ним горит земля, и был готов убежать в любую секунду.

— Чего ты стоишь? Сядь, — сказала она, не глядя на него и все так же занимаясь своим делом.

— Спасибо, — сказал он и сел, рдея лицом, сбоку от нее, чуть поодаль, и смотрел на рисунок.

— Вам не мешает, что я сижу и смотрю, как вы рисуете? — спросил он после долгого молчания.

— Да нет, не особенно, — сказала она.

"Ясно, она видит во мне помеху, и отослала бы меня подальше, если б не хорошее воспитание", — подумал Эфраим и решил, что самое время распрощаться и исчезнуть, но тут она прибавила вполне дружелюбно:

— В те времена, когда я только начинала, люди, что собирались за спиной и наблюдали, мешали мне, я чувствовала, будто выставлена напоказ, и портила свои работы, но со временем научилась вытеснять из сознания присутствие посторонних.

— А знаете, — сказал он, убедившись, что она не испытывает к нему неприязни, — десять лет назад, когда я был еще маленьким, мы встретились на пустырях Сангедрии. С вами там сидел еще один художник.

Варда отложила кисть и удивленно взглянула на него.

— Ты уверен? — спросила она. — Если так — память у тебя просто поразительная. Сколько тебе было лет?

— Тогда — семь, — сказал Эфраим. — А зрительная память у меня и в самом деле хорошая. Я вас узнал по той позе, в которой вы сидите. Хотя

тогда на вас были длинные синие шаровары, а сейчас вы в юбке. А как поживает художник, который был с вами в тот раз?

Варда смущенно улыбнулась и сказала:

— Сказать правду, я что-то не помню, — и, немного погодя, добавила, как бы извиняясь. — Видишь ли, десять лет назад я еще училась в художественной школе и частенько ходила рисовать с однокурсниками.

— Вы тогда мыли посуду в ресторане, чтобы заработать, а художник был очень худой и все хотел к вам притронуться.

Варда расхохоталась так, что Эфраим стал смеяться вместе с ней, хотя легкий румянец стыда все еще растекался по его щекам.

— Значит, это было сразу, как я ушла из кибуца. Директор школы был мой родственник, и он предложил мне работу в школьной библиотеке, но я не желала пользоваться "блатом". Мыть посуду в ресторане, казалось мне, больше подходит для молодой художницы, делающей первые шаги в чужом и враждебном мире. В то время меня еще одолевали горькие чувства — как всякого, кто покидает кибуц, — вроде как солдата, что бежал с поля боя. А вот мыть посуду — это было чем-то вроде подкупа собственной совести.

Эфраим дрожал от умиления и сочувствия, слушая ее. Впервые человек совершенно чужой разговаривал с ним так откровенно. Она рисовала, а он наблюдал за ее работой и не произносил ни слова.

— Ты интересуешься искусством?

Он помедлил, чтобы ответить точно и честно:

— Нет у меня никакого художественного образования. Но я всегда чувствовал цвет. В детстве любил рисовать.

Она бросила на него быстрый, испытующий взгляд — мол, из твоих слов можно заключить, что теперь ты древний старик. И Эфраим поспешил добавить:

— Но то была детская забава, вроде игры. С годами это прошло.

— Как тебе картина? — спросила она почти небрежно и не глядя на него.

Эфраим посмотрел на картину долгим взглядом, она показалась ему слишком размытой.

— Мне трудно выразить свое мнение, — сказал он. — Во всяком случае, Иерусалим я рисовал бы маслом, а не акварелью. Я точно не знаю, рисованию я не учился, но мне кажется, что для тех, кто владеет красками... у масляных красок возможности почти неограниченные.

Художница собиралась что-то сказать, но раздумала, достала сигарету и протянула Эфраиму. Тот на секунду смутился, затем взял и сунул в рот. Она чиркнула спичкой, он втянул воздух и закурил. Потом она собрала кисти, и они пошли вместе. Улыбаясь, она сказала:

— С этим котелком на голове ты похож на религиозного.

И Эфраим стал отрывисто и смущенно рассказывать ей про свою веру. Художница слушала, все больше увлекаясь, и так они дошли, беседуя, до ее дома.

Тут он распрощался и хотел было уходить, но она удержала и пригласила его на чашку чая.

— Смотри-ка, — промолвила она. — А я и не знала, сколько хлопот у религиозного человека с верой. Разве что из книг...

Эфраим улыбнулся, смущение исчезло.

— Будь добр, позвони, — сказала она.

В губах у нее была сигарета, руки заняты картиной и мольбертом. Эфраим нажал кнопку звонка.

6.

Дверь открыл мужчина лет пятидесяти, с бородой и всклокоченной шевелюрой. Из шорт песочного цвета торчали бледные волосатые ноги, обутые в комнатные туфли. Клетчатая рубашка была распорота по шву, обнажая седоватую грудь. По лицу разливалась широкая, добрая улыбка.

— Шалом, — приветствовал он входивших, обнаружив голос крепкий, глубокий и задушевный, с отчетливым русским выговором. Он взял из рук Варды мольберт и кисти и звучно поцеловал ее в губы. — Ну как, сегодня муза была к тебе благосклонна? — спросил он слегка насмешливо и вместе с тем сочувственно, как это свойственно любящим и заведомо прощающим людям.

— Не знаю, — ответила Варда. — По крайней мере, этому юноше картина не приглянулась. Кстати, знакомьтесь. Это Эфраим, молодой человек, интересующийся вопросами веры.

— Очень рад, — сказал хозяин дома. — А меня зовут Даниэль, я — химик. Так, значит, — добавил он все тем же насмешливо-снисходительным тоном старших. — Значит, вы хотите исследовать проблемы религии? Это хорошо, очень хорошо. Я тоже в молодости немного занимался этим, но в конце концов пришел к выводу, что легче исследовать строение вещества, чем углубляться в изучение души.

Эфраиму было неловко. Ему казалось, что Варда преувеличила, и химик думает, что перед ним студент, изучающий религиозную философию. Он хотел объяснить хозяину, но тот вдруг воскликнул:

— Забыл, совсем забыл, лук сгорит!

И с проворностью, неожиданной для его возраста, помчался на кухню.

Варда провела Эфраима в комнату. Одна из стен была уставлена полками с книгами на европейских языках, вдоль остальных висели картины. Стояли два низких столика на трех ножках, маленькие стулья, диван, этажерка, а на них — статуэтки.

— Твой отец, как видно, решил, что я студент-философ, — сказал Эфраим и в тот же миг понял по ее лицу, что допустил огромную, ужасную ошибку. Художница быстро взглянула на него:

— Как?! Он показался тебе таким уж старым, а я — такой молодой? Ты не видишь, какая я седая? — Она выпустила из своей прически белую прядь, а затем с силой дунула, так что прядь взлетела над ее головой. — Мне уже тридцать два, а Даниэль — мой муж.

Эфраим пожалел, что земля не разверзлась и не поглотила его прежде, чем он обронил это слово — "отец". Однако Варда тут же улыбнулась и сказала успокаивающе:

— Ну, не расстраивайся слишком, не ты первый ошибся. Я уж привыкла. К тому же я ему не только жена, я еще училась у него почти целый год.

— Он что, профессор? — удивился Эфраим.

— Еще нет, он пока внештатный лектор, но надеется, что на будущий год его назначат помощником профессора.

"Так значит, она профессорская жена, — подумал Эфраим и глянул на нее изучающе. — Профессорская жена утром в субботу рисует в безлюдных местах, а профессор тем временем готовит обед..."

— Пока Даниэль не позвал обедать, Расскажи-ка мне еще о жизни верующих, — попросила Варда, продолжая прерванный разговор, и в голосе ее, когда она произносила эти слова — "о жизни верующих" — было такое любопытство, как если бы речь шла о жизни китайцев, о которых нам известно лишь по слухам или из книг.

Подошло время обедать, но Эфраим вспомнил, что ему срочно нужно домой — ведь нынче суббота, отец наверняка давно вернулся из синагоги. Он стал извиняться и все повторял им обоим — Варде и ее мужу — "большое спасибо, большое спасибо...". И поспешно ушел.

Всю дорогу он размышлял о них. Незамысловатость их быта и поведения была для него как приятное, освежающее дуновение. Вся же собственная жизнь казалась опутанной указаниями, запретами и тревогами. И ко всему, покоя не давала мысль, что профессор подумал, будто он, Эфраим, студент, а ведь он пока всего лишь семинарист и не занимается исследованиями религии; вроде бы он обманул профессора.

Образ жизни этой семьи был ему тогда непонятен. Лишь потом, посещая их дом в течение многих месяцев, он понял, что профессор никогда не знал, чем в точности занимаются и на что живут все эти "люди искусства", как он их называл, которые вечно толкуются у него в доме. Он, по его собственным словам, не умел нарисовать даже "домик под красной крышей, с окном и дверью"; произведения искусства не производили на него никакого впечатления — в особенности произведения современного искусства. По вечерам комната Варды заполнялась художниками, скульпторами, а также просто людьми, "смыслящими" в этом деле. Кроме того, бывал один поэт, а иногда, случалось, появлялся некто, бывший когда-то профессором этрусского языка в итальянском университете. Этот откровенно презирал остальных гостей — всех вместе и каждого в отдельности, но никто не обижался, поскольку знали, что для него есть одно достойное этого имени искусство — этруское, и другого не существует.

7.

Мать встретила Эфраима на пороге дома и спросила:

— Где ты пропадал? И почему ты такой красный? Опять гулял по солнцу?

Он что-то пробормотал, а ее лицо вдруг помрачнело, стало беспокойным, и она прошептала:

— Иди прополощи рот. Быстро! Чтобы отец не почувствовал.

Только теперь он догадался, что от него несет табаком. И вновь охватила его тоска. Все запреты и предписания, — даже самые ничтожные, — которым он следовал до сего дня по привычке, не вдумываясь, доводили его теперь до кипения. Он все более утверждался в мысли оставить училище, перейти в светскую школу, но не знал, как это сделать. Ночью он не сомкнул глаз, заснул лишь на рассвете, спал беспокойно, и мучили его дурные сны. Утром, невыспавшийся и разбитый, он не помнил ничего из того, что снилось, кроме последнего обрывка странного разговора с отцом. Отец, в талесе и филактериях, стоял на стене Старого города, а Эфраим сидел внизу, на камне, и рисовал отца. Вдруг отец спрыгнул со стены, разорвал рисунок и закричал, срывая голос: "Ах ты, преступный сын, развратник, прелюбодей! Ты прелюбодействовал с замужней женщиной, замужней женщиной!". Вдруг возникла Варда, подняла клочки бумаги, а отец набросился на нее, стал избивать. Но в тот миг, когда он ее ударил, это была уже не Варда, а мать, и удары она сносила тихо и покорно и не произносила ни слова. "Не бей маму!" — закричал Эфраим. "Она изменница и шлюха! — кричал отец. — Шлюха, шлюха!.."

В школе Эфраим, весь под впечатлением сна, был рассеян и не мог взять себя в руки. На перемене подошел к нему один ученик и сказал, что его срочно вызывает директор. У него замерло сердце, и в кабинет директора он вошел, чувствуя, что сейчас-то наверняка произойдет нечто важное.

Директор, человек лет шестидесяти пяти, высокий, приятной наружности, сидел за столом и листал бумаги. Мельком взглянув на вошедшего Эфраима, он предложил ему сесть, а сам продолжал заниматься своим делом. Эфраиму показалось, что директор отчего-то растерян и не знает, как приступить к делу, ради которого вызвал его. Покончив с бумагами, директор откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы и — произнес речь, превозносящую до небес Эфраимова отца и все его семейство. Было ясно, что после такого начала должно последовать нечто прямо противоположное, например: "А ты, сын та к и х родителей..." и т.д. и т.п. Вышло похоже, однако директор заговорил о том, чего Эфраим никак не предполагал услышать.

— Эфраим, — неожиданно сказал он. — Вчера я видел тебя на главной улице Иерусалима с сигаретой во рту.

Эфраим побледнел. На секунду он поддался желанию оправдаться, но тут же сверкнула мысль, что вот она — та возможность, которой он ждал.

— Ну да, — спокойно ответил он. — Я курил в субботу.

И тут вновь произошло такое, чего он не ожидал. Он готовился услышать брань и назидания, а директор встал, подошел, любовно и мягко положил ему на плечо руку и произнес:

— Эфраим, сынок, ты один из лучших и способнейших юношей в школе, и я знаю, в жизни каждого верующего юноши бывают времена кризиса. Так оно и должно быть. В тебе заключены мощные инстинкты, и, возможно, твой ангел-искуситель ужасно силен. Как раз по этому поводу сказано: "У того, кто сильнее других, страсти — сильнее его". И во всем народе не найти праведника, что не согрешил.

Зазвенел звонок, надо было возвращаться в класс, но директор велел остаться, и они продолжали разговор. Слово за словом Эфраим изложил директору свое отношение к вере.

— Бог есть, — говорил Эфраим. — Но Он не требует, чтобы я надевал шляпу и молился по три раза на день и чтоб не курил в субботу. Бог требует только одного: чтобы я не причинял зла людям.

Директор слушал терпеливо и вовсе не поражался тому, что слышал. Потом стал объяснять, что не каждый способен постичь глубинный смысл всех шестисот тринадцати заповедей, и посему человек не вправе позволить себе больше, нежели предписывают заповеди, которых он не понимает.

— Ничему нет предела, — продолжал он тихим голосом. — Ступив на путь прегрешений, человек не знает, что его ждет в конце. И если он начинает с курения в субботу, то в конце концов дойдет до отрицания веры, до краж, грабежа и — не приведи Господь — до убийства.

Все отчетливей понимал Эфраим, как мало общего у него с директором. Он чувствовал приближение приступа удушья, чувствовал, что больше не может. Из конца этого разговора запомнилось ему только одно: директор не возражает, если Эфраим пропустит два или три дня занятий, чтобы побыть наедине с собой, разобраться в своей душе, а потом вернется в училище с проясненным умом. Эфраим взял сумку, вышел во двор, открыл калитку и оказался на улице. И стало ему понятно, что учеба его в религиозной учительской семинарии закончилась. Но облегчения не наступило. Напротив, заполнило его горькое чувство утраты, бессилия и какая-то неизъяснимая, древняя, великая душевная боль.

Домой он не пошел, бродил по улицам, покуда не оказался за городом. Среди камней в старой оливковой роще пробыл он до заката солнца. Есть не хотелось, и как ни старался он привести в порядок свои мысли, они становились все путаннее, и наконец он предался череде каких-то смутных переживаний, которые состояли сплошь из образов теплой земли, диких цветов, скал, пористых и растрескавшихся древесных стволов, парящих в небе легких облаков с золочеными краями, бронзовых мух, жужжащих вокруг капель смолы, да фиолетовой гряды гор на горизонте. Он лег под раскидистой оливой, положив голову на сумку, и прищурил глаза, так что видел только прядь, свитую из золотых и серебряных нитей, протянувшуюся к нему от солнца. А потом задремал.

Очнулся он от холода. Встал, увидел солнце, исчезающее вдали за вершинами гор. На душе было легко. По дороге домой насвистывал какую-то веселую песенку и хотя не знал еще, что скажет отцу, в душе был уверен, что как бы

Шуламит ЙОНАИ

Мастерская в пустыне

30 И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Бецалея, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина,

31 И исполнил его духом Божиим, мудростию, разумением, ведением и всяким искусством,

32 Составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,

33 И резать камни для вставляния, и резать дерево, и делать всякую художественную работу;

34 И способность учить других вложил в сердце его...

ИСХОД, гл. 35.

К концу прошлого века Европу окончательно утомил прогресс. Небо коптели сотни заводских труб, а в низких уродливых корпусах производили все, что угодно: мебельные гарнитуры под старину, механические пианино, драгоценности из литого и дутого золота с настоящими и фальшивыми камнями. Гребни под черепаху. Стекло под хрусталь. На любой вкус и любой карман.

Огромные универсальные магазины расторгивали километры фабричных кружев, рулоны ковров и гобеленов машинной выделки.

В спальнях у нуворшей высились мраморные колонны, обвитые плющом, и на каминной полке валялись, как бы случайно брошенные, — высший шик — монеты из фальшивого золота. Форсайтов было немного, не все знали толк в Гоёе, не все выходили за баронетов, но всем хотелось роскоши и величия. За свои деньги.

Течение art nuovo (новое искусство), как всякое альтернативное движение, возникло из отрицания примет времени — торопливого равнодушия ширпотреба и надутого капиталистического рококо. Сторонники нового на сей раз не крушили и даже не особенно призывали крушить. Напротив, они проповедовали — и их проповедь, замешанная на социальных утопиях и эстетически безупречных образцах, была сказочнее сказки, несбыточнее мечты.

Это был — в который уже раз — призыв к равенству и красоте. К жизни, где люди трудятся ради хлеба насущного, но не жадно, не слишком обременительно, так что остаются время и силы на занятия искусством и ремеслами. Каждый из них — творец, каждый — один на один со своим творением, безо всяких машин и механических приспособлений. И наградой каждому — радость творчества, счастье созидания и т. д. и т. п.

Этой идее суждено было жить лет десять-пятнадцать и исчезнуть под напором более экспансивных, более динамичных движений. Так бы и остались в учебниках и музеях отголоски этого скоротечного периода, да еще поделки, стилизованные под фольклор, наивно манерные, а часто просто безвкусовые.

Нахум ГУТМАН. Портрет. Пастель, 1913; (на обороте) Меир ГУР-АРЬЕ. Эскиз обложки для Книги Псалмов. Акварель, карандаш, тушь.

Но art nuovo и породившей его концепции предстояло иное продолжение. Идее предстояло повстречать чудака, или упрямяца, или сумасшедшего — как хотите, и основать небольшое чудо, очередное на нашей земле. В старом турецком доме, с фонтаном во дворе, но на отшибе, за городом и посреди болота. Там, где и по сегодня в самом сердце Иерусалима расположена израильская Академия художеств и прикладных искусств “Бецалель”.

Молодой скульптор Борис Шац появился в Париже в конце восьмидесятых годов прошлого века, в том самом Париже, о котором восторженно писал Репин: “Париж — это раздолье, свобода, счастье великое для художника!”. Шац учился живописи у Кормона, скульптуре — у Антокольского. С 1892 года его работы выставлялись в известных салонах, а скульптура “Матитьягу Хасмонеи”, показанная в 1896 году, была отмечена на Всемирной выставке в Париже. И школа, и окружение, и эмоциональный склад художника предвещали, казалось бы, неизбежный приход его к “искусству ради искусства”, концепции, которой вскоре предстояло завоевать мир.

Теперь биографы связывают судьбу и подвиг Шаца с его юношескими размышлениями “о справедливости”, с участием в студенческих благотворительных затеях и пр. Но причины, переломившие жизнь тридцатилетнего скульптора, мне кажется, были проще и случайнее. Посетивший парижскую выставку болгарский принц Фердинанд купил “Матитьягу” и... увез автора. Шац уехал в Софию — “содействовать развитию болгарского искусства”. Но по существу он его создал! Прорезался вдруг организаторский дар, обнаружился энтузиазм и невероятная энергия, умение выплывать талант и ограничить его, увлеченность педагога и популяризатора. Шац создал наново забытые промыслы — ковроткачество и изготовление фарфора. Шац возродил Королевскую академию и Музей изобразительных искусств в Софии. Его деятельность отметили культурные центры Европы, Французская Академия избрала его своим членом.

В Болгарии Шац познакомился с сионистом доктором Эренпрайсом и наслушался его пламенных речей. И потом уже целенаправленно искал встреч с сионистами в Германии, с эмигрантами из Палестины — бедной далекой страны, где пятьдесят тысяч еврейских поселенцев терпели нужду на земле, которая должна была течь молоком и медом.

Мартин Бубер заявлял в то время: “Сионистское движение — движение целительное. Его задача — помочь еврейскому народу претворить в жизнь свои способности... потребность выразить себя в творчестве...”.

Герцль мечтал о старом доме в тиши Иерусалима, где будут процветать искусства, о других — свободных и сильных — евреях.

На Пятом сионистском конгрессе в 1901 году председательствовали художники. Идея сионизма и утопическая концепция арт nuovo соединились. Процветание и довольство, возрождение искусств и ремесел должен был принести в Эрец-Исраэль он, бывший ученик виленской ешивы, европейский художник Борис Шац. Ведь сделал же он это в чужой стране Болгарии!

Не было у Шаца ни тогда, ни потом никакой удобопонятной программы, плана, словом, чего-то обоснованного, логичного. Лишь некоторая мировоззренческая мешанина, да эстетическая приверженность к одному направлению, да те страницы Библии, где рассказывается о мастере Бецалеле, постигшем тайны всех ремесел, создавшем в пустыне Скинию и Ковчег Завета по указаниям самого Бога.





ירושלם עיר הקדש



א. ש. ש. ירושלים תרפ"ה

מזגש קדוש קדוש קדוש
בית אבות בית אבות בית אבות
אמן

Аарон-Шауль ШУР. Иерусалимский пейзаж. Холст.
масло, 1923; (на предыдущей странице) Шмуэль
ЛЕВИ-ОФЕЛЬ. Хад-Гадья. Холст, масло, 1912.

С этим Шац и явился к Герцлю: "Школу я назову "Бецалель" — именем человека, создавшего мастерскую в пустыне". И Герцль мечтательно повторил: "...Мастерскую в пустыне!..".

Шац носился по Европе в поисках денег, но жертвовали только немецкие евреи. В Германии был создан попечительский совет будущей школы. И в 1906 году Шац уже стал приметной фигурой в тихом и набожном Иерусалиме — он знакомился с интеллигенцией, выписывал в школу художников, педагогов, отбирал учеников, изучал искусство йеменских евреев.

Поначалу набралось четыре десятка учеников, а мастерские устраивали в сараях. Но уже через несколько лет школа выросла до 32 отделений, при которых было несколько десятков мастерских, 460 учащихся, 270 учителей, в программе — живопись, орнамент, скульптура, иврит, история искусств, ботаника, зоология. Специальности — резчики по дереву и слоновой кости, ювелиры, инкрустаторы и ткачи, вышивальщицы и чеканщики. Затем литография, фотография, иллюстрация книг.

Посреди ортодоксального Иерусалима, сплошь уставленного молельными домами, где еще один чудак, Элизер Бен-Иегуда, только-только в одиночку начал возрождать светский иврит, выросла огромная по тем временам колония молодых людей, занятых творчеством. Действительно, мастерские приносили в лучшие годы доход, влияли на экономическую жизнь и связи ишува. Но не это было для Шаца главным — он создавал новых людей, новых евреев, новое общество, он стремился к гармонии, но не успевал объять все, и воспитание и образование его подопечных было так же эклектично, как и их искусство.

Все равно, даже думать об этом приятно: по утрам они выходили на гимнастику. В перерывах между занятиями слушали классическую музыку. По вечерам читали книги, привезенные, конечно, все тем же Шацем. Он же руководил школьным оркестром, создал хор и ставил спектакли, основал клуб "Бет га-ам" ("Народный дом") и принадлежал к нескольким научным обществам. Благодаря энергии и выдумке директора появился во дворе школы маленький зоопарк, а в Иерусалиме — библейский ботанический сад. На крыше "Бецалеля" устраивались по вечерам литературные дискуссии. Во дворе — гимнастические праздники. Школа стала центром светской жизни, центром сионистской культуры.

Столь же рьяно и прямолинейно брался Шац создавать новое еврейское искусство. В предметах культа или истории — будь то Ковчег Завета или подсвечник, иллюстрации к Книге Эстер или вышитая кипа — эта прямолинейность в сочетании модерна и истории была уместной, а иногда действительно достигала вершин настоящего искусства, но было много неудачных, искусственных попыток "соединить Восток и Запад, прошедшее и настоящее". Выражалось это, скажем, в игральных картах, где королей изображали цари Израиля Давид и Соломон, или в портрете, на котором Теодор Герцль похож на Моисея и к тому же держит в богатырских руках Скрижали Завета. Сразу же после приезда в Иерусалим Шац писал: "Здесь, на нашей древней родине... каждый шаг напоминает о нашем прошлом. Здесь можно найти модели для наших работ на каждом углу и на каждом базаре".

Действительно, йеменские евреи "с базара" позировали ученикам школы для скульптур царей и пророков, но при этом их почему-то облачали в греческие туники, окружали гирляндами и... херувимами. Конечно же, многих художников и интеллигентов отпугивал и такой вкус, и такое примитивное воплощение идеи.

Впрочем, европейские художники и так не слишком торопились из Европы в Иерусалим. Газеты посмеивались над устаревшим модерном "Бецалеля". Турецкие, а затем и английские власти чинили препятствия. Шли войны, не хватало денег. Устарела и социальная суть идеи: с одной стороны, "широкая концепция" не позволяла наладить работу мастерских на чисто коммерческой основе, с другой, — иссякал денежный ручеек из Германии, светлая мечта слишком зависела от капризов попечительского совета. Ну и, наконец, свой брат коллега подсиживал, и нередко успешно.

Говорят, он был нетерпимым, директор. Не выносил возражений. Не забывал насмешек. Судить можно и по наследию "Бецалеля" тех лет. Не проник в школу ни постимпрессионизм, ни кубизм, "ни какой-либо иной идиотизм", как говаривал Шац. Так и застыло все на давным-давно забытом art nuovo, так и билось все в тех же канонизированных Шацем формах.

Но ученики любили его. В прошлом году на юбилейной выставке Академии был показан фильм из кадров сохранившейся кинохроники. Вышагивает Борис Шац в белом бурнусе, вслед за ним ковыляет по лестнице павлин — живой, прирученный, каждое перо которого — символ "нового искусства". Высыпают из здания ученики — тоже в белых арабских одеждах — на зарядку. А потом — директор в кругу выпускников, и даже сейчас на экране маленького монитора видно: они ему верили и с восхищением смотрели на человека, открывшего им, детям евреев из Польши, России и Йемена, новый, невиданный мир.

В двадцатых годах школа еще боролась за выживание. Сперва большим успехом пользовались зарубежные выставки. Правда, была в рецензиях та снисходительность, с какой европейцы относились к экзотическому искусству колоний. Да и то сказать, экспонаты, выставленные в полном согласии с идеями Шаца, могли изумить: "Были показаны продукты сельского хозяйства, такие, как пшеница, оливковое масло, апельсины, снопы ячменя. Чучела птиц и ковры, шелка и картины, камни и портреты из слоновой кости". Посетители покупали экзотику и жертвовали на школу, но вряд ли вникали, зачем Шац и его ученики разгуливают в арабских одеждах...

Потом и выставки стали убыточны. В Европе уже отгремела первая мировая война, перевернувшая все представления века. Россия осуществляла опыт коммунизма. Миру стало не до идиллий.

Ишув рос, креп, воевал. Заявил о себе Тель-Авив, там открывалась художественная студия, куда перебрались лучшие ученики "Бецалеля".

Угасала идея, угасала школа, и наконец закрылась, чтобы через шесть лет открыться вновь, но уже без своего основателя. Борис Шац умер в 1932 году.

В сегодняшней Академии "Бецалель" никто по сигналу делать зарядку ни за что не станет, и в жизни две студентки не наденут одинаковую одежду. Нынче тут почти все гении, много сновов и бездна индивидуальностей. Каждый год большой наплыв поступающих, никакой Тель-Авив не помеха. Болота давно нет, пустыня — где она, пустыня?

Куда ни глянь — город, город, Иерусалим. Полно в этом городе художественных галерей и салонов, открытых мастерских. И ведут к Академии две улицы — одна Бецалеля, другая — Шаца.

то ни было, все устроится отныне и будет хорошо. Дома никого не было, у дверей стояли соседки и переговаривались вполголоса. Затем к Эфраиму подошла старуха — родственница, как видно, ибо лицо ее было ему знакомо, хотя он не знал наверняка, кто она. Старуха говорила что-то малопонятное, но наконец он уловил, что должен срочно идти в больницу и что его мать без сознания. С той минуты, как вечером ее сбил военный автомобиль, и до полуночи, когда она умерла, сознание так и не вернулось к ней.

8.

Первые дни траура отец не мог говорить: рыдания подступали к горлу, душили его. Однако вскоре он преодолел слабость и стал еще более строгим, неукоснительно-придирчивым, чем всегда. Щадя отца, Эфраим в эти дни был послушен ему во всем, но даже тогда подспудно бушевали в нем странные и мощные чувства, каких он раньше не ведал. В ночь после смерти матери приснилось ему, что он вместе с Вардой пошел рисовать за город. Она была в оранжевой блузке и синих шароварах — как в тот раз, когда он, семилетний, встретил ее впервые. Он рисовал масляными красками чудесную картину, а Варда с восхищением смотрела на него. И вдруг скинула с себя блузу и сказала: "Ну, иди, возьми меня..." Он потянулся к ней, но в этот миг проснулся, и первая мысль была, что матери больше нет.

Эфраим не помнил себя. Две недели ходил, как лунатик, и не мог отказаться от мысли о художнице. Он понял, что непременно должен ее повидать, может, это вернет ему какой-никакой покой. Однажды он подошел к зеркалу: взгляду предстали растрепанные густые волосы, черная, в клочьях, борода, отросшая за две недели; запавшие глаза окружала синева.

"Ну и страшилище! — сказал он себе. — Волосы красней вина, а бородища черная. Такой рожи всякий испугается".

И выскочил на улицу. Миновав свой квартал, он бросил шляпу в мусорный ящик и направился в парикмахерскую.

— Постричь, побрить? — спросил парикмахер.

— То и другое, — сказал Эфраим. — Короткую стрижку, по-английски.

Впервые в жизни Эфраим брился у парикмахера, и тот не оставил волос ни на висках, ни на затылке. Выйдя из парикмахерской, он почувствовал себя полуголым. Когда он подошел к дому художницы, солнце стояло в зените и палило во всю мочь. Капли пота текли по лицу и телу. Эфраим остановился передохнуть. Гулко стучало сердце. Он подождал, чтобы дать успокоиться сердцу, но оно билось все сильнее. Дрожащей рукой он позвонил и стал ждать. Дверь открыла Варда — в белых шортах под коротким кухонным фартучком. Бедра у нее были шире, чем можно было предположить, а раньше, в платье, она казалась тонкой и легонькой. В левой руке она держала половник — видно, кухарничала. Похоже, что с первого взгляда она его не узнала, прищурилась вопросительно, но тут же улыбнулась и пригласила войти. Она прошла в кухню, он — за нею.

— А знаешь, — сказала она, — ты ужасно похож на Джимми. Джимми — он ирландец, археолог, чудный парень.

Эфраим не мог сообразить, хорошо ли это. "Чудный парень..." Ему никто никогда не говорил такого — "чудный парень".

— Когда я был маленьким, мальчишки дразнили меня рыжим, потом, правда, волосы потемнели.

Она стояла к нему спиной, помешивая в кастрюле. Его так и подмывало поцеловать ее в затылок. Она обернулась, посмотрела на него очень внимательно, а он, не в силах выдержать ее взгляд, опустил глаза на носки своих ботинок, будто вдруг обнаружил там что-то особенное.

— Волосы у тебя как раз красивые, — сказала она. — Если хочешь, я могу тебя нарисовать.

И тут он внезапно вздрогнул и промолвил:

— У меня мама умерла. Две недели назад. Ее пьяный англичанин сбил.

Лицо у нее побледнело. Половник скользнул из рук в раковину.

Он стоял перед ней, выпрямившись и дрожа, будто в лихорадке. Она подошла, взяла его за руку и сказала:

— Поверь, мне очень жаль.

— Она была чудная, — проговорил Эфраим. На глазах у него выступили слезы, ему не удалось их сдержать. — Добрая, и красивая, и чудесная... И уже две недели, как ее нет.

Он закрыл лицо ладонями и, пошатываясь, пошел в соседнюю комнату, там опустился на диван и глухо зарыдал. Пошарил в кармане, но не нашел платка, и тут же ощутил прикосновение чего-то мягкого, шелкового к своим глазам и сквозь пелену слез увидел Варду, склонившуюся над ним и утирающую ему слезы.

Его охватил стыд, он хотел было встать, но она мягко удержала его рукой и сказала:

— погоди минутку, я принесу воды.

Он весь встрепенулся, схватил ее протянутую руку и пылко поцеловал. Когда она вышла, он вскочил и бросился вон, на улицу.

Он быстро шел и беспрестанно бормотал:

— Ничтожество... Ну и ничтожество, грязный, гнусный клоп...

Он вновь и вновь вспоминал, как появился к ней в дом, и чем дольше думал об этом, тем больше презирал себя и казался самому себе подлецом. Больше всего он злился, что упомянул мать. И что поцеловал Варде руку. "Какой позор!" — думал он. Затем пришла мысль, что если бы он, придя к художнице, не сказал ни слова, а взял ее силой прямо там, на кухне, где она стояла, даже это не было бы столь позорно. И он поклялся, что больше не увидит ее лица.

Время перевалило за полдень, и Эфраим по привычке направился домой, но вдруг остановился. Он вспомнил, что на голове у него нет шляпы, что он сбрил бороду. И это в середине тридцатидневного траура по матери... Отец, за последние дни оправившийся от горя, стал еще требовательней и жестче,

чем при жизни жены. Смягчающее влияние, которое она оказывала на мужа, и бессилие, что охватывало его, когда он сталкивался с ней лицом к лицу, исчезли с ее смертью. И только прибавилось колкости, желчности и уверенности в своей всегдашней правоте. Эфраим помнил, что перед тем, как мать ушла на свадьбу, с которой не вернулась, между родителями случилась небольшая размолвка. Отец не хотел, чтобы она шла: он всегда был против ее прогулок и отлучек. Эфраим догадывался: отец в глубине души уверен, что если бы мать послушалась, "все было бы иначе", и что смерть явилась как бы наказанием, ниспосланным с небес. Эта тайная мысль отца злила Эфраима до бесчувствия. Он читал ее в отцовских глазах — что бы тот ни говорил, чем бы ни занимался.

Эфраим остановился на перекрестке, возле здания, где помещались разные учреждения. Он чувствовал себя одиноким и бездомным, как никогда.

Кучками стали вываливаться из контор служащие и вскоре заполнили весь тротуар. Вдруг сердце Эфраима замерло: с противоположной стороны переходили мостовую несколько его однокашников с портфелями в руках. У всех на голове были шляпы, все выглядели радостными и громко переговаривались. Эфраим свернул в переулок, чтобы избежать встречи: с бывшими соучениками у него уже не было ничего общего. Он чувствовал себя так, словно внезапно состарился, — еще не успев расцвести, — и был почти уверен, что никогда больше не сядет за парту.

На углу продавали фалафели. Эфраим купил фалафель и тут же стоя съел, а затем зашел в крохотное кафе — два стола и четыре стула. Он присел к столу, заказал апельсиновый сок, потом еще и пачку английских сигарет. Выпустил дым и задумался: вот сидит он, предоставленный сам себе, словно вольная птичка, никому ничего не должен, и на душе пусто. Он знал, что займется чем-то очень, очень важным, срочным, вот только не помнил он, чем именно и как к этому приступить. Он вдруг встал с готовым решением немедленно идти к Варде и сказать ей "то самое" или, может, все написать в записке и подсунуть под дверь. Подошла официантка, он расплатился, взял сдачу и подсчитал: всей наличности оставалось не более полфунта.

Тут вошли двое рослых, краснолицых англичан-полицейских. Один уселся сразу — еще раньше, чем Эфраим направился к выходу. Нога полицейского торчала в проходе, и Эфраим, споткнувшись, наступил на нее. Полицейский вскочил, свирепо глянул на него и процедил сквозь зубы:

— Грязная свинья.

От полицейского разило коньячным перегаром, смешанным с запахом английских сигарет. И Эфраиму удручающе ясно представилось, что этот самый англичанин правил грузовиком, который сбил его мать. Он увидел ее лицо, искаженное страшной болью, и в тот же миг схватил со стола бутылку из-под сока и ударил полицейского по голове. Форменная фуражка скатилась под стол и обнажились тщательно расчесанные, до блеска смазанные жиром волосы. Они были того же цвета, что у Эфраима — красновато-коричневые, разве что от жира приобрели более темный оттенок. Второй полицейский, который стоял

к ним спиной, болтая с буфетчицей, обернулся и увидел Эфраима с бутылкой в руке и своего товарища, бессильно разбросавшего ноги и уронившего голову на плечо. В первый миг он не сообразил, что произошло, Эфраим мог свободно улизнуть, но почему-то застыл на месте, крепко сжимая в руке горлышко бутылки.

9.

Эфраима задержали на двое суток — для установления вины и привлечения к суду. По дороге в тюрьму он сидел между теми самыми двумя полицейскими, которые быстро, не меняя ни прямой позы, ни простодушного выражения, застывшего на их лицах, наносили ему удары под ребра. А он не пытался ни защищаться, ни отвечать на удары. Какой-то душевный покой снизошел на него, некое странное веселье из-за внезапного, неожиданного освобождения от всяких забот, от необходимости думать и принимать решения. Теперь, когда его судьба находилась в руках этих чужеземцев, мысли как будто выпростались из телесной оболочки и парили, вольные и чистые, в пустоте вселенной. "Сидящий в небесах усмехается, Господь насмехается над ними..." Эти библейские слова снова и снова вспоминались ему, и мысли, взлетая до самой скамеечки под ногами у Господа Бога, играли вместе с Ним в маленькой забавной песке:

Эй, парнишка, сын добропорядочных родителей! Эй, ты, красноголовый, с веснушками на курносом носу, ты, что никак не найдешь себе покоя, жаждешь величия и терпишь поражение в каждом пустяке, ведь твой удел — конфузиться и перед людьми, и в собственных глазах. Ради права закурить в субботу и тому подобных ничтожных, ребяческих прав ты объявляешь войну Торе, врученной Моисею на Синае, — Торе, за которую гибли тысячи и тысячи твоих соплеменников на протяжении сотни поколений. А ты готов сражаться "до последней капли крови" — по известному напыщенному выражению — за "свободу мнений", мнений, тебе самому ни в главном, ни в общем не понятных. И эта война — она тоже не больше, как бессмысленное издевательство над отцом по всякому мелкому поводу, доводящее того до бессильной ярости и, выражаясь высоким языком Торы, "сводящее его седины с печалью в могилу". И кто же сводит его седины с печалью в могилу? Он, "дражайший сын мой, Эфраим", то самое милое дитя, которое, покуда было мало, подхватывало тяжелую простуду при каждом дуновении, но едва подросло и почувало в себе силу — тут же объявило войну "за свободу", и ничего ему не надо, кроме свободы, и отродясь оно не чувствовало себя таким свободным, как в эти минуты, когда его с почетом везут в тюрьму. Там, в тюрьме, наконец-то вырвется его душа на свободу и воспарит — ни решетка, ни дверные запоры ей не помеха — и пойдет она возноситься все выше и выше, пока не достигнет... самой себя. Да, самой себя.

И вот этот милый ребенок сыскал себе женщину, старше его пятнадцатью годами, и тут же влюбился в нее "с первого взгляда", — как ему кажется, еще

будучи семилетним дитятей. Уже тогда, как опять-таки кажется ему, он ревновал свою возлюбленную к тому худому усатому художнику, что протянул к ней мизинец. А запомнились ему из всего образа этой женщины лишь глаза, которые его тогда потрясли, ну просто сразили. Большие, карие, светящиеся. Глядя на нее, он видел только эти глаза, и они его ослепляли. Мысли смешивались, и оставалась лишь страсть — такая пронзительная, что душа замирала.

Итак, он освободился настолько, что полюбил замужнюю женщину. Только, может, это была не свобода, а как раз ужасная неволя, порабощение души? Чтоб пойти к ней, он сбрил бороду, снял волосы, выбросил шляпу в мусорный ящик — и все это во время траура по матери, — а по дороге размышлял наедине с собой о предметах вольных, да о том, что сказал бы отцу, повстречайся с ним в эту минуту, или директору, возьмишь тот его сейчас убеждать. Но если по правде, — ни о чем-то он не думал, не видел ничего и не слышал, и ни до чего не было ему дела.

Ее, единственную, видел,
Ее лучистые глаза...

То-то же. А Господь сидит на небе, прячет под усами улыбку и поглядывает в подзорную трубу, длинную такую, наподобие телескопа, в который астрономы смотрят на небесные светила, — поглядывает Он в этот телескоп и видит нашего "дорогого сына", что скачет как козленок с философии на поэзию, туда-сюда, туда и обратно, пока стихи не одолеют его вконец, и тогда вдруг выясняется, что душа-то у него по-э-ти-че-ска-я. Сидит Господь на небе, смотрит на него, Эфраима, в телескоп: ведь без телескопа и рассмотреть невозможно, ибо он всего лишь ничтожество, клоп в образе человеческом. Да не просто клоп, а клоп, умоляющий о благосклонности к своей душе, очарованной поэзией и пытающейся извлечь из тайников — своей клопиной души тайников — поэтические строки:

Не ведали румян ее ланита,
Она к благоуханьям равнодушна.
Но сколько света источают очи...
О дева статная, как ты желанна!

Не ведали румян ланита,
Но сколько света источают очи...

Кажется ему, Эфраиму, что сказано это не иначе как о Варде, и что не предвосхити его поэт, он сам сложил бы о ней именно эти стихи. Вот бы спеть ему такую песню, что до сих пор никем не спета, сказать ей такие слова, которых еще никто не произносил. А вместо этого он всего лишь чмокнул ее поспешно в руку и убежал как от огня.

Полицейский — тот, что получил от Эфраима бутылкой по голове, — достал

из кармана сигарету и закурил. На лбу у него красовался большой синяк, и, чтобы утишить боль, он прикладывал к синяку платок, который официантка смочила холодной водой. Эфраим разглядывал синяк с большим интересом и даже хотел сказать полицейскому, что лучшее средство от синяков — приложить лезвие ножа: так однажды делала ему соседка, когда ему разбили лоб камнем. Но в тот самый миг, как он открыл рот, полицейский врезал ему локтем под ребро, и Эфраим понял, что, причинив полицейскому боль, он почему-то сильно оскорбил того. А ведает ли этот человек, что такое любовь? Любил ли он хоть раз в своей жизни? — думал Эфраим. Одному Господу Богу известно, что там, в мозгах у этого гоя. Эфраим взглянул на второго полицейского. Этот тоже сидел с замкнутой, красной физиономией, пусто уставившись прямо перед собой.

Первые двое суток в тюрьме Эфраим не видел никого, кроме надзирателя, приносившего темную, чуть теплую жижку под названием "чай" да грубый хлеб, и араба, что сидел с ним в камере. Араб, старик лет семидесяти, ударил жену ножом во время размолвки, и он не произносил ни слова и ничего не делал, только сидел на тюфяке и плакал. "Старик наверняка когда-то любил свою жену, а может, и до сих пор любит, — думал Эфраим, и вновь перед ним всплывало лицо Варды, ибо о чем бы он ни думал, мысли в конце концов возвращались к ней, Варде. — Может, он отдал бы все, что есть в доме, из-за любви к ней, но вдруг взял и ударил ножом женщину, которую любил". Глаза у старика были мокрыми и опухли от слез, слюна ползла с губы на редкую бороду, кожа на лице была смуглой и сморщившейся, как старый пергамент. Отвратительный запах исходил от него, и весь он был крайне противный, и не оставалось ничего, вызывающего к нему сочувствие, разве что этот непрерывный глухой плач. "И этот человек однажды любил, а может, и поныне любит, и он тоже сделан по образу и подобию Божьему". Дрожь пробрала Эфраима, и он почувствовал, что лишь присутствие Варды могло бы все разрешить.

По прошествии двух суток Эфраима привели в кабинет к дежурному офицеру, и тот сообщил ему, что, согласно полученному указанию, заключение продлевается на следующие двое суток — до суда. Если он, Эфраим, хочет, то может связаться с родными или защитником. "Варда", — подумал Эфраим и тут же попросил телефонную книгу, долго рылся в ней, но имени Варды не нашел. Тогда ему пришло в голову позвонить ее мужу в университет. Он набрал номер коммутатора, но мужа Варды не застал. Эфраим попросил телефонистку, чтобы та передала доктору просьбу. Он не был уверен, что телефонистка поняла суть дела, и когда вернулся в камеру, его охватило почти отчаяние. Все двое суток, пока не предстал перед судьей, он не желал никого и ничего, кроме Варды.

Его доставили в длинный коридор, где было полным-полно народу — таких же, как он, обвиняемых. Усатый араб, здешний служащий, каждые пять минут выпархивал из комнаты, где происходило судебное разбирательство, прикладывая ладонь рупором ко рту и оглушительной длинной трелью, словно муэдзин

с минарета, призывающий верующих к молитве, провозглашал имя очередного подсудимого. Когда уса́тый появлялся, все ожидающие суда вставали, толпились вокруг него и прикладывали ладонь к уху. И тот, кому выпадало счастье услышать свое имя, произнесенное так громогласно, бежал, протискивался к глашатаю, по пути всем своим видом выказывая тому исключительное почтение, и затем уже с его помощью прокладывал себе дорогу в роковую комнату. Оказалось, что в этот день судили за легкие преступления, и суд был быстрым: каждое дело заканчивалось в несколько минут. Эфраим то и дело озирался, ища глазами Варду, но не находил. Внезапно он услышал свое имя, произнесенное с арабским акцентом. Но и в этот миг его испугало не предстоящее тюремное заключение, а то, что он так и не увидит Варду. Пробившись сквозь толпу в зал суда, он все еще продолжал искать ее взглядом среди сидевшего там народа, и сердце у него сильно стучало, почти до боли. Зал был полон до отказа арабами и арабками — родственниками подсудимых. И вдруг она нашлась: стояла у стены, возле двери, не в силах пробиться сквозь стоящую перед ней толпу. Она улыбнулась, и Эфраим почувствовал, что у него вновь перехватило дыхание. Ее улыбка ободряла, хотя в ней сквозили огорчение и беспокойство. Так ему, больному, улыбалась мать. И он отвел глаза, боясь разрыдаться, если будет и дальше смотреть на нее.

Он принес присягу и отвечал на разные вопросы, задаваемые судьей-англичином, а между тем рассматривал судейский нос и обнаружил, что нос этот, подобно его собственному, Эфраимову, не обделен веснушками. "Да ведь мы похожи, — подумал он. — Такой же клоп, как я".

— Вы обвиняетесь в том, — привычно-торопливо читал судья, — что такого-то дня...

Эфраим незаметно обернулся: там ли она все еще, или то было мимолетное видение, подобное ночной грезе.

— ...бутылкой из-под сока... Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Он оскорбил меня! — крикнул Эфраим. — Он назвал меня грязной свиньей, а еще — бил всю дорогу до тюрьмы.

Судья пристально взглянул на Эфраима, а тот — на судью.

— Сколько вам лет? — спросил судья.

— Семнадцать.

Судья неслышно сказал несколько слов сидящему рядом секретарю, а затем вновь заговорил быстро, зачитывая приговор. Эфраим напряженно вслушивался в неясную английскую речь, но ничего не понял, кроме последнего:

— ... и принимая во внимание все обстоятельства и все сообщенное суду, приговорить к тюремному заключению сроком на четыре дня со дня заключения под стражу.

Эфраим продолжал стоять на месте и не знал, что делать.

— Вы свободны, — сказал ему секретарь.

— Свободен?..

— Свободны. Идите в полицейское управление, там получите свои вещи и распишетесь в получении.

— Как хорошо, что ты пришла, — сказал он Варде. — И что приговор такой — хорошо, и что освободили. И вообще, свобода — это хорошо.

— Я только сегодня узнала, — сказала Варда. — Даниэль уезжал и только нынче утром вернулся в Иерусалим.

Эфраим вдруг остановился и приложил руку к щеке.

— Выгляжу-то я, конечно, ужасно — грязный, заросший... проклятая эта борода...

— Глупенький, — сказала Варда. — Да почти и не заметно.

Несколько шагов они прошли молча, и внезапно она сказала:

— Как ты молод. Всего семнадцать. Мальчик. Ну просто мальчишка.

Она внимательно посмотрела на Эфраима, и тот почувствовал, что его переполняет гордость.

— Я не мальчик, — сказал он с дрожью в голосе. — Я — хуже. Я клоп презренный. Но... ты не знаешь...

Рыдания вновь подступили к горлу, и он замолк, боясь, что не справится с собой. И вдруг он обнял ее, прижал к груди и поцеловал в губы. Она была такой мягкой и бессильной в его руках, что душа его преисполнилась умиления. Высвободившись, она несколько мгновений стояла, приложив руку к груди и тяжело дыша.

— Ты, верно, сердись на меня, — сказал он. — Я, конечно, противен тебе, но я не могу ничего с собой поделать, старался изо всех сил, но не могу.

— Глупенький, — снова сказала она. — Ну да ладно, в любом случае я должна тебе поцелуй.

И, встав на цыпочки, она быстро поцеловала его в губы.

— А теперь быстрее беги домой, умойся, отдохни, смени одежду, а вечером приходи к нам, устроим небольшую пирушку в честь твоего освобождения. Знаешь, ты так понравился Даниэлю — с первого раза, как он тебя увидел.

Эфраим поднял глаза к небу. Ему казалось, что Бог все еще сидит там, наверху, и смотрит на него в телескоп. Смотрит, улыбается и ждет, что будет дальше.

С иврита. Перевод Валерия КУКУЯ.

Александр РОЗЕНФЕЛЬД

Звезда Израиль, укажи мне путь...

у раввина дочки умницы у раввина дочки красавицы
очень умны очень хороши их втащили за косы
прямо в небо без крыльев без волос и без мяса на костях
и новые молитвы понеслись к эсэсовскому господу богу
дитя мое майн кинд деточка моя мой ребенок
моя дочка хороша моя дочка умна
хороша и умна как дочка раввина
ах мазлтов всяческого вам счастья
сегодня день свадьбы а у нас только в будни
черствеют души как буханки старого хлеба
ах мазлтов мазлтов радости вам и удачи
молодой жених утирает невесте слезы это просто дождик
пополам со смехом добрый боженька забрал к себе в небо
всех молодых евреев и молодых евреек
и там под балдахином добрые ангелы поют им
свадебную песню ах мазлтов мазлтов а потом такая мука
и так трудно понять все юные супружеские пары
были загнаны в печи добрый боженька пел своим овечкам
ах мазлтов ах мазлтов радости вам и счастья
вы не кланяетесь печным трубам почему же
вы не кланяетесь трубам это просто кирпичи кирпичи вы говорите
но ведь там живут птицы живут птицы это наши
отцы наши матери

* * *

на земле есть два только места
где так страстно поклоняются Богу
над Вислой и над Иорданом
два храма устремляются к небу

тот что в Гнезно
и та стена из камня в Иерусалиме
у которой евреи плачут
на земле есть только два народа
так нерасторжимо связанных с небом
так неумолимо обреченных геенне
любящих и ненавидящих с равной силой
.....

неприятель окружает оба народа
и если б не хранило их око Божье
давно бы враг поглотил их земли
а людей их отдал диким зверям на съеденье
.....

на земле есть два только места
где люди должны поклоняться Богу
над Вислой за то что не сгинули без остатка
над Иорданом за то что восстали из мертвых
.....

о Израиль о Польша
нет кроме вас на земле иного места
куда душа моя рвется прочь из тела
и двух других городов таких нету
столь схожих судьбами столь возвышенных верой
Иерусалим и Варшава
.....

вера меня захватила в плен
я теперь сам себе не хозяин
каждый предмет изучаю прилежно — ищу знака
здесь у Бога лицо человечье
Адонай и Иисус
на перекрестке судеб вселенной
два места несут спасенье миру
вера и надежда не исчезли
пробужден в ночи окутан пурпуром и белизною
со звездой Давида бьющейся в гортани
я иду на встречу с рассветом
равно суждены мне кущи райские и пекло
.....

Господи храни эту землю и это небо
землю Израиля и небо над Израилем
землю над Вислой и небо над Вислой

и ныне и присно и от века
мы склоняем голову перед судьбою
говорим — так надо или Он так хочет
но если даны нам крылья для полета
а мы ползаем на карачках
но если дано нам узреть чудо
а мы едва различаем тень тени
не наносим ли мы Ему оскорбленье
упуская данную нам возможность

.....

избавленье от ненависти лежит через истинный поиск
но мы — разрываясь между небом и землею
проклинаем невозможность

.....

мы лжем самим себе упрямо повторяя — Бога нету
как же без него могли стихи возникнуть
какой же музыки звуки могли бы раздаваться
да и радугу нельзя представить себе без Бога

двум родинам и Богу равно покорный
я польские слова перебираю на земле еврейской
сiju у воды и по воде тоскую
сiju под сосной и по сосне тоскую
вижу чудо — пустыню обернувшуюся садом
и тоскую по саду обращенному в пустыню
и куда ни гляну везде толпятся люди
и так трудно встретить человека

.....

расстояние меж нами столь мало столь огромно
в день молитвы мы сходимся в одном и том же храме
и песнь мы поем одну и ту же
но то ли Бог не слышит то ли мы поем слишком тихо
ибо после бессонной ночи мы видим
что расстояния не сократились
и молитвы остались все те же

.....

и так в нескончаемых блужданиях
прикасаясь то к небу то к геенне
притворяемся будто мы живые
то ли люди а то ли обезьяны

.....

мы ваше алиби — мы евреи и мы поляки
вашей совести мы служим вечным укором
твоей Европа и твоей весь мир
вы знаете что ваше спокойствие духа
зависит от нашего существования

.....
на земле поистине есть два лишь места где слышно дыхание Бога
там где Писание возникло и там где его читают
Барух ата Адонай — отче наш иже еси
письмена евреев и польская буква несут надежду миру

Израиль,
сентябрь 1983

* * *

Звезда Израиля укажи мне путь
как слепого ведет собака-поводырь
одно лишь время излечит тоску
одно лишь время даст силу устоять
порою я слаб порою я силен
и днем я не здесь и ночью меня нет

.....
Звезда Израиля бодрствуй надо мной
как собака бодрствует над спящим слепцом
ты моя надежда ты мое проклятье
слово отчизна давно потеряло смысл
отторгнутым нету иного пути
лишь вечный поиск

.....
Звезда Израиля храни меня от зла
и пусть во сне на память мне придут
все добрые слова которых мне не вспомнить
стою перед тобой звезда Давида
нагой и вместо сердца — пустота

II. 1983

* * *

дерево принадлежит земле в которой было посажено
птица живет в гнезде в котором она впервые
развернула крылья для полета
так и человек приписан к другим людям
фамилия адрес место рождения национальность

адрес — еврей вечный странник
потом я прошел по улицам переулкам сквозь все ограды
учился в школе стихи сочиняю говорю по-польски
знаю все жития святых
старый и новый завет
и лишь порой бывало кто-нибудь обернется
на мою огненную бороду и не смея спросить вслух
подумает — ”а этот здесь чего?”

1968 — 1983

Польша — Израиль

С польского. Перевод Юлии Винер.



БИБЛИОТЕКА - АЛИЯ

ALIYA LIBRARY

КНИГИ

ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

"Библиотека-Алия" — крупнейшее русскоязычное издательство — публикует книги, посвященные различным аспектам еврейской культурной, религиозной и общественной жизни.

В каталоге издательства — сочинения крупнейших современных писателей, труды идеологов еврейской политической мысли и национального возрождения, мемуарная проза, исторические и мемуарные исследования.

120 КНИГ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Стоимость каждой книги \$5.

Каталог высылается бесплатно.

Заказы на имя Aliya Library направлять по адресу:

P.O.B. 8383, Jerusalem 91083.

*Памяти Шеры Шарова,
соавтора и друга.*



Михаил КАЛИК

*Король Матиуш
и
Старый Доктор*

Киносценарий

© Сиртей Михаил Калик.

© Иллюстрации — Ирена Бат-Цви.

Этот сценарий был написан мною в соавторстве с писателем Александром (Шерой) Шаровым более пятнадцати лет назад в Москве. По соглашению с киностудией "Ленфильм", я должен был снять полнометражный художественный фильм "Король Матиуш и Старый Доктор".

Фильм, посвященный поистине великому человеку Янушу Корчаку — врачу, педагогу и сказочнику, который жил для детей и погиб с ними, сожженный гитлеровцами; фильм, который я уже видел в своих снах от первого до последнего кадра.

Мы, конечно, понимали всю проблематичность прохождения сценария через цензурные рогатки и поэтому старались сгладить острые углы: заменили еврейские имена детей на нейтральные, сделали еще кое-какие косметические манипуляции... Но гетто есть гетто. Не делать же из него Брестскую крепость.

Поначалу все шло хорошо. Низшие инстанции пропустили сценарий. Друзья на "Ленфильме" радовались, торопили. И мы с оператором Яшей Склянским (он живет сейчас в Америке) приступили было уже к пробным съемкам. Но... когда сценарий дошел до "верха" (отдел культуры ЦК КПСС) — последовал сигнал "стоп". Меня вызвали в Комитет по делам кинематографии при Совете Министров СССР. Со мной беседовал зам. председателя Комитета Владимир Евстихиянович Баскаков. Председатель же комитета тов. Романов не пожелал со мной встречаться. Дело в том, что прошлые наши встречи, связанные с выпуском на экран моих фильмов "Человек идет за солнцем" и "До свиданья, мальчики" оставили у него неприятный осадок. К тому же эта еврейская тема!.. (а про товарища Романова в кругах кинематографистов говаривали, что он так же любит евреев, как его знаменитый однофамилец Николай II). Так вот, заместитель председателя Владимир Евстихиянович Баскаков, почесывая себя в разных местах (была у него такая милая привычка после перепоя), сообщил мне, что фильм сниматься не будет.

— Причина? — спросил я.

Владимир Евстихиянович посмотрел на меня мутным взором, выдержал паузу и, указав большим пальцем на потолок, проговорил:

— Есть мнение.

После столь сакраментальных слов и действий ни один российский деятель культуры не станет задавать вопросов. Не стал их задавать и я.

Прошли годы... И вот я в Израиле. Ни тебе Романовых, ни тебе Евстихияновичей — свобода! Кругом одни братья и сестры. И те из них, у кого есть деньги, чтобы вложить в производство фильма, ласково так объясняют: "Мы бы рады, да не коммерческий он, сценарий твой. Какой с него навар?"

Значит, там сценарий не годился идеологически, здесь — коммерчески. И вот я сижу и думаю: а что же лучше? И в ответ приходят незабвенные слова одного из персонажей Аркадия Райкина:

"Все одно плохо, потому как вред народному хозяйству!"

И поскольку, видимо, не суждено мне снять этот фильм, — придется тебе, дорогой читатель, самому "прокрутить" его в своем воображении.

Михаил Калик

Плоская равнина, залитая ровным блеклым светом. Все кругом кажется неживым: высохшая трава, однообразные барачные блоки вдали... По дороге к барачным блокам, над которыми поднимается черный дым, идут бесконечной чередой дети. По двое в ряд, взявшись за руки. Ни звука не доносится до нас. Все это проплывает, как воспоминание о том, чего забыть нельзя.

Слышится глуховатый, чуть запинаящийся голос Корчака:

– КАКИЕ НЕВЫНОСИМЫЕ СНЫ. НОЧЬЮ Я В ЛАГЕРЕ – ВСЕГДА, КАЖДУЮ НОЧЬ. ЭТО ЛАГЕРЬ ДЛЯ ОДНИХ ТОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. НОЧЬЮ Я ПРЕВРАЩАЮСЬ В ТАКОГО РЕБЕНКА – ВЫСОХШЕГО, СМОРЩЕННОГО, НЕ РАЗБЕРЕШЬ, СКОЛЬКО ЛЕТ.

Идут и идут дети: к черным дымам, поднимающимся на краю залитой блеклым светом равнины. Голос Корчака:

– Я ПОМНЮ ВО СНЕ, ЧТО МНЕ СЕМЬ ЛЕТ, И Я КАК РАЗ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЙТИ В ШКОЛУ, КОГДА ВСЕ ПРОИЗОШЛО. ПОМНЮ, ЧТО МНЕ ПОКУПАЛИ БУКВАРЬ, ТЕТРАДИ, РАНЕЦ, ПЕНАЛ. И ЗНАЮ, ЧТО НИКОГДА В ШКОЛУ НЕ ПОПАДУ, ЧТО ВООБЩЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НИЧЕГО...

Колонна детей. Маленький мальчик увидел на обочине чахлый цветок. Наклонился и...

Остановился, застыл кадр.

Рука ребенка тянется к цветку.

Голос Корчака:

– "ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСИ..." МОЛИТВУ ЭТУ ИЗВАЯЛИ ГОЛОД И НЕДОЛЯ. ХЛЕБА НАСУЩНОГО! ХЛЕБА! ВЕДЬ ЭТО ЖЕ ВСЕ БЫЛО! БЫЛО! ВЕДЬ МЫ ЖЕ БЫЛИ!

Звучит музыка Реквиема.

Заглавный титр:

КОРОЛЬ МАТИУШ И СТАРЫЙ ДОКТОР.

Мы слышим голос Корчака, чуть запинаящийся; кажется, будто он все время ищет настоящие слова, отбрасывая "выдуманные":

– А НЕ МОГЛО ЛИ БЫТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИЛСЯ ТО БОЛЬШИМ, ТО МАЛЕНЬКИМ? КАК ЗИМА И ЛЕТО, ДЕНЬ И НОЧЬ, СОН И ЯВЬ?..

Возникает детский рисунок: в безоблачном небе пылает ослепительное солнце; из синевы выступает фигурка мальчика, сияющее его лицо. Под рисунком надпись: "Я и солнце".

Луг. Огромный, зеленый, покрытый цветами. Щедрое разнотравье. Если смотреть снизу, цветы и высокие травы похожи на деревья, у травинки различимы и ветви.

Радужные шары росы повисли на листьях, грозно и стремительно пролетают стрекозы, кузнечики прыгают в бездонную глубину неба, птицы вспархивают из-под ног и опускаются в гнезда.

Голос Корчака:

– УДИВИТЕЛЕН ЭТОТ МИР! УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КАК УДИВИТЕЛЬНО ДОЛГО ОНИ ЖИВУТ! УДИВИТЕЛЬНЫ МАЛЕНЬКИЕ ЧЕРВЯКИ – ЖИВУТ ТАК НЕДОЛГО! УДИВИТЕЛЬНО ВСЕ, ЧТО ПРЫГАЕТ И ЛЕТАЕТ, И ЗВЕРИ УДИВИТЕЛЬНЫ: СОБАКА, ЛЕВ, СЛОН.

Снова детский рисунок: лужайка, где желто-золотые цветы, как сотни солнц; посреди царства света – черный котенок с белой грудкой. Голос Корчака:

– ВСЕ УДИВИТЕЛЬНО. НО САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ – ЧЕЛОВЕК.

Как по-разному просыпаются дети. Посмотрите, какой первый, самый первый взгляд бросают они на мир.

У этой девочки в глазах отражение ночных страхов.

Этот потягивается после сна; в руке у него скомканная рубашка. Вот он замер с поднятыми руками, уставившись в пространство.

А этому мальчику жаль расстаться с тишиной, одиночеством, сонными видениями: он натягивает одеяло, ныряет под него – в темноту.

Город живет своей взрослой, полной забот, жизнью. Торопятся мужчины с портфелями, женщины с сумками. За деревьями, по проезжей части улицы мчатся легковые и грузовые машины, автобусы.

Женщина тащит за руку девочку. Голова девочки повернута назад: ей жаль того необычайного, что остается сзади.

Голос Корчака:

– БЕДНЫЕ ВЫ МОИ ЛИЛИПУТИКИ В СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ! ГОЛОВА У ВАС ВЕЧНО ЗАДРАНА ВВЕРХ, ЧТОБЫ ЧТО-НИБУДЬ ДА УВИДЕТЬ.

Мальчик в матроске мелкими шажками движется по тротуару. Руки его совершают вращательные движения, он гудит так, что каждому ясно – это паровоз. А теперь – он пароход. А теперь самолет или птица... Вот он столкнулся с пожилым сердитым человеком. Взглянул на него. Растерянно улыбнулся, не совсем понимая, что произошло, как бы просыпаясь. Пожилой ухватил его за ухо и что-то кричит.

Голос Корчака:

– А ОН В ЭТО ВРЕМЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, СПАСАЛ КОГО-ТО, СПЕШИЛ НА ПОМОЩЬ КОМУ-ТО...

Небо нахмурилось. Ударил гром, первые капли падают на листья, на землю, на лица.

Дождь – время детей. Взрослые спрятались в подворотнях, и дети завладели тротуарами, дворами.

Детские голоса:

БОЧКА СЕНА,
ОХАПКА ВОДЫ,
ОКОРОК КАПУСТЫ,
КОЧАН ВЕТЧИНЫ.

Пузыри на лужах набухают, как глаза неведомых животных. Детский рисунок: сквозь косые потоки дождя сияет солнце, тянутся вверх цветы, деревья, травы. На одной ветке вырос маленький человечек. Под рисунком подпись: "У меня будет братик".

Голос Корчака:

– НАДО ОПУСКАТЬСЯ ДО ДЕТСКОГО ПОНИМАНИЯ? ОПУСКАТЬСЯ, НАКЛОНЯТЬСЯ, СГИБАТЬСЯ, СЖИМАТЬСЯ? ОШИБАЕТЕСЬ! НАДО ПОДНИМАТЬСЯ ДО ЧУВСТВ РЕБЕНКА. ПОДНИМАТЬСЯ, СТАНОВИТЬСЯ НА ЦЫПОЧКИ, ТЯНУТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ.

Детский рисунок: летит бабочка, и у нее лицо, как у человечка, две точки – глаза, рот. Внизу какие-то необыкновенные цветы. Подпись: "Не в гетто".

Черно-белые фотографии, сменяясь, возникают перед нами: Варшавское гетто. Квартал обреченных.

Горько, безнадежно плачет девочка лет шести, повязанная платочком. К ней, к последней опоре, прижимаются младшие брат и сестра.

"Гаврош" в лохмотьях и вязаной шапочке: вопреки всему он улыбается вызывающе, выразительно.

Седой старик играет на скрипке, мальчик с прекрасным и грустным лицом держит перед ним раскрытые ноты. Торжественная и веселая еврейская свадебная мелодия. Как странно она звучит сейчас.

Варшавское гетто. Выщербленная кирпичная стена, отделяющая этот район от остального мира.

Женщины, старики, дети протягивают прохожим тряпье, старые ботинки. Но покупателей нет. Перед мальчиком в коляске книги. Человек везет гроб в повозке. За умершим идут несколько человек – смерть пока еще событие. Проехал рикша, из последних сил вращая педали.

Со стен скалятся в подлой улыбке надписи: "Грязь порождает вшей; вошь – сыпной тиф".

Женщина с безумным лицом, прижимая к высохшей груди какой-то сверток, ходит по мостовой: туда и обратно, туда и обратно; может быть, ей чудится, что она укачивает ребенка, которого уже нет в живых.

Старый доктор идет по улице. За спиной у него полупустой мешок. Это Януш Корчак. Люди, встречающие его, почтительно здороваются – ведь его все знают. Он отвечает, не поднимая головы.

Голос Корчака:

– ДАВНО Я УЖЕ НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЛ ЭТОТ МИР. СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ПОПЫТАЛСЯ – НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО.

Моросит дождь.

Девочка, свернувшись в комок под рваным пальто, прижалась к пустой витрине, где за стеклом старые афиши.

Пожилая женщина в дверях лавочки.

Корчак остановился.

Женщина что-то говорит, показывая на девочку. Все время еле слышно звучит свадебная мелодия – одновременно грустная и веселая.

Старый доктор опускается на корточки рядом с девочкой. Он что-то шепчет. Лицо его, прежде отстраненное, сосредоточенное на одной мысли, как бы незрячее, – становится детски ласковым.

Из лохмотьев показывается лицо девочки. Глаза вначале закрыты, потом они с трудом открываются.

Голос Корчака:

– ВЧЕРА ЗДЕСЬ БЫЛА РАДУГА, ЧУДЕСНЫЙ ОГРОМНЫЙ МЕСЯЦ НАД КВАРТАЛОМ НЕПРИКАЯННЫХ.



Идет старый доктор. Одной рукой он поддерживает мешок, другой сжимает ладонь девочки.

Голос Корчака:

– ПОЧЕМУ Я НЕ В СИЛАХ УСПОКОИТЬ ЭТОТ НЕСЧАСТНЫЙ БЕЗУМНЫЙ ТАБОР?

Стена гетто. Люди взбираются друг другу на плечи, чтобы поговорить с теми, кто на "той стороне", просто увидеть живой мир. В воротах гетто часовой обыскивает мальчика. Швырнул на землю морковку, луковицу, корку хлеба. Мальчик стоит с поднятыми руками и плачет.

Корчак сделал было шаг к мальчику, но остановился, помедлил мгновение, взглянул на девочку и побрел своей дорогой.

Голос Корчака:

– ЕСЛИ БЫ ГОСПОДЬ БОГ ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ, ЛЮДИ ВЫБИЛИ БЫ В ЕГО ДОМЕ СТЕКЛА.

У ворот старого двухэтажного дома на Склизкой улице дощечка с надписью, выведенной от руки: "Dom Sierot" (Дом Сирот). В маленьком дворике, выложенном булыжником, играют ребята. В центре круга помощница Корчака пани Стефа – Стефания Вильчинская – молодая женщина с красивым, очень худым и измученным лицом. Вот она хлопнула в ладоши, и ребята бегут, меняясь местами.

За дровяной кладкой пан Зигмунд – дворник Дома Сирот, он же повар и еще все, что угодно, – колет дрова. Ему больше шестидесяти; темное от загара морщинистое лицо, седые усы. В двух шагах от него смуглый курчавый Янек, мальчик лет восьми, укладывает наколотые дрова в поленицу.

Корчак, держа за руку девочку, открыл калитку. Пан Зигмунд подошел к нему, взял из его рук мешок, сказал:

– МАНЕЧКА ПРОСТУДИЛАСЬ. 38,5. ПРОСИТСЯ К ВАМ.

– ХОРОШО, – кивнул Корчак и, показывая на мешок, добавил:

– ДЕСЯТЬ КИЛО КАРТОШКИ, НЕМНОГО КАШТАНОВОЙ МУКИ. ОБЕЩАЛИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ С ЛЕСТНИЦЫ СПУСТИТЬ.

Девочка отошла в сторонку и устало села на бревно. К Корчаку подбежал мальчик лет десяти с озорным лицом, – веснушчатый, вихрастый. Еще издали, победно размахивая руками, он кричит:

– ПАРИ, ПАН ДОКТОР! ПАРИ!

– О ЧЕМ, КАЗИК?

– БУДУ ДРАТЬСЯ РАЗ В МЕСЯЦ.

– ТО ПО ТРИ РАЗА НА ДНЮ, А ТО... НЕТ, ТАК НЕ ПОЙДЕТ, НЕЧЕСТНО... – серьезно говорит доктор.

– А ЕСЛИ... ЧТОБ РАЗ В НЕДЕЛЮ? – неуверенно спросил Казик.

– НУ ЧТО Ж, – доктор протянул мальчику руку. – СТАВКА – ОДНА КАРАМЕЛЬКА. Зигмунд разнял пари.

Когда Казик убежал, доктор, показав глазами на девочку, тихо сказал:

– ВЫ САМИ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ПАН ЗИГМУНД.

Зигмунд наклонился над девочкой, спросил:

– КАК ТЕБЯ КЛИЧУТ, МАЛЕНЬКАЯ?

– ХАНА.

Зигмунд взял девочку за руку, другой рукой поднял мешок и пошел к дому.

Доктор поправил на носу очки в потемневшей никелевой оправе, глядит на играющих ребят. Они бегают, спорят, перешучиваются, но все это как-то вяло.

Большая комната, длинный стол и скамьи. Это столовая, и класс, и комната труда.

Дети вместе с Корчаком сидят кругом, наклонившись над ведром, и чистят картошку.

Вернее, не чистят, а вырезают гниль.

В стороне у стола другие ребята читают, пишут, рисуют. В дверь постучали.

– КТО ТАМ? – спросил Корчак.

– ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ПАН ДОКТОР, – вошел Зигмунд. Он поставил пустое ведро, забрал очистки и зашагал к двери, по пути положив перед Ханой самодельного тряпичного зайца.

– ПОСТУЧАЛИ, ТЫ СПРАШИВАЕШЬ: "КТО", – говорит Корчак. – А НЕ БУДЬ ЭТОГО КРОХОТНОГО СЛОВЕЧКА "КТО", ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ СПРОСИТЬ: "ЭТО КАЗИК СТУЧИТ? ИЛИ МАНЬКА? ИЛИ ГОНЧАР? ИЛИ КУМ ПЕТР? ИЛИ НИЩИЙ? А ТЕБЕ ОТВЕЧАЛИ БЫ: "НЕТ, НЕТ, НЕТ". СТАЛ БЫ ТЫ МОКРЫЙ, КАК МЫШЬ, РАЗОЗЛИЛСЯ БЫ, НЕ ЕЛ (ребята смеются), НЕ ПИЛ, ВСЕ СПРАШИВАЛ БЫ. А ТАК: "КТО ТАМ?" – В КОРОТЕНЬКОМ "КТО" ИМЕНА ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ.

Хана улынулась, взглянула в окно. Часовой у ворот вскинул автомат, прицелился.

– ПИФ – ПАФ! – сказал часовой и захохотал.

Хана смотрит на тряпичного зайца.

Маленький мальчик сосредоточенно "читает" книгу, держа ее вверх ногами. За столом девочка, высунув кончик языка, пишет письмо – дневник.

– КТО КЕМ ХОЧЕТ БЫТЬ? – помолчав, спросил Корчак.

Ребята оглядываются.

– НУ ВОТ ТЫ, БЕНЮСЬ?

— ПОВАРОМ! — несмело отозвался худенький мальчик.

— А Я НА КЛОУНА ВЫУЧУСЬ! — уверенно говорит Шимек. Он сделал гримасу. Ребята засмеялись. Его веснушчатое лицо с торчащими топориком ушами и в самом деле кажется очень смешным. Корчак тоже смеется.

— А Я... Я ХОЧУ, ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ, — еле слышно, чуть запинаясь, сказала Хана.

Все замолкают. Корчак внимательно смотрит на девочку. Потом обращается к сидящему рядом с ней мальчику.

— А ТЫ КЕМ БУДЕШЬ, КАЗИК?

— МИНИСТРОМ.

Сосед Казика хихикнул, и тот, не задумываясь, дал ему подзатыльник.

— НАВЕРНОЕ, Я СТАНУ САПОЖНИКОМ, — объясняет Казик, — КАК МОЙ ПАПКА, КОГДА БЫЛ ЖИВ. НО ХОЧУ Я ПОЙТИ В МИНИСТРЫ.

— А Я ХОЧУ — КОРОЛЕМ, — мечтательно проговорил Янек.

— ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ?!

— НУ И ЧТО ЖЕ — МАЛЕНЬКИМ КОРОЛЕМ! КОРОЛЬ ВЕДЬ МОЖЕТ ПРИКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ИДТИ КУДА ХОЧЕШЬ, И ЕСТЬ СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ, И... И ВСЕ!..

— А Я ХОЧУ СТЕКОЛЬЩИКОМ!

— А Я ВОЛШЕБНИКОМ!

Шум, смех. Дети, перебивая друг друга, выкрикивают каждый свое.

Корчак прикрыл глаза. Весенний лес. Голоса детей в воображении Корчака доносятся сквозь шелест листьев, сливаются со щебетом птиц.

Голос Корчака:

— А Я БЫ ХОТЕЛ СНОВА СТАТЬ МАЛЕНЬКИМ. И ЧТОБЫ ДЛИННАЯ, ДЛИННАЯ СКАЗКА, КОТОРАЯ НИКОГДА БЫ НЕ КОНЧАЛАСЬ.

Задумчивое лицо ученого профессора. Вы узнаете в профессоре Корчака, "старого доктора", но профессор в сказке чаще улыбается, лицо его, несмотря на седую бородку, кажется ребячьим, как на детском рисунке, который мы только что видели. Впрочем, сейчас он хмур и печален. В руках у него стетоскоп, на глазах большие круглые очки.

Профессор в королевской опочивальне, у постели старого короля. Король очень болен, лицо его бледно, он откинулся на подушки и тяжело дышит.

Выслушивая больного, профессор бормочет:

— УСТУСКАРИБИКУС ТЕНТОРАЛИС...

— ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? — спрашивает король.

— ХМ... ДУМАЕТЕ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЛЕГКО ПОНИМАТЬ САМОГО СЕБЯ, ДА ЕЩЕ КОГДА ГОВОРИШЬ НА СТА СЕМИДЕСЯТИ ШЕСТИ ЯЗЫКАХ?.. УСТУСКАРИБИКУС... КАЖЕТСЯ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НАДО НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БАНОК. И ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ...

В это время в большом дворцовом зале в мягких креслах за длинным столом сидят министры: Старший Министр Церемоний, такой толстый, надутый и важный, что он напоминает футбольный мяч; Военный Министр с саблей и пистолетами за поясом; тощий Министр Юстиции с тяжелым "Сводом Законов" в руках; Министр Просвещения, вместо галстука у него на шее пестрый

бант, на столе перед ним "Грамматика" и "Таблица умножения".

С краю примостился горбатый Министр Внутренних Дел — в руке он держит большую луну.

Старший Министр Церемоний, позвонив в колокольчик, сказал:

— ГОСПОДА! Я СОБРАЛ ВАС, ЧТОБЫ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ! КОРОЛЬ БОЛЕН И... Э... НЕРОВЕН ЧАС, СОГЛАСНО ЭТИКЕТУ...

— ПО СВОДУ ЗАКОНОВ — ТОМ ДЕСЯТЫЙ, ЧАСТЬ ПЯТАЯ, СТАТЬЯ ДВЕСТИ ДЕСЯТАЯ, ПОСЛЕ СМЕРТИ КОРОЛЯ НА ПРЕСТОЛ ВСТУПАЕТ СТАРШИЙ СЫН, — сказал Министр Юстиции.

— НО У КОРОЛЯ ОДИН СЫН?!

— БОЛЬШЕ И НЕ НАДО.

— СЫН КОРОЛЯ — ЭТО МАЛЕНЬКИЙ МАТИУШ, — возразил горбатый Министр Внутренних Дел. — ОН НЕ УМЕЕТ ЕЩЕ СЧИТАТЬ!

— НЕ УМЕЕТ СЧИТАТЬ? — перебил Военный Министр. — А КАК ЖЕ "НА ПЕРВЫЙ — ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!"

— НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ, — вздохнул Министр Юстиции.

— НО, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, — мяг-

ким бархатистым голосом, чуть растягивая слова, сказал Министр Просвещения, — КАКОЙ ЖЕ МАТИУШ КОРОЛЬ, ЕСЛИ ЕМУ ДАЖЕ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ШЕСТЬЮ ШЕСТЬ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ?

— ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ, — поправил Министр Церемоний.

— НЕВАЖНО! — отмахнулся Министр Просвещения. — ЧТО ЖЕ БУДЕТ?!

— НЕ ЗНАЮ, ЧТО БУДЕТ, — краснея от злости, пропихивал Министр Юстиции. — ЗАКОН ВЕЛИТ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ КОРОЛЯ НА ПРЕСТОЛ ВСТУПАЛ ЕГО СЫН.

— МАТИУШ СЛИШКОМ МАЛ! — хором закричали министры. А горбатый министр пробормотал под нос:

— ТАМ, ГДЕ ДЕТИ, КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОРЯДОК, А БЕЗ ПОРЯДКА К ДЬЯВОЛУ ПОЛЕТИТ ДВОРЦОВЫЙ РАСПОРЯДОК, НЕТ, МОЯ БЫ ВОЛЯ...

Такой шум стоял во дворце, что Матиуш проснулся и открыл глаза. Как он похож на Янека из Дома Сирот. Только тут, в сказке, у него красивые льняные волосы до плеч и глаза с длинными черными ресницами.

Матиуш сел на своей высокой позолоченной кровати, протер глаза — маленький в длинной ночной рубашке. Поиграл паяцем с колокольчиком на остроконечной шляпе и прислушался к спорящим голосам.

— ЧТО ТАМ ТВОРИТСЯ? — сам себя спросил Матиуш, вставая с постели, и вышел в коридор.

Он остановился перед дверями зала заседаний, в королевском дворце ручки на дверях были так высоко, что Матиуш не смог открыть двери.

— КОРОЛЬ УМРЕТ, — донеслось до Матиуша, — ПОРОШКИ И ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГУТ, ГОЛОВУ НА ОТСЕЧЕНИЕ, КОРОЛЬ И НЕДЕЛИ НЕ ПРОТЯНЕТ.

Матиуш не слушал больше. Бегом он



помчался через анфиладу дворцовых залов и, запыхавшись, вбежал в спальню короля.

Король, очень бледный, лежал на кровати. Возле короля сидел Ученый профессор.

— ПАПОЧКА, ПАПОЧКА, — крикнул Матиуш со слезами. — Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ УМЕР!

Король грустно посмотрел на сына.

— И Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ. ГОРЬКО МНЕ, СЫНОК, ОСТАВЛЯТЬ ТЕБЯ ОДНОГО НА СВЕТЕ.

Король закрыл глаза. Профессор посадил Матиуша на колени. В опочивальне короля воцарилась печальная тишина.

Во всех витринах выставлены фотографии Матиуша. Матиуш на пони. Матиуш в матросском костюмчике. Матиуш в мундире.

У витрин толпится народ, разглядывая портреты Матиуша. Глашатаи кричат:

— ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ МАТИУШ!

— КОРОЛЬ МАТИУШ ПРИВЕТСТВУЕТ СВОИХ ПОДДАННЫХ!

— УРА! — закричала девочка со светлыми косичками. — ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАЛЕНЬКИЙ МАТИУШ!

— ТИШЕ, МАРЫСЬКА! — мать, важная дама в шляпе с перьями, дернула девочку за косичку.

— УРА! УРА! УРА! — упрямо и восторженно повторяла Марыська, вырываясь из рук матери.

Грустно было Матиушу, когда он сидел, маленький и одинокий, на позолоченном троне.

Профессор, который стоял слева от трона, налил в серебряную ложку рыбий жир.

— РАЗВЕ КОРОЛИ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ГЛОТАТЬ РЫБИЙ ЖИР И ВСЯКИЕ ПРОТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВА? — спросил Матиуш, с гримасой беря из рук профессора ложку. — СТОИТ ЛИ ТОГДА БЫТЬ КОРОЛЕМ?..



Двери распахнулись. Один за другим, низко кланяясь, в зал вступили придворные.

— ПЕРВЫЙ ПРИДВОРНЫЙ ПИРУЭТ! — воскликнул Министр Церемоний, ударив жезлом об пол.

Придворные, роскошно одетые дамы и господа, входят в правую золотую дверь, под музыку, похожую на менуэт, дефилируют мимо трона и, кланяясь, один за другим исчезают за серебряной дверью.

— Я КАТЕГОРИЧЕСКИ УТВЕРЖДАЮ, ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО НЕ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ДРУГОГО МНЕНИЯ, — сказал Министр Просвещения, протягивая королю книгу с надписью "Таблица умножения", — ЧТО ПЯТЬЮ ПЯТЬ — ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ.

— ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ, — поправил Старший Министр Церемоний.

— НЕВАЖНО, — махнул рукой Министр Просвещения, поправил свой пышный бант и удалился.

— ИМЕННО ПОЭТОМУ НАДО НЕМЕДЛЕННО ПОСТРОИТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЮРЕМ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, — пробормотал горбатый Министр Внутренних дел, прихвываясь длинным сизым носом и сквозь лупу разглядывая следы на полу. — ИЗВОЛИТЕ ПОВЕЛЕТЬ?

Матиуш искоса взглянул на профессора. Тот еле заметно отрицательно покачал головой.

— НЕ ИЗВОЛЮ, — звонким, чистым голосом ответил Матиуш.

Второй раз ударил жезл по полу. Музыка клавишинов обрывается. Все придворные замирают в позах, в каких их застал удар жезла.

— ВТОРОЙ ПРИДВОРНЫЙ ПИРУЭТ! — командует Министр Церемоний.

Бьют барабаны. Слышны только они. Маршируют министры, чиновники, генералы. И дамы тоже шагают, как солдаты.

— ВИВАТ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! ВИВАТ! — бряцая шпорами, гаркнул Военный Министр. — КРУ-ГОМ! ША-ГОМ АРШ! — командовал он сам себе и удалился.

Тянется вереница придворных.

Распахнуты двери детской. Важные лакеи в шитых золотом ливреях, двигаясь вереницей, выносят игрушки: оловянных солдатиков, барабан, воздушные шары, куклу, детские книжки. Они держат игрушки брезгливо, двумя пальцами, вытянув вперед руки. Навстречу движется другая черед лакеев, согнувшись под толстыми томами Свода Законов в черных переплетах с золотыми буквами.

— ЖИВЕЕ! ЖИВЕЕ! — стоя посреди детской, покрикивает горбатый Министр скрипучим голосом.

Тома Свода Законов громоздятся все выше, вытесняя свет из детской, делая ее все темнее.

Вбежал Матиуш, всплеснул руками и сквозь слезы крикнул:

— КАК ВЫ СМЕЕТЕ? ЧЕМ ЖЕ Я БУДУ ИГРАТЬ?!

Замерли лакеи. Висит в воздухе красавица кукла, схваченная за золотую косу лакейской рукой. Висит игрушечный солдат, поседевший в сражениях. Висит слон без одной ноги. Висят, чуть покачиваются.

— ВЫ НЕ СОСКУЧИТЕСЬ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, — скрипит горбатый Министр, изогнувшись так, что сизый нос его чуть



ли не касается пола. — ЗДЕСЬ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ. ВОТ В ЭТОМ ТОМЕ ГОВОРИТСЯ, КАК МОЖНО НАКАЗЫВАТЬ. А В ЭТОМ — КАК КАЗНИТЬ, — САМАЯ ЛУЧШАЯ ИГРА, А В ЭТОМ — КАК ПЫТАТЬ. А В ЭТОМ...

Матиуш быстро нагнулся, поднял забытого лакеями своего любимого паяца и спрятал его за спину.

Горбатый Министр сделал знак рукой, и вереницы лакеев снова пришли в движение.

Грустно плывут в воздухе, навсегда покидая детскую, игрушки. Матиуш провожает их взглядом.

Горбатый министр исчез вслед за лакеями.

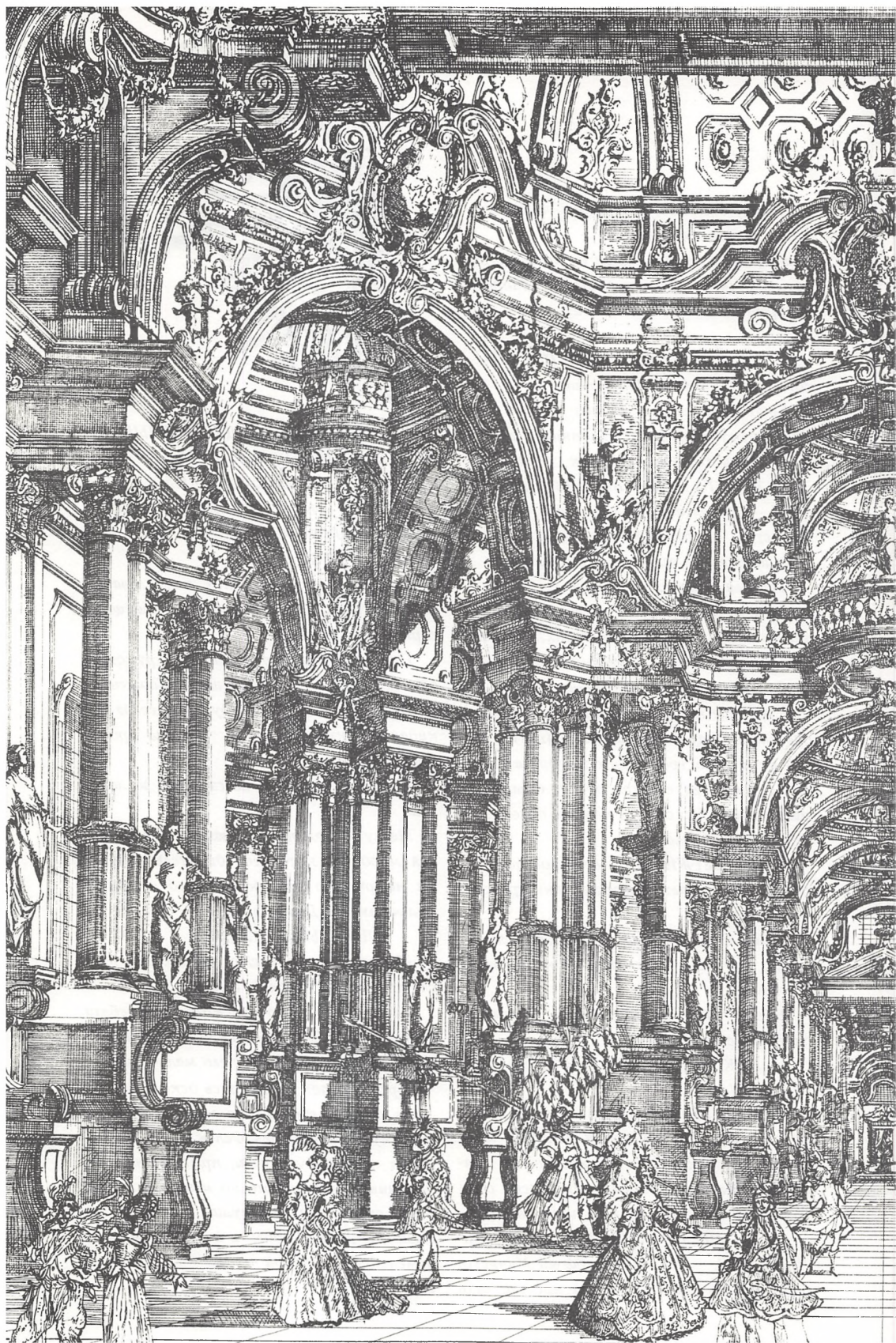
Матиуш взглянул на паяца, улыбающуюся мордочка которого удивительно похожа на рыжего Шимека, самого озорного мальчишку из Дома Сирот.

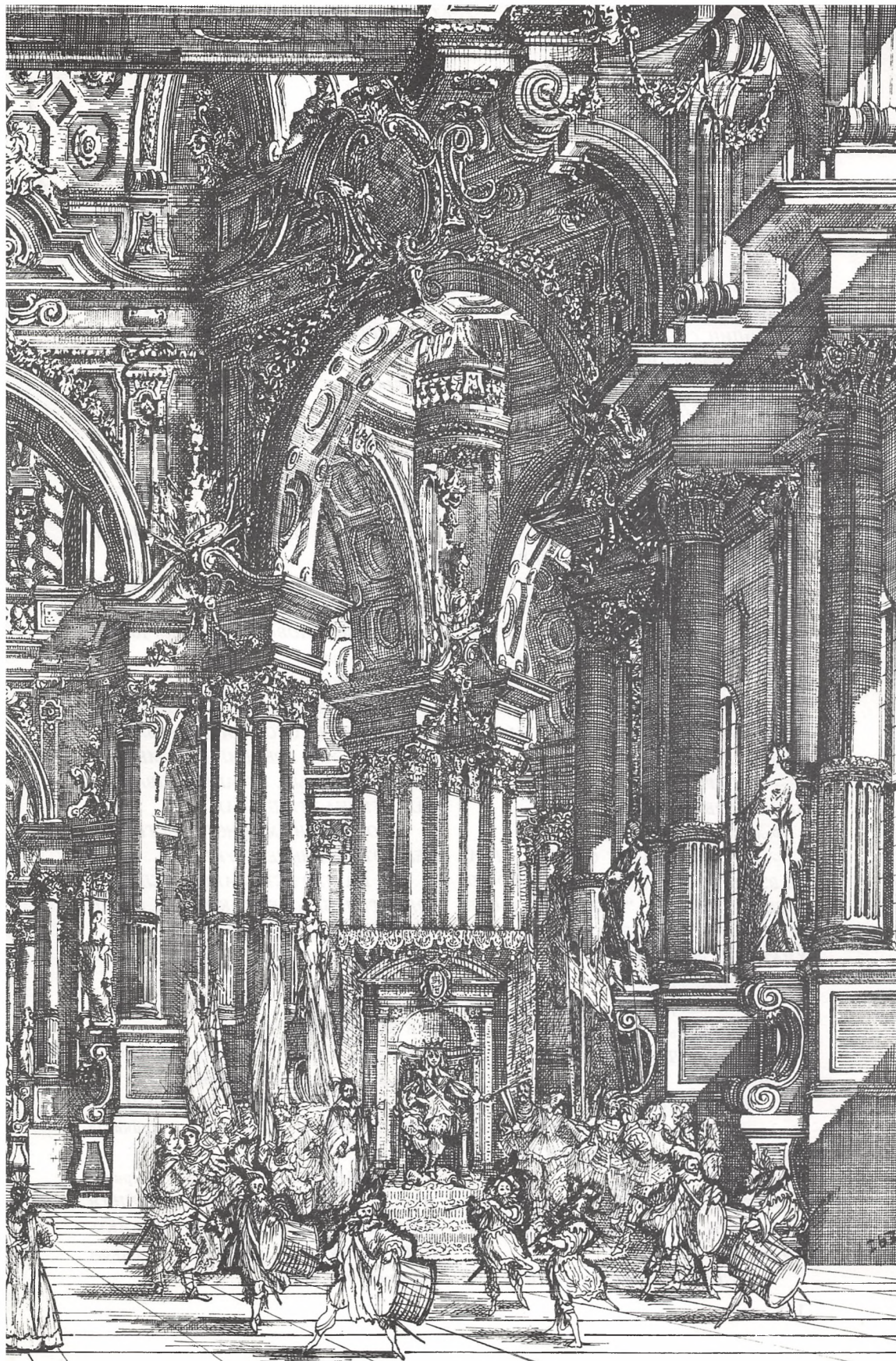
— ОДИН ТЫ ОСТАЛСЯ...

Матиуш с тоской смотрит в окно, прислушивается к детским голосам.

За решеткой королевского сада ребята играют в футбол. Быстрее всех бегают вихрастый Фелек. Так зовут его мальчишки.

Р-раз! На пол посыпались осколки стекла: в окно влетел футбольный мяч. В ту же секунду показался Фелек. Он вскарабкался по стволу дерева, прыгнул на подоконник и, одновременно испуганно и весело, смотрит на Матиуша. Фелек — это Казик из Дома Сирот; и в сказке он мало изменился, такой же вихрастый, шумливый.





— Я ТЕБЯ ЗНАЮ, ФЕЛЕК! — сказал король.

— И Я ВАС ЗНАЮ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ГНЕВАЙТЕСЬ И ПАСАНИТЕ МЯЧИК. РЕБЯТА ЖДУТ. СЧЕТ ДВА — ОДИН, СТО ТЫСЯЧ ЧЕРТЕЙ!

Матиуш поднял мяч и подошел к окну.

— СЛУШАЙ, ФЕЛЕК, — пожаловался Матиуш, — Я ОЧЕНЬ НЕСЧАСТНЫЙ КОРОЛЬ. СЧИТАЕТСЯ, БУДТО Я УПРАВЛЯЮ ГОСУДАРСТВОМ, А ВЕДЬ Я ДЕЛАЮ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРИКАЗЫВАЮТ. А ПРИКАЗЫВАЮТ МНЕ САМЫЕ СКУЧНЫЕ ВЕЩИ И ЗАПРЕЩАЮТ ВСЕ, ЧТО ПРИЯТНО.

— А КТО ЖЕ ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ЗАПРЕЩАЕТ, ХОЛЕРА ИХ ЗАБЕРИ?

— МИНИСТРЫ! КОГДА БЫЛ ЖИВ ПАПА, Я ДЕЛАЛ ТО, ЧТО ПРИКАЗЫВАЛ ОН.

— НУ ДА, ТОГДА ТЫ БЫЛ КОРОЛЕВСКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ, НАСЛЕДНИКОМ ТРОНА, А ПАПА ТВОЙ БЫЛ КОРОЛЕВСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ, КОРОЛЕМ, НО ТЕПЕРЬ...

— ТЕПЕРЬ В СТО РАЗ ХУЖЕ. ЭТИХ МИНИСТРОВ ЦЕЛЫЙ ПОЛК!

Фелек задумался.

— С МЕНЯ ХВАТИТ ОДНОГО ОТЦА. ОН ВЗВОДНЫЙ, И РАЗГОВОР У НЕГО КОРОТКИЙ. ЧУТЬ ЧТО: "КОЖУ С ТЕБЯ СДЕРУ, ДВОРНЯГА ТЫ ЭТАКИЙ", ДА КАК ХВАТАНЕТ РЕМНЕМ!

— ФЕЛЕК, ФЕЛЕК! — зовут с улицы.

Фелек сделал ребятам знак рукой и, снова повернувшись к Матиушу, предложил: — ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ПОЙДЕМ ПОГОНЯЕМ, А?!

— НЕ МОГУ, ФЕЛЕК! — грустно сказал Матиуш. — Я ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ВАЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ.

— БУДЬ Я КОРОЛЕМ, Я БЫ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БЫЛ ДОЛЖЕН. ЧТО ХОЧУ, ТО И ДЕЛАЮ, И БАСТА.

— НЕ ПОНИМАЕШЬ ТЫ, ФЕЛЕК, КАК

ТРУДНО БЫТЬ КОРОЛЕМ, — вздохнул Матиуш.

Фелек пожал плечами.

— Я БЫ СКАЗАЛ ЭТИМ ПУЗАТЫМ: "ХВАТИТ БРЕХНИ, К ДЬЯВОЛУ, СТО ТЫСЯЧ ЧЕРТЕЙ, НЕ СОГЛАСЕН!"

Матиуш на троне, а министры за длинным столом.

— ГОСПОДИН СТАРШИЙ МИНИСТР ЦЕРЕМОНИЙ, — сказал Матиуш, — ХВАТИТ БРЕХНИ, К ДЬЯВОЛУ, СТО ТЫСЯЧ ЧЕРТЕЙ, Я НЕ СОГЛАСЕН!

— ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЭТИКЕТ ВЕЛИТ...

— ХВАТИТ, НЕ СОГЛАСЕН, И БАСТА, Я КОРОЛЬ!

— ПРОШУ СЛОВА, — отозвался тонкий Министр Юстиции.

— ТОЛЬКО ПОКОРОЧЕ.

— ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЕТ ОБОЙТИ ЗАКОН. Я ГОТОВ НАЗВАТЬ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ЭТО ПРЕДВИДИТ. ИМЕЕТСЯ ПАРАГРАФ 105-ЫЙ, СТРАНИЦА ДВАДЦАТАЯ, СТРОКА ТРИДЦАТАЯ...

— ГОСПОДИН МИНИСТР ЮСТИЦИИ, МЕНЯ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.

— И НА ЭТО ЕСТЬ ЗАКОН. ЕСЛИ КОРОЛЬ ПРЕНЕБРЕГАЕТ ЗАКОНАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПАРАГРАФ 777555...

— ПЕРЕСТАНЫТЕ, ХОЛЕРА ВАС ЗАБЕРИ!

— И О ХОЛЕРЕ ЕСТЬ ЗАКОН. В СЛУЧАЕ ЭПИДЕМИИ ХОЛЕРЫ...

Потеряв терпение, Матиуш хлопнул в ладоши. В зал вошли солдаты.

— АРЕСТУЙТЕ ЭТИХ ГОСПОД И ОТВЕДИТЕ ИХ В ТЮРЬМУ! — приказал Матиуш.

— И НА ЭТО ЕСТЬ ЗАКОН! — вскричал Министр. — ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА... ОЙ, ЭТО УЖЕ БЕЗЗАКОНИЕ! — крикнул он, когда солдат штыком ткнул его под ребро.

Министров, белых как мел, увели.

Воцарилась гробовая тишина. Матиуш остался один. Он ходит по залу. И каждый раз, проходя мимо зеркала, смотрится в него, скрестив руки на груди, и думает: "Я немного похож на Наполеона".

— НЕХОРОШО ПОЛУЧИЛОСЬ, ФЕЛЕК, ОНИ В ТЮРЬМЕ.

— ПУСКАЙ, ЕСЛИ ТАКОВА ВОЛЯ ВАШЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

— А СКОЛЬКО НЕПОДПИСАННЫХ БУМАГ! И ЕСЛИ Я ИХ НЕ ПОДПИШУ, НЕ БУДЕТ НИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, НИ ФАБРИК, НИЧЕГО!

— ТОГДА ПОДПИШИ.

— ПОГОДИ, СЛУШАЙ! Я ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. ДАЖЕ СТАРЫЕ КОРОЛИ НЕ МОГУТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МИНИСТРОВ!

— ТОГДА ВЫПУСТИ ПУЗАТЫХ, ХОЛЕРА ИХ ЗАДЕРИ.

Министров ввели в зал заседаний. Стража с обнаженными саблями заняла свои места.

— ГОСПОДА, — сказал Матиуш, — Я ДОЛГО ДУМАЛ И СОСТАВИЛ ТАКОЙ ПЛАН. ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ, А Я СТАНУ КОРОЛЕМ ДЕТЕЙ. И САМ БУДУ ДЕЛАТЬ, ЧТО ЗАХОЧУ. ОСТАЛЬНОЕ ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ ПОСТАРОМУ.

Матиуш встал, тюремная стража подняла сабли.

— ВЫ СОГЛАСНЫ, ГОСПОДА? — в глубокой тишине громко и отчетливо спросил Матиуш.

Министры молча склонили головы.

— ВЫ СВОБОДНЫ.

Министры ушли. В зале остались Матиуш и ученый профессор.

— ПРОФЕССОР, МИЛЫЙ ПРОФЕССОР, ПРАВИЛЬНО Я ПРОСТИЛ ЭТИХ ТОЛСТЫХ ОБЖОР?

— ВСЕГДА ЛУЧШЕ ПРОСТИТЬ, ЧЕМ НАКАЗАТЬ, — задумчиво ответил профессор. — ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ДЕТИ ПОЧЕМУ-ТО ЗАБЫВАЮТ, КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ. ПРОСТИТЬ... ПРОСТИТЬ...

Столовая в Доме Сирот. На столах тарелки с жидкой похлебкой. Ребята обедают. Тишина. Слышно, как стучат ложки.

Корчак оперся локтем на стол. Ладонью поддерживая голову, он говорит: — ИМПЕРАТОР ТИТ ПРИКАЗАЛ СЖЕЧЬ ВСЕ КНИГИ, КНИГИ БЫЛИ СОЖЖЕНЫ, НО РАССКАЗЫВАЮТ, БУКВЫ СНОВА СОБИРАЛИСЬ И СЛОВА ОЖИВАЛИ, ЗАГОРАЛИСЬ НА СТЕНАХ... В НЕБЕ... В СЕРДЦЕ...

— И СЕЙЧАС СЖИГАЮТ КНИГИ, — сказал Янек.

— ДА... СЕЙЧАС ТОЖЕ, — кивнул Корчак.

Ребята едят. Корчак подошел к окну.

За окном ходит часовой.

— ЭТО ПРАВДА, ПРО СЛОВА? — спросила Хана. — ВСЕ СЛОВА ТАК... ОЖИВАЛИ?

— НЕТ, — ответил Корчак, — ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ.

— КАКИЕ?

— САМА ПОДУМАЙ.

— МАМА... — сказала Хана, нахмутив лоб.

— ЛЮБОВЬ... — сказала Анелька.

— ХЛЕБ... — сказал Бенюся.

Вдруг Янек, протянув руку к окну, восторженно закричал:

— ПАН ДОКТОР! РЕБЯТА! СМОТРИТЕ! СНЕГ! ПЕРВЫЙ СНЕГ!



Все дети и Корчак бросились к окнам.
В воздухе, пронизанном солнцем, реют крупные снежинки.
Ребята приникли к стеклам. Смотрят...

В синем воздухе реют крупные снежинки...

В королевском саду играют мальчики, среди них Матиуш и Фелек. Построили снежную крепость и разделились на две партии. Матиуш, в короткой меховой курточке, защищает крепость. Никто не узнал бы короля. Он весь в снегу, потому что несколько раз падал и получил не один снежок в спину, в голову, в лицо. Защищается он яростно.

Шум поднялся такой, что выбежали лакеи. Заметили Матиуша и ушли.

— ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ Я СЛУЖУ КОРОЛЕВСКИМ ПОВАРОМ, А ТАКОГО НЕ ПОМНЮ, — сказал повар поваренку, похожему на маленького Бенюся. И увидев, что поваренок не слушает его, а смотрит с завистью на играющих, скомандовал: — МАРШ НА КУХНЮ!

— СТОЙТЕ! — закричал Матиуш. — СТОЙТЕ, ДАВАЙТЕ КАТАТЬСЯ НА САНЯХ.

Конюхи запрягли пони.

— ПРАВИТЬ БУДЕМ САМИ, — решил Матиуш и повернулся к ребятам. — НАПЕ-

РЕГОНКИ! КТО ПЕРВЫЙ ОБЪЕДЕТ ВОКРУГ ПАРКА.

— УРА! — закричали мальчишки. И началось...

Но только сделали полкруга, Матиуш увидел Старшего Министра Церемоний: толстяк бежал по аллее и махал руками.

— ЗА МНОЙ, — вздохнул опечалившийся Матиуш.

— ПРОСТИТЕ, ТЫСЯЧУ РАЗ ПРОСТИТЕ, ВАШЕ КОРОЛЕВСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. МНЕ КРАЙНЕ НЕПРИЯТНО, НО Я ВЫНУЖДЕН ПРЕРВАТЬ ИГРУ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

— ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

— ПРИЕХАЛ ПОСОЛ ГРУСТНОГО КОРОЛЯ. А ЭТИКЕТ...

— ЗНАЮ, — Матиуш махнул рукой.

Матиуш на троне.

Справа — Министр Церемоний, слева — Ученый профессор. Посол с красивым и печальным лицом протянул Старшему Министру свернутое в трубочку и перевязанное ленточкой с печатью послание.

Старший Министр передал его профессору. Профессор читает и переводит:

— ИХ ВЕЛИЧЕСТВО ГРУСТНЫЙ КОРОЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ПРИЕХАТЬ К НЕМУ В КОРОЛЕВСТВО И БЫТЬ ЕГО ГОСТЕМ!

— ОЙ, — воскликнул Матиуш, захлопав в ладоши, — КОНЕЧНО, ПРИЕДУ, БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ Я ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ХОДИТЬ В ГОСТИ И... И ЕЩЕ ИГРАТЬ, — добавил Матиуш, взглянув в окно.

Ребята вылепили снежную бабу и ведут вокруг нее хоровод:

БОЧКА СЕНА,
ОХАПКА ВОДЫ,
ОКОРОК КАПУСТЫ,
КОЧАН ВЕТЧИНЫ.

Посол поклонился и сказал:

— ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ МАТИ-

УШ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО НЕ ПОЖАЛЕЕТ. МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ЕМУ БЫЛО ХОРОШО И... ВЕСЕЛО, — грустно добавил посол.

У грустного короля и правда было весело. Сам король стоял у кинопроектора и крутил ручку. Сейчас видно, как он похож на Старого Доктора, хотя на голове у него корона, а на глазах нет очков.

Матиуш и внуки короля сидели, щелкали орехи, смотрели на экран и смеялись.

Очень длинный и худой пианист сопровождал картину своей игрой. А на экране происходило вот что:

Добрый художник нарисовал себе доченьку Ежиньку, ему очень хотелось иметь дочку. И нарисовал море, спокойное, тихое, голубое. И нарисовал лодочку — спичечную коробку с парусом из дубового листа, чтобы Ежинька каталась в лодочке и не скучала. И нарисовал остров. И нарисовал три пальмы. Вот так. Одну пальму — пирожную, вторую — мороженую, а третью — изгрушечную, на которой росли и мячи, и куклы, и детские коньки — все, что угодно.

А сам ушел по делам.

Злой художник пробрался в комнату, схватил серый карандаш и на другом конце острова нарисовал пять воинов людоедов-людогрызов. И еще нарисовал невидимое чудовище Пятирог и тоже ушел. Пятирог наклонил голову, раскрыл пасть, наострил свои пять рогов. Вот-вот растопчет и съест Ежиньку.

Но она не испугалась: она была храбрая. Влезла она на самую вершину пирожной пальмы, повисла на вершине так, что пальма согнулась, как лук. А потом соскочила на землю. Торты всякие: земляничные, кремовые, цукатные — полетели в Пятирог и попали ему прямо в пасть. А Пятирог был хотя и чудовище, но сластена. Видите — он виляет хвостиком, просит еще. И побежали

тогда злые воины в атаку. Но Ежинька и их не испугалась. Вскарабкалась она на мороженую пальму. Согнулась, потом распрямилась пальма, и тысячи порций мороженого — ванильного, лимонного, крем-брюле — обрушились на злых воинов. И замерзли злые воины. И сделался там, где они стояли, каток.

Ежинька побежала к пальме с игрушками, сняла с нее коньки, одела себе и Пятирогу. И давай кататься! Ежинька с Пятирогом катаются на коньках. Пятирог упал, заплакал — было больно! Но лизнул лед и заулыбался: лед ведь сладкий, из самого лучшего мороженого.

Было очень весело, все смеялись. А грустный король сел на трон и заиграл на флейте. И так он грустно играл, что все время хотелось вздыхать.

— ПОЧЕМУ ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ИГРАЕТ ТАК ГРУСТНО? — спросил Матиуш.

— ЖИЗНЬ НЕВЕСЕЛАЯ, ДРУГ МОЙ, А УЖ, ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ПЕЧАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ У КОРОЛЯ.

— У КО-РО-ЛЯ?

Грустный король поманил Матиуша пальцем и зашептал ему на ухо:

— ДОРОГОЙ МАТИУШ, ТОЛЬКО ПРИ ГОСТЯХ ПРИХОДИТСЯ ПРИТВОРЯТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ ОБЫЧАЙ, ТАК ВЕЛИТ ЭТИКЕТ... ВОТ ГДЕ МНЕ БЫЛО ХОРОШО — ТАК ЭТО В АФРИКЕ У МОЕГО ДРУГА КОРОЛЯ БУМ-ДРУМА. А ДОМА...

Грустный король и Матиуш едут в длинной черной машине по главной улице столицы. Жители их приветствуют. Показалось громадное и красивое здание.

— ЧТО ЭТО? — спросил Матиуш.

— ПАРЛАМЕНТ, — ответил Грустный король. — ЗАЙДЕМ?

Внутри парламент напоминал театр или храм. В креслах — депутаты: одни сердитые и важные, другие — веселые. На возвышении сидел председатель парламента в длин-

ной мантии; министры занимали главную ложу.

Когда Матиуш и Грустный король вошли в зал, один депутат, стоя на кафедре, говорил, обращаясь к министрам:

— МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ! ЕСЛИ ВЫ НАС НЕ ПОСЛУШАЕТЕ, МЫ ВАС ПРОГОНИМ! НАМ НАДОЕЛИ МИНИСТРЫ-ДУРАКИ!..

"ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО!.." "СТЫДИТЕСЬ!.." — перебивая друг друга, выкрикивали депутаты. А один из них, высокий и толстый, вскочил со своего места и заорал во весь голос:

— ДОЛОЙ КОРОЛЯ!

Поднялся страшный шум. Депутаты кричали и стучали кулаками.

Матиуш и Грустный король снова в машине.

— А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МИНИСТРОВ ПРОГОНЯТ? — спросил Матиуш.

— ВЫБЕРУТ ДРУГИХ.

— А КТО ЭТО КРИЧАЛ: "ДОЛОЙ КОРОЛЯ"?

— ОДИН ДЕПУТАТ. ОН ВСЕГДА ТАК КРИЧИТ.

— ОН СУМАСШЕДШИЙ?

— НЕТ. ПРОСТО НЕ ЛЮБИТ КОРОЛЕЙ.

— А РАЗВЕ МОГУТ ПРОГНАТЬ КОРОЛЯ?

— КОНЕЧНО.

— ЧТО ЖЕ ТОГДА БУДЕТ?

— ВЫБЕРУТ ДРУГОГО.

Долго этой ночью Матиуш ворочался с боку на бок и в ушах его звучала печальная мелодия, которую играл король. А вот и он сам потихоньку вошел в спальню.

— НЕ СПИШЬ, СЫНОК?

— НЕТ, ВСЕ ДУМАЮ, САМ НЕ ЗНАЮ О ЧЕМ.

— ЗНАЧИТ, И У МАЛЕНЬКИХ КОРОЛЕЙ МЫСЛИ ПРОГОНЯЮТ СОН? — с улыбкой спросил король, садясь возле кровати.

— А ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КОРОЛИ? — спросил Матиуш, который сразу почувствовал доверие к Грустному королю.

— ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НОСИТЬ КОРОНУ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАТЬ СЧАСТЬЕ СВОИМ ПОДДАННЫМ. ЭТО ТРУДНО, СЫНОК, ОХ, КАК ТРУДНО ВВЕСТИ УМНЫЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ, — задумчиво сказал Грустный Король. — ЧАСТО МЫ САМИ СОЧИНЯЕМ ЖЕСТОКИЕ ЗАКОНЫ, А ПОТОМ ДОЛЖНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ ИМ!

— А РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ?

— КОНЕЧНО, МОЖНО! ДАЖЕ НУЖНО. ТЫ МОЛОД, МАТИУШ, УЧИСЬ И ВВЕДИ В СВОЕЙ СТРАНЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ...

Король положил руку Матиуша к себе на ладонь, как бы сравнивая свою большую руку с его маленькой, погладил голову Матиуша, нагнулся и поцеловал его.

Матиуш обрадовался и смутился, а король, словно не замечая этого, тихо говорил:

— ЗНАЕШЬ, МАТИУШ, МЫ ПЛОХО ДЕЛАЛИ, ЧТО ПРОВОДИЛИ РЕФОРМЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. ПОПРОБУЙ ТЫ С ДЕТЬМИ, ОТКУДА ВОЗЬМУТСЯ ЖЕСТО-



КИЕ ВЗРОСЛЫЕ, ЕСЛИ ВСЕМ ДЕТЯМ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ХОРОШО? ЕСЛИ НЕ ОСТАНЕТСЯ ГОЛОДНЫХ, НЕСЧАСТНЫХ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ ДЕТЕЙ, ТОГДА, МОЖЕТ БЫТЬ... — он замолчал и долго смотрел на Матиуша.

И Матиуш вспомнил, что часто вот так же смотрел на него отец. И ему было хорошо на душе.

— ПОРА СПАТЬ, ДИТЯ МОЕ, — сказал король. — СПОКОЙНОЙ НОЧИ! — и он удалился, играя на флейте.

Флейта играла так печально, будто плакала, будто предвещала несчастье.

Фотографии гетто:

Седой старик играет на скрипке, мальчик держит перед ним раскрытые ноты.

Люди останавливаются и слушают.

Голос Корчака:

— КТО-ТО ГДЕ-ТО ЗЛОБНО ЗАМЕТИЛ, ЧТО МИР — ЭТО КОМОЧЕК ГРЯЗИ, ПЛАВАЮЩИЙ В БЕСКОНЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, А ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ СДЕЛАЛО КАРЬЕРУ. МОЖНО И ТАК, ТОЛЬКО ОДНО ДОПОЛНЕНИЕ: ЭТОМУ КОМОЧКУ ГРЯЗИ ЗНАКОМО СТРАДАНИЕ, ОН УМЕЕТ ЛЮБИТЬ И ПОЛОН ТОСКИ.

Босой мальчик лет восьми — маленький старичок, просит милостыню.

Ветхая старуха в коляске, голова ее поникла. Эсэсовец стеком уперся в подбородок старухи и запрокинул голову.

Мужчина с поднятыми руками: в одной руке зонтик, в другой — шляпа. Его обыскивают. Лицо, обреченное бородкой.

Смеющиеся эсэсовцы — их трое. Это странный смех палачей, делающий все лица такими похожими.

Голос Корчака:

— А КАРЬЕРА ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ПОДУМАТЬ КАК СЛЕДУЕТ, — СОМНИТЕЛЬНА, ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНА.

В детской коляске — книги. За коляской стоит мальчик, тщетно ожидая покупателей.

Старик с седой бородой развернул толстый том и беззвучно шевелит губами.

Голос Корчака:

— В БИБЛИИ СКАЗАНО: "ЮНОШЕСКОЕ ВРЕМЯ МИРА УЖЕ ПРОШЛО, И ЛУЧШАЯ ПОРА ТВОРЕНИЙ УЖЕ ПРОШЛА, УЖЕ МИНОВАЛА..." ЧТО ЖЕ В КОНЦЕ?

Все время еле слышно звучит еврейская свадебная мелодия — одновременно и грустная и веселая, самозабвенно веселая.

Голос Корчака:

— В КОНЦЕ — РЕБЕНОК!

Чердачная комната со скошенным потолком. Она вся заставлена: две койки — на одной из них худенькая девочка с длинной русой косой, та, что в сказке была Марыской; стол, заваленный бумагами, перед столом кресло.

Рядом с кроватью, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок, стоит плечистый кудлатый парень.

Девочка говорит обидчиво, быстро:

— А КТО СИЛЬНЕЕ — ЛЕВ ИЛИ СЛОН? КРАСНУЮ ЛЕНТОЧКУ КОМУ ЛУЧШЕ — СОБАКЕ ИЛИ КОШКЕ? А ШИМЕК МОЖЕТ НА ГОЛОВЕ СТОЯТЬ. А...

Парень усмехнулся, подпрыгнул и пошел на руках.

Девочка засмеялась.

Вошел Корчак. Парень встал на ноги и, несколько смущенный, подошел к доктору.

Спросил:

— НЕ УЗНАЕТЕ, ПАН ДОКТОР?

Корчак смотрит на него.

Юноша вынул из кармана пакет, завернутый в тряпку. Развернул. Протянул Корчаку выцветшую фотографию.

На снимке футбольное поле. Перед воротами мальчик с круглым улыбающимся лицом; он только что ударил по мячу. В воротах неловко, наклонив вперед лысую голову, раскинув руки, как наседка крылья, Корчак.

Но мяч уже в сетке.

— ХМ... С ОФСАЙДА! — бормочет Корчак.

Фотография на экране. Слышен голос юноши.

— ЭТО ЖЕ Я!.. ЧЕСТНОЕ СЛОВО, — ладонь юноши легла на фотографию.

— МОТЕЛЕ-КОЛОБОК?

Корчак снял очки, смотрит на гостя, рассеянно протирая стекла.

— А ГОВОРИЛИ, ТЫ БЕЖАЛ... К ПАРТИЗАНАМ?

— БЕЖАЛ И ВЕРНУЛСЯ.

— СЮДА? ЗАЧЕМ?

— ЗА ВАМИ.

Парень достал из кармана два картонных пропуска. Быстро, почти скороговоркой проговорил:

– ЭТО НА ИМЯ ВОДОПРОВОДЧИКА. А ЭТОТ – МАСТЕРУ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ. НА БЕЛЯНАХ УЖЕ И КОМНАТУ СНЯЛИ...

Корчак встал, подошел к девочке. Та качает тряпичную куклу. Доктор сбил ртуть в термометре, сунул девочке под мышку, сказал:

– ДЕРЖИ КРЕПЧЕ, МАНЮШКА.

– ВЫ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ТАМ, ДОКТОР, – сказал парень.

– ПИТЬ ХОЧУ! – попросила девочка.

Корчак налил воды в стакан. Девочка пьет.

– КОГДА ДОМА ДЕТИ, ИЗ ДОМА НЕ УХОДЯТ, – и Корчак пожал плечами.

Парень неловко вертит в руках пропуск.

Пробираясь между койками, Корчак подошел к столу. Близоруко наклонившись над рукописями, сказал:

– ЕСЛИ БЫ ТЫ ЭТО УНЕС... ВСЕ-ТАКИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИЗМЕРЕНИЙ РОСТА И ВЕСА РЕБЯТ. УДИВИТЕЛЬНОЙШАЯ РАБОТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОСТА...

Лицо у Корчака оживленное, почти веселое. Укладывая бумаги в вещевой мешок, юноша говорит:

– Я ИНОГДА И ВО СНЕ ВИЖУ – И ДОМ, И ВАС, А ЧАЩЕ ПАНИ СТЕФУ. БЕЗ ВАС Я, ПОЖАЛУЙ, И НЕ УЗНАЛ БЫ, ПОЧЕМУ ЭТОТ СВЕТ НАЗЫВАЮТ БЕЛЫМ.

Корчак взял из рук девочки термометр. Бормочет:

– БЕЛЫЙ СВЕТ... ЧЕРНЫЙ СВЕТ... ТРИДЦАТЬ СЕМЬ И ШЕСТЬ. ВЫПОЛЗАЕМ, МАНЮША... НУ, ДО СВИДАНИЯ (это он прощается с юношей). СЧАСТЛИВО!

– ДО СВИДАНИЯ, ДОКТОР, – сказал парень. – ДО СВИДАНИЯ, МАНЮШКА, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ.

– ТЫ ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ? – спросила девочка.

– ОЧЕНЬ! – ответил парень.

– И Я...

Резко хлопнула дверь. Слышны удаляющиеся шаги. Корчак наклонился вперед, напряженно прислушиваясь. Потом забормотал быстро, сбивчиво и невнятно:

– СВОБОДА... НА БЕЛЯНАХ... НАБЕРЕЖНАЯ БУКИНИСТОВ... ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЧЕПУХА.

Лицо его побледнело, на лбу выступили капли пота; он расстегнул воротник рубашки, будто ему душно. Сел в кресло у стола. Смотрит на девочку.

Голос Корчака:

– НАСТЬКА РАССКАЗАЛА МНЕ О СЛЕПОМ ЕВРЕЕ, КОТОРЫЙ ОСТАЛСЯ В ГОРОДЕ, ОТКУДА ВСЕ СБЕЖАЛИ – ЧТОБЫ ОХРАНЯТЬ СИНАГОГУ. Я – ЭТОТ СЛЕПОЙ ЕВРЕЙ, И Я – НАСТЬКА.

Девочка все еще укачивает свою тряпичную куклу. Что-то тихо напевает.

Матиуш на троне.

Вереницей через тронный зал движутся министры, фабриканты, разукрашенные придворные дамы, генералы. Слышатся звуки

клавесина, исполняющего нечто вроде менуэта. Все – и генералы, и министры под эту мелодию исполняют на церемонного танца. Матиуш поднялся, и музыка оборвалась.

— С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, ГОСПОДА, Я НАЗЫВАЮСЬ КОРОЛЕМ МАТИУШЕМ РЕФОРМАТОРОМ, — громким звонким голосом сказал Матиуш.

Министры молча переглянулись.

— И ВОТ МОЯ ПЕРВАЯ РЕФОРМА, — продолжает король. — ПУСТЬ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ БУДЕТ КИНЕМАТОГРАФ И ФУТБОЛ — РАЗ, И ПУСТЬ ЗАВТРА КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ПОЛУЧИТ ФУНТ ШОКОЛАДА.

— СЛИШКОМ МНОГО, — возразил Старший Министр. — САМОЕ БОЛЬШЕЕ ЧЕТВЕРТЬ ФУНТА.

— ХОРОШО, ПУСТЬ ЧЕТВЕРТЬ ФУНТА.

— В ГОСУДАРСТВЕ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ШКОЛЬНИКОВ, — сказал Министр Просвещения. — ЕСЛИ ШОКОЛАД ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ШАЛОПАИ И ЛОДЫРИ...

— ВСЕ, — вскричал Матиуш, — ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! ПОВЕЛЕВАЮ ЗАВТРА ЖЕ ОБЪЯВИТЬ ОБ ЭТОМ В ГАЗЕТАХ!

Наступил день раздачи шоколада. Дети вышли из школ и выстроились в два ряда вдоль всех улиц. Празднично украшенные грузовики с шоколадом медленно двигались между шеренгами детей. Солдаты раздавали шоколад.

Матиуш ехал в машине, а дети ели шоколад, смеялись и кричали:

— ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ КОРОЛЬ!

Матиуш стоял в машине и посылал им воздушные поцелуи.

Дом Сирот.

Дети рисуют. Невиданные деревья, пальмы, цветы. И все это зеленое, живое. Зеленый домик вырос на ветке дерева, летит зеленая бабочка.

Голос Корчака:

— ЕСЛИ Я СМОТРЮ НА ДЕРЕВО, ПОЛУЧАЕТСЯ КАК БЫ ДВА ДЕРЕВА, ОДНО НА САМОМ ДЕЛЕ, А ДРУГОЕ У МЕНЯ В ГЛАЗАХ, В ГОЛОВЕ, В МЫСЛЯХ...

Корчак ходит вдоль стола, заглядывая в рисунки детей. Голос Корчака:

— Я УХОЖУ И ЗАБЫВАЮ О ДЕРЕВЕ, А ПОТОМ ОПЯТЬ УВИДЕЛ — УЗНАЛ, ВСПОМНИЛ. ЗНАЧИТ, ДЕРЕВО КАК БЫ ПРЯТАЛОСЬ В МОИХ МЫСЛЯХ.

— Я ВАШ ДРУГ! — кричал он.

Вдруг машина затормозила и к Старшему Министру, который сидел рядом с Матиушем, подбежал Министр Внутренних Дел и что-то зашептал ему на ухо.

Машина круто свернула в переулок.

— ЛУЧШЕ ПО КРАСИВЫМ УЛИЦАМ! — воскликнул Матиуш.

— ТАМ ШЕСТВИЕ РАБОЧИХ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО.

— НУ И ЧТО ЖЕ? ПОСМОТРИМ. МНЕ ИНТЕРЕСНО.

— НЕ НАДО! СЕГОДНЯ У РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА ПРАЗДНИК, — сказав это, Старший Министр неприятно скривился.

И вдруг Матиуш увидел шествие. Рабочие шли с красными знаменами и пели.

— ПОЧЕМУ У НИХ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА?

— РАБОЧИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО КРАСНОЕ ЗНАМЯ — ЭТО ЗНАМЯ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕХ СТРАН.

Матиуш задумался.

— А МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА — У БЕЛЫХ, ЧЕРНЫХ И ЖЕЛТЫХ — ТОЖЕ БЫЛО ОБЩЕЕ ЗНАМЯ?

— МОЖНО, — сказал Старший Министр и снова неприятно скривился.

Матиуш вспомнил зеленый лес, зеленую лужайку в деревне и сказал:

— ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ БЫЛО ЗЕЛЕНое ЗНАМЯ. ВЕДЬ ДЕТИ ЛЮБЯТ ЛЕС, А ЛЕС ЗЕЛЕНый.

Дети сосредоточенно рисуют, склонившись над столом.

В комнату вбегает пани Стефа. Она очень взволнована, но, пересилив себя, внешне спокойно подходит к Корчаку и шепчет на ухо:

– ВЕРНУЛСЯ ИЗ КОМЕНДАТУРЫ... ЕЛЕ ЖИВОЙ...

Дети рисуют. Зеленый мир грустно и моляще рождается на бумаге.

Маленькая комната. На голой стене выделяется фотография Зигмунда (он молодой, но его легко узнать) в форме гренадера: стоит, вытянувшись во весь свой саженный рост.

Пан Зигмунд лежит на узкой койке. Глаза его затекли, не лицо, а маска.

Корчак перевязывает его, а он говорит хрипло, возбужденно, то шепотом, то почти крича:

– ВСЕ ВРЕМЯ ПОВТОРЯЛИ: ЖИДАМ ПРОДАЛСЯ, ЖИДАМ ПРОДАЛСЯ – ПОКОЙНИК В ОТПУСКУ! ВСЕ ВЫ – ПОКОЙНИКИ В ОТПУСКУ. И ХОХОТАЛИ – КАК В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ МЯСНИК КАЗИМЕЖ. РЕЖЕТ КОРОВУ И СМЕЕТСЯ. КРОВЬ ПЬЕТ – СМЕЕТСЯ.

Вошла пани Стефа, плотно прикрыла дверь и стала, откинув голову, всем своим почти невесомым телом прислонившись к косяку.

– ОНИ КРИЧАЛИ: ИЗ ВСЕХ ВАС ТАМ ВЫТОПЯТ ЖИР! ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ПАН ДОКТОР?!

– ТИШЕ! ТИШЕ! ДЕТИ УСЛЫШАТ, – говорит доктор, перевязывая голову и лицо Зигмунда.

– ВСЕХ... ВСЕХ, – шепчет пан Зигмунд. – НЕУЖЕЛИ И ДЕТЕЙ, ПАН ДОКТОР, А?!

– НЕТ... НЕТ... – повторяет Корчак. – ВАМ БЫ ЛУЧШЕ УСНУТЬ...

Корчак укрыв Зигмунда старой шинелью, поправил подушку и пошел к двери. Остановился около пани Стефы, оглянулся. Тихо. Хрипло дышит Зигмунд: кажется, что он спит.

– ЭТО НАВАЖДЕНИЕ КОНЧИТСЯ, – сказал Корчак. – А ЕСЛИ НЕ ТАК... МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ИМ... ДЕТЯМ.

Он вышел, не договорив.

– ЗАСЫПАТЬ СО СКАЗКОЙ И... УМЕРЕТЬ СО СКАЗКОЙ, – почти беззвучно проговорила вслед ему пани Стефа.

Винтовая лестница, ведущая на чердак. Одна ступенька... другая...

Корчак шагнул к стенке и молотит по ней сжатым кулаком.

Еще раз ударил, выпрямился и поднес окровавленный кулак к лицу. Такими же механическими движениями, как бы не совсем понимая, что он делает, что с ним происходит, обмотал руку платком.

Из-под лестницы доносятся детские голоса.

Корчак прислушивается.

– Я БУДУ СТОЛЯРОМ, – говорит мальчик. – КОГДА Я ПОЕДУ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, Я САМ СДЕЛАЮ СЕБЕ СУНДУК И В ЭТОТ СУНДУК ПОЛОЖУ РАЗНЫЕ СВОИ ВЕЩИ И ОДЕЖДУ, И УЕДУ. И КУПЛЮ СЕБЕ САБЛЮ И РУЖЬЕ. ЕСЛИ НА МЕНЯ НАПАДУТ ДИКИЕ ЗВЕРИ, Я БУДУ ЗАЩИЩАТЬСЯ.

Двое – девочка и мальчик – прижались друг к другу в полутемном уголке под лестницей среди всякого хлама.

Смутно угадываются их фигурки, лица: ярко блестят глаза. Огромные темные, удлинённые глаза — девочки и совершенно круглые — мальчика.

Это Анелька и Янек.

— А ТЫ БУДЕШЬ ПИСАТЬ МНЕ? — шепотом спросила Анелька.

— ДА.

— ТОЛЬКО ПИШИ РАЗБОРЧИВЕЕ.

— ВОТ КАК БУДЕТ: КОГДА Я ВЕРНУСЬ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ, Я ЖЕНЮСЬ, ПОСОВЕТУЙ, НА КОМУ ЖЕНИТЬСЯ: НА ДОРЕ, НА ГЕЛЕ ИЛИ НА МАНЕ?

— ДОРА ГОВОРИТ, ЧТО ТЫ ЕЩЕ СОПЛЯК. МАНЯ НЕ СОГЛАСИТСЯ, ОНА ГОРДАЯ. А ГЕЛЯ НЕ ЛЮБИТ ТАКИХ.

— НУ И ПУСТЬ! — сказал Янек и вздохнул. — ХОТЯ БЫ МНЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. ТО-ТО БЫЛО БЫ СЧАСТЬЕ! КОГДА Я СТАНУ УЕЗЖАТЬ, Я СО ВСЕМИ ПОПРОЩАЮСЬ.

— И СО МНОЙ? — спросила Анелька.

— С ТОБОЙ — ОТДЕЛЬНО, — сказал он. — Я УЖЕ ЗНАЮ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ НАРОДОВ. И У МЕНЯ ЕСТЬ КНИЖКА О ПУТЕШЕСТВИЯХ, НО ТАМ НЕТ ПРО АВСТРАЛИЮ. А МНЕ ОЧЕНЬ НАДО ЗНАТЬ, КАК ВЫГЛЯДИТ АВСТРАЛИЕЦ, КАКИЕ ОНИ — АВСТРАЛИЙЦЫ.

Матиуш вложил два пальца в рот и свистнул. Резкий ответный свист. В кустах малыны что-то зашевелилось, показалась фигура длинного, вихрастого Фелека.

— СЕГОДНЯ НОЧЬЮ МЫ БЕЖИМ В АФРИКУ К БУМ-ДРУМУ. ПРИВЕЗЕМ ЛЬВОВ, ТИГРОВ, СЛОНОВ. БЕЖИМ ВМЕСТЕ, ФЕЛЕК?

— ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! ТЫСЯЧА ДЬЯВОЛОВ И ОДИН МОРСКОЙ ЗАЯЦ.

— БЬЮСЬ ОБ ЗАКЛАД, ФЕЛЕК, ЧТО ТЫ САМЫЙ СМЕЛЫЙ И ФАРТОВЫЙ ПОДДАННЫЙ.

Ночь. Светит луна.

Матиуш крадется к буфету, поднимается на носки, с трудом открывает тяжелые резные дверцы.

— ПРОГОЛОДАЛСЯ, МОЙ МАЛЬЧИК, — сказал профессор, незаметно появляясь в столовой.

— ВЫ ЗА МНОЙ СЛЕДИТЕ, — сердито проговорил Матиуш, пряча за спиной руку с кругом колбасы.

— ЧТО ВЫ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ПРО-

СТО Я ПО НОЧАМ НЕ СПЛЮ, НАБЛЮДАЮ. В ЭТУ ТРУБУ ВИДНЫ ВСЕ ЗВЕЗДЫ, ВСЕ ДВА МИЛЛИОНА ЧЕТЫРЕСТА СОРОК СЕМЬ ТЫСЯЧ ДВАДЦАТЬ ЗВЕЗД, КАКИЕ ЕСТЬ НА СВЕТЕ. ВОТ ПОД ЭТОЙ, ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ, ГОСУДАРСТВО У-РИНТО — БЕЛОГО МЕДВЕДЯ... А ЕСЛИ ПОВЕРНУТЬ ТРУБУ...

— А КАК ПОПАСТЬ В КОРОЛЕВСТВО БУМ-ДРУМА? — шепотом спрашивает Матиуш.

— НАДО ВСТАТЬ СПИНОЙ К ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ И ИДТИ, ПОТОМ ПЛЫТЬ, ПОТОМ ИДТИ ПО ПУСТЫНЕ И СМОТРЕТЬ В ТРУБУ. КАК ТОЛЬКО НАД ГОЛОВОЙ ЗАГОРИТСЯ ЮЖНЫЙ КРЕСТ — ТЫ У БУМ-ДРУМА.

— Я ПЕРЕПУТАЮ ЗВЕЗДЫ И НЕ УЗНАЮ ЮЖНЫЙ КРЕСТ. — Матиуш почти плачет. — ВЕДЬ У МЕНЯ ПО ГЕОГРАФИИ ТРОЙКА. ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ, ПАН ПРОФЕССОР?

— НО, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!.. МОЙ ДОЛГ...

— ПАН ПРОФЕССОР? ПАН ПРОФЕССОР... ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ НАС?



— ПОЕХАТЬ С ТОБОЙ, — задумчиво повторяет профессор, — ВЕДЬ Я ВСЕГДА МЕЧТАЛ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. И РАЗВЕ Я МОГУ ТЕБЯ ОСТАВИТЬ?

Слышны морские команды:

— **ФОК К ПОСТАНОВКЕ ГОТОВ! ГРОТ К ПОСТАНОВКЕ ГОТОВ... ОТДАТЬ КОНЦЫ!**

Фрегат под всеми парусами режет океанские волны. Зеленый королевский штандарт реет на мачте.

На носу корабля: Матиуш, Фелек и старый профессор. Профессор смотрит в длинную подзорную трубу. Уже близко берег Африки, таинственная страна Бум-Друма.

Зал заседаний в королевском дворце.

Все министры, кроме одного, — на своих местах. Королевский трон пуст. Растворяются двери и входит Министр Внутренних Дел. Он шагает на носках, ноги чуть согнуты, голова наклонена к полу. В вытянутой руке лупа. Остановившись против трона, он резким, пронзительным голосом выкрикивает.

— **ГОСПОДА, СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ! ПОХИЩЕН ИХ ВЕЛИЧЕСТВО, КОРОЛЬ МАТИУШ!**

Министры вскакивают с мест. Министр Внутренних Дел, поводя длинным носом, бормочет:

— **СЛЕДЫ... СЛЕДЫ... ПРИСМОТРИМСЯ И ПРИНЮХАЕМСЯ. ПРИНЮХАЕМСЯ И ПРИСМОТРИМСЯ...**

Старший Министр Церемоний звонит в колокольчик. Когда шум затихает, он говорит:

— **ЧТО ЖЕ МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ГОСПОДА, В ЭТИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ? ТОГО И ГЛЯДИ, НАРОДУЗНАЕТ... Э... О ПЕЧАЛЬНОМ ПРОИСШЕСТВИИ И ВОПРЕКИ ЭТИКЕТУ ПОДНИМЕТ ВОССТАНИЕ. ВАШЕ**

СЛОВО, ГОСПОДИН МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВЫ... Э... КАК НАИБОЛЕЕ ОБРАЗОВАННЫЙ...

Министр Просвещения, подняв правую руку с вытянутым вверх указательным пальцем, веско говорит:

— **ХМ... ХМ... Я СЧИТАЮ, ЧТО ПЕРЕД "А", "ГДЕ" И "КОТОРЫЙ" НАДО СТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ. ДА, Я УТВЕРЖДАЮ ЭТО С СОВЕРШЕННОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ.**

Министр Внутренних Дел:

— **И НАДО ПОСТРОИТЬ БОЛЬШУЮ ПРЕКРАСНУЮ ТЮРЬМУ, ГОСПОДА!**

Министр Юстиции:

— **А ГЛАВНОЕ, НЕОБХОДИМО, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРЫМ ТАЙНЫМ ПРИМЕЧАНИЕМ К СЕМНАДЦАТОЙ ТАЙНОЙ СТАТЬЕ ПЯТОГО ТОМА СВОДА ЗАКОНОВ, ВМЕСТО, ТАК СКАЗАТЬ, УТЕРЯННОГО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОДЫСКАТЬ ИЛИ ИЗГОТОВИТЬ, ТАК СКАЗАТЬ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО — ДВОЙНИКА.**

Старший Министр:

— **ДВОЙНИКА?... А ЧТО... Э... ЕСЛИ В САМОМ ДЕЛЕ...**

Африка.

На берегу, под высокими кокосовыми пальмами, Матиуш, Фелек и профессор. Матиуш и Фелек в белых тропических костюмах и пробковых шляпах. Они построили из песка крепость. Играют.

А профессор смотрит в трубу. Он видит всадников, которые мчатся на богато украшенных верблюдах.

— **СМОТРИТЕ, СМОТРИТЕ, МАЛЬЧИ-**

КИ, — говорит он, обняв за плечи Матиуша и Фелека. — ЭТО БУМ-ДРУМ! ЗНАЧИТ, ЗНАЧИТ, ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ ДОЛЕТЕЛ. А Я БОЯЛСЯ... ПТИЦАМ НАДО ВЕРИТЬ...

— УРА! — закричали Матиуш и Фелек. Матиуш прильнул к подозрительной трубе.

Праздничная кавалькада совсем близко.

Бум-Друм соскакивает с верблюда. Подходит к Матиушу и целует его, потом обменивается церемонными поклонами с Фелеком и старым профессором.

Из-за спины Бум-Друма то и дело выглядывает славное личико белозубой и курчавой принцессы КЛЮ-КЛЮ, так похожей на Анельку!

Фелек состроил ей гримасу, она в ответ высунула язык.

За Бум-Друмом стоят приближенные в звериных шкурах, накинутых на плечи. Дальше полукруг воинов с копьями и луками.

— ЛАПЕТО СУТО ГОЛО ЭРБЕРО, — говорит Бум-Друм.

— МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ, — переводит профессор. — СПАСИБО, ЧТО ТЫ ПРИЕХАЛ. РАДОСТЬ ТЕБЯ СОЗЕРЦАТЬ ДЕЛАЕТ МЕНЯ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА СВЕТЕ. ПРОШУ ТЕБЯ И УМОЛЯЮ, ДАЙ ЗНАК РУКОЙ, И Я ТОТЧАС ПОГРУЖУ ЭТО КОПЬЕ В СВОЕ СЕРДЦЕ.

Матиуш испуганно спрятал свои руки за спину.

— НЕТ, НЕТ, — крикнул он. — МИЛЫЙ ПРОФЕССОР, СКАЖИТЕ ЕМУ, ЧТО Я ХОЧУ С НИМ ДРУЖИТЬ, РАЗГОВАРИВАТЬ И ИГРАТЬ, А ВОВСЕ НЕ ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ БУМ-ДРУМ УМЕР.

Перед хижиной вождя на большой поляне идет пир. Черные служители разносят на золотых блюдах невиданные фрукты и яства.

Загорается огромный костер. Воины, размахивая пиками, ловко, стремительной

черной лентой, перепрыгивают через костер.

Матиуш, профессор и Фелек сидят на возвышении напротив Бум-Друма. Фелек, не выдержав, тоже вслед за черными воинами прыгнул через костер.

Сияющими глазами Матиуш следит за праздником.

Маленькие черные девочки исполняют танец змей.

На белом слоне появляется Клю-Клю. Слон склоняет колени. Принцесса соскользнула со слона и танцует перед Матиушем.

— КАК ЗДОРОВО! КАК ЗДОРОВО! — кричит Матиуш.

Глаза его встретились с сияющими глазами Клю-Клю.

Носильщики приносят на палках плетеные корзины, прикрытые пальмовыми листьями. Служители снимают листья. В свете костров сверкают груды рубинов, алмазов, золотые и серебряные слитки.

— ЛОКАРРО АНДО, — сказал Бум-Друм.

— ХОЧЕШЬ, Я ВСЕ ЭТО ОТДАМ ТЕБЕ? — перевел профессор.

— НЕТ, НЕТ, — быстро отозвался Матиуш... и, обняв профессора, продолжал:

— ЗОЛОТО ЕМУ САМОМУ ПОНАДОБИТСЯ. СПРОСИТЕ БУМ-ДРУМА, ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОСТРОИТ НА ЭТО ЗОЛОТО ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ, ПОЧЕМУ У НИХ НЕТ КИНЕМАТОГРАФА?.. СКАЖИ ЕМУ, МИЛЫЙ ПРОФЕССОР, ЧТО НАМ НИЧЕГО НЕ НУЖНО. ТОЛЬКО ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ ВСЯКИХ ЗВЕРЕЙ ДЛЯ ЗООПАРКА. ВЕДЬ ДЕТИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ХОДИТЬ В ЗООПАРК.

Королевский дворец.

За столом министры.

Вбегают два глашатая в одинаковых серых костюмах.

Первый:

— КОРОЛЬ МАТИУШ У ЛЮДОЕДОВ!



Второй:

– КОРОЛЬ МАТИУШ СТАЛ ЛЮДО-ЕДОМ!

Первый:

– ОН СОБИРАЕТСЯ ЖЕНИТЬСЯ НА ЧЕРНОЙ ОБЕЗЬЯНЕ КЛЮ-КЛЮ.

Первый и второй глашатаи (перебивая друг друга):

– ОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ АЛМАЗОВ!.. И ОТ РУБИНОВ!.. И ОТ БРИЛЛИАНТОВ!.. И ОТ ЗОЛОТА!!!

Старший Министр Церемоний звонит в колокольчик и говорит:

– Э... СОГЛАСНО ЭТИКЕТУ ИХ ВЕЛИЧЕСТВО, КОТОРОЕ НЕ ПРИНЯЛО ЗОЛОТА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВПРЕДЬ ИХ ВЕЛИЧЕСТВОМ, ПОСКОЛЬКУ ОНО САМО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ СВОЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. КАК СЧИТАЕТЕ ВЫ, ГОСПОДИН МИНИСТР ЮСТИЦИИ? СОГЛАСНО СЕДЬМОГО ПАРАГРАФА ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ ШЕСТОГО ТОМА СВОДА ЗАКОНОВ...

– А ВЫ? – перебивая Министра Юстиции, обращается Старший Министр к Военному Министру.

– ТАК ТОЧНО! АТЬ... ДВА, – громовым голосом командует Военный Министр.

Глашатаи расступаются.

Двигается, высоко закинув голову, фарфоровая кукла в нарядном золотом мундире, куклу поддерживают под руки – горбатый Министр Внутренних Дел и толстый фабрикант.

– ВИВАТ! – кричат министры. – ВИВАТ!

Кукла на троне. Министры почтительно склоняют головы.

Фабрикант, стоя за троном, негромко говорит.

– ОНА-С, ТО ЕСТЬ, ОН-С, ТО ЕСТЬ, ОНИ-С, ИХ ВЕЛИЧЕСТВО, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ, МОГУТ НАКЛОНЯТЬ ГОЛОВУ В ЗНАК СОГЛАСИЯ И ИСПОЛНЯТЬ ДВА ГЛАВНЫХ ПРИДВОРНЫХ ПИРУЭТА...

Кукла кивает головой и, поднявшись с трона, резкими кукольными движениями исполняет по очереди придворные пируэты... Один... Второй... И все: глашатаи, горбатый Министр, пузатый фабрикант, Военный Министр, на котором бряцают сабли, пистолет, звенят шпоры, – багровея от натуги, повторяют, каждый по-своему, резкие и отрывистые движения куклы.

Изгибаясь в придворных поклонах, фабрикант хриплым задыхающимся голосом продолжает:

– И ОНА-С, ТО ЕСТЬ, ОН-С, ТО ЕСТЬ, ОНИ-С, ИХ ВЕЛИЧЕСТВО, МОГУТ ЗАПИСАТЬ ПО ВАШЕМУ, ГОСПОДА МИНИСТРЫ, СОИЗВОЛЕНИЮ И ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ ПОВТОРЯТЬ ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ ЧЕТЫРЕ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ВЫ, ГОСПОДА, СОБЛАГОВОЛИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ.

– КАЗНИТЬ! – хрипло бормочет горбатый Министр. – САМОЕ КОРОЛЕВСКОЕ СЛОВО.

– СМІРНО! – отрывисто выкрикивает Военный Министр. – САМАЯ КОРОЛЕВСКАЯ КОМАНДА!

– НАГРАДИТЬ, – елеинным голосом предлагает Старший Министр, – У ИХ ВЕЛИЧЕСТВА ПРЕДАННЕЙШИЕ МИНИСТРЫ!

Все снова поклонились.

– И НАДО ЕЩЕ ЭТАКОЕ МУДРОЕ, ПОСКОЛЬКУ ПРИДВОРНЫЕ ЛЮБЯТ ЭТАКОЕ МУДРОЕ, – в свою очередь произносит Министр Просвещения. – НУ, НАПРИМЕР, ГМ... "КОРОЛИ... НЕ ОШИБАЮТСЯ, ПОСКОЛЬКУ, ЕСЛИ БЫ ОНИ ОШИБАЛИСЬ, ТО... ГМ... НЕ МОГЛИ БЫ ПОСТУПАТЬ БЕЗОШИБОЧНО". ИСТИННО... ГМ... КОРОЛЕВСКАЯ МУДРОСТЬ!

Фабрикант поворачивает ключ в спине куклы, и она отчетливо произносит по слогам:

– КАЗ-НИТЬ!.. НА-ГРА-ДИТЬ!.. СМІР-НО!..

При последней команде министры засты-



вают, как манекены. Военный Министр держит в вытянутой руке обнаженную саблю, горбатый Министр протянул перед собой луну, Министр Просвещения – грамматику.

А кукла между тем отчетливо выговаривает:

— КО-РО-ЛИ НЕ ОШИ-БА-ЮТ-СЯ, ПО-СКОЛЬ-КУ, ЕСЛИ БЫ ОНИ ОШИ-БА-ЛИСЬ, ТО НЕ МОГ-ЛИ БЫ ПО-СТУ-ПАТЬ БЕЗ-ОШИ-БОЧ-НО...

— ВОТ НАСТОЯЩИЙ КОРОЛЬ, — бормочет горбатый Министр, — НЕ ЧЕТА ЭТОМУ МАЛЕНЬКОМУ... МАЛЕНЬКОМУ МАТИУШУ.

Матиуш стоит задумавшись среди тропического леса. Мартышка соскочила с дерева и приложила лапку ко лбу, — играет или дразнит. Ключ-Ключ выглянула из-за пальмы. Матиуш оглянулся и увидел принцессу: девочка спряталась было за ствол, потом упрямо и гордо тряхнула курчавой головой и идет навстречу Матиушу.

Они стоят друг против друга.

Девочка, подняв руку над головой, сказала тихо и торжественно:

— КЛЮ-КЛЮ ЛАБОРУДО КИО РЦИ АНО МАТИУШ, — сказала и исчезла, как сквозь землю провалилась.

Матиуш вбежал в свою хижину, разбудил профессора и зашептал:

— ПРОФЕССОР! ПРОФЕССОР! ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? "КЛЮ-КЛЮ ЛАБОРУДО КИО РЦИ АНО МАТИУШ"?

Профессор поднялся со звериных шкур, надел очки, сказал:

— ЭТО ЗНАЧИТ, МОЙ МАЛЬЧИК, ЧТО КЛЮ-КЛЮ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ТЕБЯ И ХОЧЕТ С ТОБОЙ ПОЕХАТЬ В ТВОЮ СТРАНУ. НА ВСЕХ ДВУХ ТЫСЯЧАХ СЕМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, И ПТИЧЬИХ, И ЗВЕРИНЫХ ЯЗЫ-

КАХ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ИМЕННО ЭТО И НИЧЕГО ИНОГО.

Открылись двери дворцового зала и вбежали два глашатая. Они поклонились и быстро-быстро, торопясь, захлебываясь от возбуждения, заговорили, перебивая друг друга:

Первый глашатай:

— КОРОЛЬ ПРИБЫЛ В СТОЛИЦУ И ПРИБЛИЖАЕТСЯ...

Второй глашатай:

— ...КО ДВОРЦУ. ЗА НИМ ВЕЗУТ СТО КЛЕТОК С ДИКИМИ...

Первый:

— ...ЗВЕРЯМИ. И ДВЕСТИ КЛЕТОК С ДИКИМИ...

Второй:

— ...ПТИЦАМИ. И ТРИСТА КЛЕТОК С ДИКИМИ...

Первый:

— ...КРОКОДИЛАМИ.

Второй:

— И КРОМЕ ТОГО, МАТИУШ ПРИВЕЗ С СОБОЙ...

Первый и второй глашатаи:

— ЧЕРНУЮ ПРИНЦЕССУ!!!

Министры, окружающие трон с куклой, в ужасе слушают. Первым опомнился Старший Министр. Он сказал:

— НЕ ТАК ДАВНО КОРОЛЬ МАТИУШ ПОСАДИЛ НАС В ТЮРЬМУ, А СЕЙЧАС БОГ ЗНАЕТ, ЧЕМУ ОН ТАМ НАУЧИЛСЯ, ЧЕГО ДОБРОГО СЪЕСТ, ВОПРЕКИ... Э... ЭТИКЕТУ.

— ИЛИ ОТДАСТ НА СЪЕДЕНИЕ ЗВЕРЯМ, — заметил Министр Просвещения. — ТАКИЕ... ГМ... СЛУЧАИ БЫВАЛИ В ПЕРВОМ... НЕТ... ГМ... В ШЕСТОМ ИЛИ ШЕСТНАДЦАТОМ ВЕКЕ...

— А МОЖЕТ БЫТЬ... МОЖЕТ БЫТЬ:

АТЬ-ДВА, ШАГОМ МАРШ? – спросил Военный Министр.

Все взглянули на горбатого Министра, а он прислушивается к ликующему шуму, который все громче доносится с улицы.

Там на улицах творится нечто невообразимое. Взвываются и рассыпаются звездами ракеты, хлопают хлопушки. По обеим сторонам улицы стеной стоят дети. Двигается шествие: впереди Матиуш и Клю-Клю на слоне. За ними верхом на зебре – Фелек.

А дальше – клетки с тиграми, львами, обезьянами.

Старый профессор ведет на поводке слона и, улыбаясь, смотрит на ликующих детей.

Дети подбегают к слону и клеткам со зверями. Они что-то оглушительно кричат, подпрыгивают, подкидывают шапки, хлопают в ладоши, взявшись за руки, танцуют.

Вот уже показался дворец.

Матиуш, взяв за руку Клю-Клю, бежит по ступенькам мраморных лестниц, устланных коврами, по бесконечной анфиладе залов королевских апартаментов.

Двери – огромные, резные – сами собой раскрываются перед ними. Зеркальные гладкие полы сверкают, как каток. Матиуш прокатился, точно по льду, от одной двери к другой.

И Клю-Клю за ним... Она в длинном белом платье и серебряных туфельках – тоненькая, ловкая, радостная – очень красива.

Профессор семенит позади, пытаясь не отстать.

Главная дверь. Каким маленьким кажется Матиуш рядом с литым великолепием тяжелой стены тусклого серебра. По обеим сторонам двери два глашатая с абсолютно одинаковыми лицами. Теперь они изображают слуг. Матиуш поднял глаза и нахмурился, испугался чего-то, но сразу снова повеселел, сделал знак Клю-Клю, чтобы она

подождала, и с разбегу вбежал в зал церемоний.

Он остановился у трона. Министры встали, приветствуя короля.

Старший Министр Церемоний ударил жезлом по полу:

– ПЕРВЫЙ ПРИДВОРНЫЙ ПИРУЭТ!

Звуки клавесина. Дамы, придворные кавалеры, министры, фабриканты, генералы, танцуют, поплыли мимо трона. Профессор наливает в ложку рыбий жир и подносит королю. Тот, морщась, отворачивается.

– ПЕЙ, ПЕЙ, МОЙ МАЛЬЧИК, – шепчет профессор. – ТЕБЕ ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ МНОГО СИЛ! ЧТО-ТО СЕРДЦЕ МОЕ НЕСПОКОЙНО.

Матиуш выпивает рыбий жир.

– А МНЕ ВЕСЕЛО И ХОРОШО, МИЛЫЙ ПРОФЕССОР, – также шепотом отвечает Матиуш. – МНЕ ВСЕГДА БУДЕТ ТАК ХОРОШО?!

– МОЙ МАЛЬЧИК, – почти про себя шепчет профессор. – Я ЗНАЮ ВСЕ ЯЗЫКИ, КРОМЕ ОДНОГО... ЯЗЫКА СУДЬБЫ!

Второй раз ударяет жезл по полу. Музыка клавесина обрывается. Все замирают в позах, в каких их застал удар жезла.

– ВТОРОЙ ПРИДВОРНЫЙ ПИРУЭТ! – командует Старший Министр.

Бьют барабаны. Только они одни.

– ХВАТИТ! ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ И ОДИН МОРСКОЙ ЗАЯЦ! – крикнул Матиуш и нетерпеливо топнул ногой.

Танцующие замерли на мгновение и... исчезли.

И вот уже только министры перед Матиушем.

Матиуш хлопнул в ладоши. Грациозно ступая, вошла Клю-Клю. Ею нельзя не залюбоваться.

– ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ГОСПОДА! ЭТО ПРИНЦЕССА КЛЮ-КЛЮ – ДОЧЬ МОЕГО ДРУГА, АФРИКАНСКОГО КОРОЛЯ БУМ-ДРУМА, – сказал Матиуш. – ПУСТЬ ОНА

ОСТАНЕТСЯ В МОЕМ ДВОРЦЕ, ПУСТЬ УЧИТСЯ, А КОГДА ВСТУПИТ НА ПРЕСТОЛ, БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ РЕФОРМАТОРОМ СРЕДИ ЧЕРНЫХ ДЕТЕЙ, КАК Я СРЕДИ БЕЛЫХ.

Клю-Клю сказала несколько слов.

— МОЙ ОТЕЦ, КОРОЛЬ БУМ-ДРУМ, ШЛЕТ ВСЕМ ВАМ ПОЖЕЛАНИЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖИЗНИ, МУДРОСТИ СЛОНА, ХРАБРОСТИ ЛЬВА И БЛАГОРОДСТВА ОРЛА, — перевел профессор.

Министры склонили головы.

— СНАС ХВАТИТ И ХИТРОСТИ ЗМЕИ, — пробормотал себе под нос горбатый Министр.

— ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ, — сказал Матиуш и выпил воды. — ГОСПОДА МИНИСТРЫ! ВЫ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ, ВСЕМ НАРОДОМ. НО ВЫ ЗАБЫЛИ, ГОСПОДА, ЧТО НАРОД — ЭТО И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ. ПУСТЬ БУДЕТ И ДЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, БУДУТ ДЕТИ-МИНИСТРЫ И ДЕТИ-ДЕПУТАТЫ, ПОТОМУ ЧТО КТО ЖЕ ЛУЧШЕ ДЕТЕЙ ЗНАЕТ, ЧТО ИМ НУЖНО. И ПУСТЬ БУДЕТ У ДЕТЕЙ СВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЗНАМЯ, ВЕДЬ ДЕТИ ЛЮБЯТ ЛЕС, А ЛЕС ЗЕЛЕНЫЙ!

Матиуш четыре раза пил воду и говорил так серьезно, что министры поняли: это не шутка, дело идет не о шоколаде, не о коньках или качелях, а об очень важной реформе.

— Я ЗНАЮ, ЧТО СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ — ТРУДНО, — закончил Матиуш свою речь. — ВСЕ РЕФОРМЫ ТРУДНЫ, НО ВЫ САМИ ВИДИТЕ, ЧТО НАДО С ЧЕГО-ТО НАЧИНАТЬ.

Министры молча закрыли глаза.

— ВЫ СОГЛАСНЫ, ГОСПОДА? — спросил Матиуш.

Министры стояли с закрытыми глазами и молчали.

— ЭТО ХОРОШО, ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ, А ТО Я ПРИКАЗАЛ БЫ СВАРИТЬ ВАС В



КРОКОДИЛОВОМ СОУСЕ ИЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ ВАС ЖАРКОЕ, НАЧИНЕННОЕ БАНАНАМИ.

Министры сразу открыли глаза. У них стали такие испуганные лица, что Матиуш расхохотался.

— ГОСПОДА, — сказал он. — НЕ БОЙТЕСЬ МЕНЯ. Я НЕ СТАЛ ЛЮДОЕДОМ. В СТРАНЕ МОЕГО ДРУГА, КОРОЛЯ БУМ-ДРУМА, НЕ ЕДЯТ ЛЮДЕЙ. ОБ ЭТОМ ВАМ РАССКАЖЕТ КЛЮ-КЛЮ.

Клю-Клю встала и начала свой рассказ на родном языке, а профессор переводил:

— У НАС УЖЕ ДАВНО НЕ ЕДЯТ ЛЮДЕЙ. ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА СЪЕЛИ СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. ЭТО БЫЛ ТОЛСТЫЙ МБАЛУ. ОН УЧИЛ ОРЛА, КАК ЛЕТАТЬ, ЖИРАФА — КАК БЕГАТЬ, ГЕРО — ВЕЛИКОГО ОХОТНИКА, КАК ПОПАДАТЬ СТРЕЛОЙ В ГЛАЗ БУЙВОЛА, А САМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ И ТАК РАЗЖИРЕЛ, И ТАК НАДОЕЛ ВСЕМ СВОИМИ СОВЕТАМИ, ЧТО ИЗ БЕДНЯЖКИ СДЕЛАЛИ ЖАРКОЕ...

Матиуш в детской. Он подобрал любимого своего паяца и вместе с ним забрался в домик, построенный из черных с золотом томов Свода Законов. Свернулся на полу и шепчет паяцу:

— ТЫ, НАВЕРНОЕ, СЕРДИШЬСЯ, ЧТО Я ТАК ДАВНО С ТОБОЙ НЕ ИГРАЛ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Я ВЕДЬ БЫЛ В САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ АФРИКЕ... И МОЙ ВЕРНЫЙ ФЕЛЕК БЫЛ СО МНОЙ. И СТАРЫЙ ПРОФЕССОР... ЖАЛЬ, ЧТО ТЕБЯ ТАМ НЕ БЫЛО...

Матиуш зевает. Глаза его смыкаются...

Ночь. Комната Корчака со скошенным потолком на чердаке Дома Сирот. На кровати видна детская фигурка, свернувшаяся под одеялом.

Старый доктор сидит за столом у окна. Пишет.

Голос Корчака:

– ТЯЖЕЛОЕ ЭТО ДЕЛО – РОДИТЬСЯ И НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ. МНЕ ОСТАЛАСЬ ЗАДАЧА КУДА ЛЕГЧЕ – УМЕРЕТЬ.

Выстрел. Зап. В тишине слышен скрип пера.

Голос Корчака:

– ПОСЛЕДНИЙ ГОД, ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ИЛИ ЧАС. ХОТЕЛОСЬ БЫ УМЕРЕТЬ, СОХРАНЯЯ ПРИСУТСТВИЕ ДУХА И В ПОЛНОМ СОЗНАНИИ.

Открылась дверь, на пороге Бенюсь: босой, в ночной рубашке.

– ЧТО ТЫ, БЕНЮСЬ?

– СТРЕЛЯЮТ...

Доктор положил мальчика на свою кровать и укрыл пледом:

– СПИ, НЕ БОЙСЯ.

– А НА САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ ЗВЕЗДЕ ТОЖЕ ЛЮДИ? – спрашивает Бенюсь, не открывая глаз.

– ДА.

– МАЛЕНЬКИЕ-МАЛЕНЬКИЕ?

– КАК ГНОМИКИ, – говорит Корчак. – СПИ.

Мальчик засыпает.

Светает. Корчак поливает цветы на подоконнике. Часовой у ворот взглянул на него.

Голос Корчака:

– МОЯ ЛЫСИНА В ОКНЕ – ТАКАЯ ХОРОШАЯ ЦЕЛЬ. У НЕГО ВИНТОВКА. ПОЧЕМУ ОН СТОИТ И СМОТРИТ? НЕТ ПРИКАЗА? А МОЖЕТ БЫТЬ, В МИРНОЙ ЖИЗНИ ОН БЫЛ СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЕМ ИЛИ НОТАРИУСОМ. А ЧТО ОН СДЕЛАЛ БЫ, КИВНИ Я ЕМУ ГОЛОВОЙ? ПОМАШИ ДРУЖЕСКИ РУКОЙ? МОЖЕТ, ОН НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ВСЕ ТАК, КАК ЕСТЬ? ОН МОГ ПРИЕХАТЬ ЛИШЬ ВЧЕРА...

Светает. В косом белом свете раннего утра на лице Корчака видна каждая черточка, каждая морщина.

В комнате старого доктора спят дети.

В домике, построенном из черных с золотом томов, спит Матиуш. Рядом с ним его папц.

Из темного домика видна залитая светом детская. И вдруг все изменилось. Дорога, по сторонам которой странные черные деревья. Во сне Матиуш и папц, очень похожий на рыжего Шимека, идут по этой дороге. Вдали показались ряды коричневых домиков.

Маршируют солдатики в коричневых мундирах. Бьют барабаны.

– ОП-ЛЯ! – кричит папц. – УЙДЕМ ОТСЮДА! ОП-ЛЯ!

Он сделал сальто и опустился на огромный цветной мяч. И вот уж он идет по проволоке в ярком своем костюме: бубенчики звенят в его руках. Он прошелся колесом.

– ОП-ЛЯ! ХА-ХА-ХА! БЕЖИМ ОТСЮДА!

Но Матиуш не слышит его.

– АТЬ-ДВА! АТЬ-ДВА! – доносится издалека...

Два одинаковых человечка, не сгибая колен, по-строевому отбивая шаг, приблизились к Матиушу. Они удивительно похожи на глашатаев, только теперь на них мундиры.

— СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ ГОРОД? — спрашивает Матиуш.

Первый человечек:

— ЭТО ЗНАМЕНИТЫЙ ГОРОД ОДИНАКОВЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ!

Второй:

— ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ГОРОД!

Первый:

— У НАС ВСЕ ОДИНАКОВО — И ЛЮДИ, И ДОМА...

Второй:

— И ЭТО ПРЕКРАСНО. ВЕДЬ ЕСЛИ БЫ НЕ ВСЕ БЫЛО ОДИНАКОВЫМ, ТО ПОЯВИЛИСЬ БЫ РАЗЛИЧИЯ.

Первый:

— А КОГДА ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ — ЭТО ОЧЕНЬ НЕУДОБНО. ДЛЯ РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ ПОНАДОБИЛИСЬ БЫ РАЗНЫЕ КОСТЮМЫ, А ДЛЯ РАЗНОЦВЕТНЫХ ДОМОВ — РАЗНЫЕ КРАСКИ.

Второй:

— А ДЛЯ РАЗНЫХ МЫСЛЕЙ — РАЗНЫЕ ГОЛОВЫ.

Приблизился марширующий отряд. Сквозь дробь барабана слышны слова команды:

— АТЬ-ДВА! СМИР-НО! ГЛАЗА ЗАКРЫТЬ! РАЗОЙДИСЬ!

Теперь два одинаковых человечка идут с закрытыми глазами.

— СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК НАМ УЙТИ ИЗ ЭТОГО ГОРОДА? — спрашивает Матиуш человечков. — ВЕДЬ НАС ЖДУТ ДЕТИ. Я И МОЙ ДРУГ СПЕШИМ В ДЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, А ДОРОГИ МЫ НЕ ВИДИМ.

Первый человечек:

— КАК ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ТО,

ЧТО ХОТИТЕ УВИДЕТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ?

Второй:

— ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА, ТОГДА ВЫ УВИДИТЕ ТО, ЧТО ХОТИТЕ УВИДЕТЬ, А НЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ.

Первый:

— КОГДА ГЛАЗА ОТКРЫТЫ, ВИДИШЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ, ЛЯГУШЕК, НАПРИМЕР, А Я УЖАСНО НЕ ЛЮБЛЮ ЛЯГУШЕК.

Второй:

— ИЛИ РОЗЫ, А Я ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЦВЕТЫ.

Первый:

— СТОИТ ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА — И ТЫ ВИДИШЬ ТО, ЧТО НУЖНО.

Второй:

— ИЛИ НИЧЕГО НЕ ВИДИШЬ, А ЭТО ЕЩЕ ЛУЧШЕ. ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА!

Первый:

— СКОРЕЕ ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА!

Матиуш закрывает глаза.

— ОП-ЛЯ! — пронзительно кричит паяц.

— НЕ ЗАКРЫВАЙ ГЛАЗА! СМОТРИ, КАК КРАСИВО! ОП-ЛЯ! — Он подскочил, взлетел в воздух, сделал двойное сальто, встал на руки и ловко подкидывает ногами золотые шары. Шары взлетают: вверх-вниз, вверх-вниз:

— ОП-ЛЯ! ХА-ХА-ХА! ОП-ЛЯ! СМОТРИ, КАК КРАСИВО! ОТКРОЙ ГЛАЗА, СКОРЕЕ ОТКРОЙ ГЛАЗА! ОП-ЛЯ!

Матиуш открыл глаза и... проснулся. Рядом с ним на полу лежал игрушечный паяц.

Детский парламент.

Развевается на ветру зеленое знамя с золотой веточкой клевера. Помещение напоминает цирк. С высоты купола свешивается фигурка паяца на трапеции. В воздухе летают цветные воздушные шары. У стен на полках куклы, солдатики, футбольные мячи, всякие хитрые сооружения из кубиков, деталей конструктора, чтобы депутаты

не скучали во время перерывов. Очень много цветов. Все залито солнцем. На стенах детские рисунки.

Депутаты — мальчики и девочки от четырех до двенадцати лет — сидят на расположенных амфитеатром скамьях.

На трибуну поднялся Матиуш.

— ВЫ — ДЕПУТАТЫ ПЕРВОГО ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА, — сказал он, когда шум затих. — ДО СИХ ПОР Я БЫЛ ОДИН. Я ХОТЕЛ ТАК УПРАВЛЯТЬ, ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО. НО ОЧЕНЬ ТРУДНО МНЕ ОДНОМУ УГАДАТЬ, ЧТО НУЖНО КАЖДОМУ. ВАМ ЛЕГЧЕ. ОДНИ ДЕПУТАТЫ ЗНАЮТ, ЧТО ХОТЯТ МАЛЫШИ, ДРУГИЕ — ЧЕГО ХОТЯТ СТАРШИЕ. ПУСТЬ КАЖДЫЙ СКАЖЕТ, ЧТО НУЖНО ДЕТЯМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ. А ВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ НАШЕГО ПАРЛАМЕНТА БУДЕТ ФЕЛЕК — ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ МИНИСТР.

Матиуш зааплодировал Фелеку.

И все депутаты тоже захлопали в ладоши.

Фелек встал, раскланялся и занял председательское место.

— ПРОШУ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ, — сказал Фелек.

Поднялся невообразимый шум, все говорили одновременно.

— Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬ ГОЛУБЕЙ, — кричит один.

— А Я СОБАКУ!

— ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЛ ЧАСЫ!

— И ЧТОБЫ НАС НЕ ЦЕЛОВАЛИ!

— И ЧТОБЫ НАМ РАССКАЗЫВАЛИ СКАЗКИ!

— ЧТОБЫ ПОЗДНО ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ!

— И БОЛЬШЕ КАРМАНОВ. У МОЕГО ОТЦА ТРИНАДЦАТЬ КАРМАНОВ, А У МЕНЯ ТОЛЬКО ДВА. У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ. А ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЮ НОСОВОЙ ПЛАТОК, ТАК ОНИ КРИЧАТ.

— И ЧТОБЫ КАЖДОМУ РАЗРЕШАЛОСЬ РАЗ В МЕСЯЦ РАЗБИТЬ СТЕКЛО.

Долго пришлось звонить Фелеку в колокольчик, пока все утихло.

— НАДО ГОВОРИТЬ ПО ОЧЕРЕДИ. А КТО БУДЕТ ШУМЕТЬ, ТОГО ВЫБРОСЯТ ЗА ДВЕРЬ!

В зал вошел еще один депутат.

— ИЗВИНИТЕ, ЧТО Я ОПОЗДАЛ, — сказал он. — НО МАМА МЕНЯ НЕ ПУСКАЛА, ПОТОМУ ЧТО ВЧЕРА В ДРАКЕ МНЕ ПОЦАРАПАЛИ НОС И НАБИЛИ ШИШКУ.

— ЭТО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, — сказал Фелек. — ДЕПУТАТ НЕПРИКОСНОВЕНЕН.

Во время перерыва депутаты носились по коридорам дворца, как угорелые. Играли в чехарду, жали группу на группу у стенки — кто кого пересилит, раскачивались на трапеции, карабкались по канату.

Среди депутатов сновали, переодетые журналистами, первый и второй глашатаи, с неотличимо сходными лицами: усики, буравящие глазки за темными очками.

Первый глашатай остановил одного депутата:

— ПОЧЕМУ ВЫ, ГОСПОДИН ДЕПУТАТ, НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЦЕЛОВАЛИ?

— БЫЛО БЫ У ВАС СТОЛЬКО ТЕТОК, СКОЛЬКО У МЕНЯ, ВЫ БЫ НЕ СПРАШИВАЛИ, — задыхаясь после игры сказал депутат. — ВЧЕРА БЫЛИ МОИ ИМЕНИНЫ, ТАК ОНИ... ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЕ ТАК ЛЮБЯТ ЛИЗАТЬСЯ, ПУСКАЙ САМИ ЦЕЛУЮТСЯ.

Глашатай записал. Потом вкрадчиво спросил:

— НЕ ПРАВДА ЛИ, НАДО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВЗРОСЛЫЕ ХОДИЛИ В ШКОЛУ, А ДЕТИ НА СЛУЖБУ. И ЧТОБЫ ДЕТИ МОГЛИ СТАВИТЬ ВЗРОСЛЫХ В УГОЛ? И...

— НЕ ЗНАЮ... — растерянно перебил депутат и побежал играть.

— ГОСПОДИН ДЕПУТАТ! ДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНО У ВАШЕГО ОТЦА СТОЛЬКО КАРМАНОВ? — спросил второй глашатай.

— НУ ПОСЧИТАЙТЕ. В БРЮКАХ ДВА КАРМАНА СБОКУ И ДВА СЗАДИ. В ЖИЛЕТЕ ЧЕТЫРЕ МАЛЕНЬКИХ КАРМАНА И ОДИН В ПОДКЛАДКЕ. В ПИДЖАКЕ ДВА В ПОДКЛАДКЕ, ДВА ПО БОКАМ И ОДИН СВЕРХУ. ДЛЯ ЗУБОЧИСТКИ У ОТЦА ОТДЕЛЬНЫЙ КАРМАН, А У МЕНЯ ДЛЯ ЧИЖИКА И ТО НЕТ КАРМАНА.

Глашатай записал это и сказал:

— ТРЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШИЛИ ВЗРОСЛЫЕ КОСТЮМЫ, А ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТСКИЕ. ПОРА ПОКОНЧИТЬ С ВЛАСТЬЮ ВЗРОСЛЫХ.

Дворец. Только один горбатый Министр в тронном зале. Вбегают глашатаи.

— ЛИСТОВКА ГОТОВА? — спрашивает Министр.

— ТАК ТОЧНО, — отвечает первый глашатай.

Второй глашатай вынул из кармана лист бумаги и прочитал вслух:

— "ДЕТИ! ПОДНИМАЙТЕ БУНТ ПРОТИВ ВЗРОСЛЫХ! ТРЕБУЙТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОИХ ПРАВ. ПОМОГИТЕ МНЕ УСТРОИТЬ ДЕТСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ ВО ВСЕМ МИРЕ! Я ОЧЕНЬ ХОЧУ БЫТЬ КОРОЛЕМ ВСЕХ ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА: БЕЛЫХ, ЖЕЛТЫХ, ЧЕРНЫХ".

— ОТЛИЧНО! — расхаживая по залу и потирая руки, сказал Министр Внутренних дел. — ПУСТЬ ЭТУ ЛИСТОВКУ НЕМЕДЛЕННО НАПЕЧАТАЮТ. ИДИТЕ.

Глашатаи исчезают.

Бегут по улицам глашатаи, размахивая только что напечатанными листовками.

— ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ! ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ! МАТИУШ ХОЧЕТ ПОДНЯТЬ ВОССТАНИЕ ДЕТЕЙ! МАТИУШ ПРОТИВ ВЗРОСЛЫХ!!!

Идет пожилая сердитая дама, держа за руку дочку Марыську. Остановилась, прислушалась, сказала:

— ДО ЧЕГО ДОШЛИ! — и шлепнула девочку.

— И ВСЕ-ТАКИ КОРОЛЬ МАТИУШ ХОРОШИЙ И МИЛЫЙ! — проговорила девочка.

Сердитая дама шлепает девочку изо всей силы, еще, еще...

— И КРАСИВЫЙ... — сквозь слезы повторяет Марыська. — И ВСЕ ЭТО НЕПРАВДА! И ЛУЧШИЙ НА СВЕТЕ...

Пронзительно кричат глашатаи.

Прохожие разбирают листовки.

Крик глашатаев доносится до тронного зала.

На троне сидит кукла.

— ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО И ГОСПОДА МИНИСТРЫ, — говорит горбатый Министр. — НАСТУПИЛО ВРЕМЯ НИЗЛОЖИТЬ МАТИУША, ИЗОБЛИЧЕННОГО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ, И КОРОНОВАТЬ НОВОГО ГОСУДАРЯ.

Старший Министр возлагает корону на голову куклы.

— ВИВАТ! — кричат министры.

Кукольный король поднимается и отчетливым, металлическим голосом по слогам произносит:

— НА-ГРА-ДИТЬ!

Министры склоняются до земли.

— МУДРО, — говорит Министр Просвещения как бы самому себе, но достаточно громко, чтобы слышали все. — У НАС ЦАРСТВОВАЛ ВЛАДИСЛАВ СВИРЕПЫЙ И РОСТИСЛАВ КРОВОЖАДНЫЙ, БОГУМИР БЕСПОЩАДНЫЙ И МРАЖЕК МСТИТЕЛЬНЫЙ, НАКОНЕЦ, ЭТОТ... ГМ... ПРЕЗРЕННЫЙ МАТИУШ РЕФОРМАТОР. Я НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ НОВОГО КОРОЛЯ СКОРО НАЗОВУТ "МУДРЫМ", ГМ... СМЕЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО Я ЭТОМУ РЕШИТЕЛЬНО НИ В КАКОЙ МЕРЕ НЕ УДИВЛЮСЬ...



У ворот королевского дворца глашатаи собрали ватагу злых подростков и что-то говорят им, сопровождая свою речь выразительными жестами:

— "БЕЙ! КРУШИ! ВСЕ ДОЗВОЛЕНО!"

В довершение инструктажа они засовывают пальцы в рот и пронзительно свистят.

Буйная ватага подростков, все сокрушая на своем пути, несется.

Выстрел из рогатки — и со звоном посыпались осколки оконного стекла.

Удар ногой, и, как футбольный мяч, в сторону полетела, воя от боли, маленькая собачка.

Р-раз — новый выстрел из рогатки — и камнем упал на мостовую убитый голубь.

Снова — детский парламент.

— СЛОВО ДЛЯ ПРИВЕТСТВИЯ ДЕТЕЙ АФРИКИ ИМЕЕТ ПРИНЦЕССА КЛЮ-КЛЮ, — объявляет Фелек.

Клю-Клю под аплодисменты депутатов поднялась на трибуну.

— КОГДА-НИБУДЬ ДЕТИ ВСЕГО МИРА, — переводил профессор, — СОБЕРУТСЯ ТАК ЖЕ, КАК СЪЕХАЛИСЬ СЕГОДНЯ ДЕТИ ВАШЕЙ СТРАНЫ: БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ И ЖЕЛТЫЕ. ДЕТИ СКАЖУТ — КАЖДЫЙ, ЧТО ИМ НУЖНО. НАПРИМЕР, ЧЕРНЫМ ДЕТЯМ НЕ НУЖНЫ КОНЬКИ, ПОТОМУ ЧТО У НИХ НЕТ ЛЬДА, И ЗООПАРК ИМ НЕ НУЖЕН. ЗАТО НАШИМ ДЕТЯМ МОРОЖЕНОГО НАДО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ...

Злые подростки с гиканьем и свистом ворвались в детский парламент, они несутся по проходу, дергая за косы девочек, стреляя из рогаток.

Увидев Клю-Клю на трибуне, они кричат, один громче другого:

— СМОТРИТЕ НА НЕЕ: БУДЕТ НАС УЧИТЬ!

— В КЛЕТКУ С ОБЕЗЬЯНАМИ!

— КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА! ЖЕНИХ И НЕВЕСТА — ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО!

— ДОЛОЙ МАТИУША! ДОЛОЙ КОРОЛЯ!

Рябой подросток сбросил малыша-депутата с его кресла. Вскочил на кресло и свистит.

— АНТЕК! — кричит ему Фелек. — ЕЙ-БОГУ, ВСЕ ЗУБЫ ВЫБЬЮ!

— ПОПРОБУЙ, ВИДАЛИ ЕГО — МИНИСТР! ФЕЛЕК-КАРТОФЕЛЕК! — и, повернувшись к Клю-Клю, заорал: — ДОЛОЙ ЧЕРНУЮ ОБЕЗЬЯНУ!

Клю-Клю не выдержала. Она прыгнула, одной рукой схватилась за канат, свисающий с купола, раскачалась, перескочила через стол и оказалась около Антека.

Антек замахнулся, но пожалел. Клю-Клю ударила одновременно головой, ногой и двумя руками. Антек лежит на полу с разбитым носом.

Клю-Клю подбежала к столу на трибуне, где стоял графин, намочила в стакане платок и приложила к носу Антека.

В парламенте шла уже настоящая потасовка. Бледный, как мел, Матиуш смотрел на все это, не зная, что предпринять.

Снова раскрылись двери. Появилась шеренга солдат, за солдатами — король-кукла, министры, а позади всех — глашатаи.

Первый глашатай кричит:

— МЫ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА, НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ МАТИУШ БЫЛ КОРОЛЕМ. ПУСТЬ ОТБЕРУТ У НЕГО ТРОН!

Второй:

— ДОВОЛЬНО ТИРАНИИ БЕЗУМНОГО МАЛЬЧИКА!

Первый:

— РАЗОГНАТЬ СОПЛИВЫЙ ПАРЛАМЕНТ!

Второй:

— ДОЛОЙ МАТИУША! ПОД СУД ЕГО!

Солдаты поднялись на трибуну.

Горбатый Министр сделал знак рукой, и солдаты окружили Матиуша.

Блестят примкнутые штыки.

Король-кукла мерным шагом, не сгибая колен, идет по проходу между депутатскими скамьями.

– СМИР-НО! – скомандовал король-кукла, и все замерли – депутаты, министры, солдаты. Даже ватага подростков.

Фотографии гетто:

Между двумя рядами эсэсовцев движется к Умшлагплацу скорбная процессия обреченных: женщины и мужчины, старики и дети.

Какая странная, нечеловеческая улыбка на лицах эсэсовцев: одинаковая у всех, будто отштампованная.

Улыбка манекена. Пустые глаза, выражающие только ненасытное, звериное любопытство.

...Идут, идут люди между шеренгами эсэсовцев. Юноша катит тележку, в которой парализованная старуха.

Женщина тащит на спине тяжелый узел. За юбку ее держится маленькая девочка.

Старик время от времени подносит к глазам толстую книгу, беззвучно шевелит губами.

Женщина катит детскую коляску, нагруженную всяким тряпьем. Тысячи людей! На Умшлагплаце стоят эшелоны с вереницей пустых вагонов.

Столовая в Доме Сирот. С улицы доносится неясный гул толпы, топот тысяч ног...

Пани Стефа прислушалась, резко тряхнула головой и сказала дежурной, которая после завтрака собирала со столов грязную посуду:

– НЕ НАДО, АНЕЛЬКА. ПОЖАЛУЙ, МЫ НЕ УСПЕЕМ ВЫМЫТЬ ТАРЕЛКИ.

Голос ее звучит буднично – как всегда.

Комнатка пана Зигмунда. Он ходит по ней, бесцельно перекладывая с места на место вещи. За ним наблюдает рыжий Шимек.

Пан Зигмунд снял со стены старую фотографию, где он изображен в военной форме, повертел ее и бросил на пол.

Шимек поднял фотографию, спросил:

– ЭТО КАКАЯ ФОРМА?

– ГРЕНАДЕРА.

– ГРЕНАДЕРА, – повторил мальчик и, помолчав, робко спросил, прижимая фотографию к груди: – МОЖНО ЭТО МНЕ?..

– КОНЕЧНО.

– ОЙ!.. – лицо Шимека сияло.

Ребята и воспитатели Дома Сирот во дворе.

Пани Стефа вплетает голубую ленту в косу Ханы. В руках Ханы тряпичный паяц.

Анелька, присев на корточки, утешает плачущую маленькую девочку:

– НИЧЕГО... НИЧЕГО... НИЧЕГО, – повторяет она одно это слово.

Большинство ребят вокруг Корчака. Они жмутся к нему, заглядывая в глаза, будто пока он с ними, страшного не произойдет.

– ПАН ДОКТОР, КУДА МЫ ПОЕДЕМ? НА ДАЧУ? – неуверенно спросил Бенюсь.

Корчак посмотрел на мальчика, кивнул головой; отвернулся, потер высокий лоб.

С улицы доносится неясный гул толпы, топот тысяч ног, перекликающиеся голоса:

– МОТЬКА! МОТЬКА! ГДЕ ТЫ?.. Я ТУТ! – отчаянно зовет женщина.

– МАРЫСЯ!

– ХАИМ... ХАИМ!..

Во двор вошел офицер СС. Несколько секунд он смотрел на детей и их воспитателей.

Потом сказал:

– ВІТТЕ!

...Зигмунд подошел к Корчаку:

– ПОРА, ПАН ДОКТОР!

Корчак обернулся, оглядел выстроившихся в колонну детей и громким, властным голосом сказал:

– ЯНЕК! ПРИНЕСИ ЗНАМЯ!

Янек вышел из рядов, вбежал в дом.

Вот он идет вдоль колонны, неся зеленое знамя с вышитым на нем трилистником клевера.

Голос Корчака:

– ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО СКАЗАТЬ СОЛНЦУ "ОСТАНОВИСЬ", ЭТО НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС...

Знойное августовское утро. Солнце в безоблачном небе. Колонна ребят на улице. Шум затихает. Все затихает в эту минуту. Люди сторонятся, давая дорогу Корчаку и его детям. Даже эсэсовцы сторонятся. Исчезает улыбка с их лиц.

Идет колонна ребят.

Впереди Корчак, он держит за руки самых слабых – Бенюся и Ханну. Дальше идут маленькие. Впереди второй группы – пани Стефа, третьей – Зигмунд.

Все дети умыты, нарядно одеты, в косах девочек – ленты.

Зеленое знамя полощется на ветру.

Двигается колонна ребят. Тихо. И в тишине возникает уже слышанная нами мелодия танца. Это играет оркестр на Умшлагплаце. Музыканты стоят кружком вокруг знакомого нам скрипача и играют, провожая людей на смерть.

По деревянным мосткам дети поднимаются в товарные вагоны с окошками, заделанными переплетенной колючей проволокой. Шимек прижимает к груди фотографию гренadera. Играет оркестр.

Старший Министр трижды ударил жезлом по полу и провозгласил:

– СЕЙЧАС ИХ ВЕЛИЧЕСТВО СВЕРШИТ СВОЙ СУД НАД ИЗМЕННИКОМ МАТИУШЕМ.

Король-кукла на троне.

Ниже – на ступеньках трона – горбатый Министр Внутренних Дел в черной мантии.

Еще ниже – глашатаи. Теперь они одеты

писцами: тоже в черном, с огромными гусиными перьями в руках.

У подножия трона – Матиуш. Он стоит бледный, худенький и кажется особенно маленьким в окружении часовых огромного роста, в стальных касках, с винтовками в руках, – стоит, гордо закинув голову.

– ПРИЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВЫПУСТИЛИ ОБРАЩЕНИЕ, ПРИЗЫВАЮЩЕЕ ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА НЕ СЛУШАТЬСЯ ВЗРОСЛЫХ?

спрашивает горбатый Министр Внутренних Дел.

– **НЕТ, НЕ ПРИЗНАЮ. ЭТО ЛОЖЬ!**

Скрипят перья писцов.

Неподвижное лицо короля-куклы.

– **НО ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ХОТЕЛИ СТАТЬ КОРОЛЕМ ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА И ДАТЬ ИМ ЗЕЛЕНое ЗНАМЯ?**

– **ЭТО ПРАВДА. НЕДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ, КОГДА У ВСЕХ ДЕТЕЙ БУДЕТ ОДНО ЗЕЛЕНое ЗНАМЯ. И СОВСЕМ НЕ БУДЕТ ВОЙН, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ЛЮДИ НАУЧАТСЯ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА, ПОКА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ. ОНИ НЕ БУДУТ ДРАТЬСЯ И**

ПОСЛЕ, КОГДА ВЫРАСТУТ. А ЗЕЛЕНЫМ ДЕТСКОЕ ЗНАМЯ БУДЕТ ПОТОМУ, ЧТО ЛЕС ЗЕЛЕНый, А ДЕТИ ТАК ЛЮБЯТ ЛЕС.

Пишут писцы. Блестят штыки часовых. Обернувшись к королю-кукле и почтительно склонив голову, горбатый Министр говорит:

– **ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! МАТИУША НЕОБХОДИМО КАЗНИТЬ, ИНАЧЕ НЕ БУДЕТ ПОРЯДКА В КОРОЛЕВСТВЕ. А ДЕТСКОГО МИНИСТРА ФЕЛЕКА СЛЕДУЕТ СОСЛАТЬ НА НЕОБИТАЕМый ОСТРОВ.**

Кукла поднялась с трона и резким своим металлическим голосом проговорила:

– **КАЗНИТЬ!**

Эшелон с окошками, переплетенными колючей проволокой, приготовлен к отправке. По платформе вдоль эшелона идет немецкий полковник. Остановился около одного из вагонов. Что-то сказал адъютанту.

Откатываются и, выпустив Корчака, снова закрываются двери вагона.

Корчак перед полковником.

В зарешеченное окно вагона глядят дети.

– **ВЫ ЯНУШ КОРЧАК?** – спрашивает полковник.

Адъютант переводит.

– **ДА.**

– **Я В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ ВАШИ КНИГИ... "БАНКРОТСТВО МАЛЕНЬКОГО ДЖЕКА", "ЧАРОДЕЙ". И МОИ ДЕТИ ЧИТАЛИ ИХ. ЭТО ХОРОШИЕ КНИГИ.**

Корчак молчит.

– **ВОТ ЧТО, – продолжает полковник. – КОНЕЧНО, ЭТО СЛУЖЕБНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НО Я БЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАТЬСЯ, ДОКТОР.**

– **А ДЕТИ?** – спрашивает Корчак.

– **ДЕТИ ПОЕДУТ. ЭТО ПРИКАЗ! НО ВЫ...**

– **НЕТ,** – перебил Корчак тихим и спокойным голосом.

– **ВЫ ЗНАЕТЕ, КУДА ИДЕТ ЭШЕЛОН?** – спрашивает полковник. Он продолжает что-то говорить, адъютант переводит, но мы уже их не слышим.

Голос Корчака:

"ХОЧУ УМЕРЕТЬ, ИБО ЛЮБЛЮ; ЖАЖДУ СМЕРТИ, ИБО НЕНАВИЖУ".

– **ПОДУМАЙТЕ!** – говорит полковник.

Адъютант переводит.

Глаза детей в зарешеченном колючей проволокой окне вагона.

– **МНЕ МОЖНО ИДТИ?** – спрашивает Корчак и отворачивается. Снова открывается и закрывается, впусав Корчака внутрь, дверь вагона.

Лязгнули сцепления...

Отбивают дробь барабаны. Ведут Матиуша.

Двадцать солдат с саблями наголо, и между ними — маленький Матиуш. Он идет по середине улицы с гордо поднятой головой, легкими шагами в детских кандалах.

Улицы оцеплены войсками. А за военным кордоном — жители столицы: дети и взрослые.

Сияет солнце. Все вышли на улицу, чтобы в последний раз посмотреть на своего короля. У многих на глазах слезы. Те, кто любил Матиуша, молчат, потому что боятся громко выразить свою любовь. Да и что они могут сделать? Они привыкли кричать: "Да здравствует!" Но что кричать теперь, когда король осужден на смерть?!

Зато орут, и очень громко, двое глашатаев, переодетых бродягами:

— О, КОРОЛЬ ИДЕТ, КОРОЛЕК!

— ПЛАЧЕШЬ, КОРОЛЕК МАТИУШ? ПОДОЙДИ, МЫ ВЫТРЕМ ТЕБЕ НОСИКИ!

Матиуш высоко поднял голову, чтобы все видели, что его глаза — сухи, нахмурил брови. Он смотрит на небо, на солнце.

И так прошел он через город, так стоял у столба на площади, перед свежевыкопанной ямой.

За кордоном солдат, за толпами жителей столицы движется зеленое знамя. Это Януш Корчак и его дети. Они стали вплотную к кордону, смотрят. Они пришли в мир сказки, куда Старый Доктор пытался вновь и вновь уводить своих детей и куда постепенно вошло вместе с ними и горе настоящей жизни; так ведь бывает всегда.

Мир сказки. Значит, он еще существует, несмотря ни на что.

Смотрят Янек и Анелька, маленький Бенюш и рыжий Шимек. На площади перед строем гвардейцев стоит осужденный на казнь Матиуш Первый Реформатор — король детей.

К Матиушу подбежала Клю-Клю — гло-



тая слезы, быстро-быстро говорит на своем языке:

— КЛЮ-КЛЮ КИКИ РЕЦ, КЛЮ-КЛЮ КИН БРУН...

— НЕ ПЛАЧЬ, КЛЮ-КЛЮ, — сказал Матиуш. — МЕНЯ ЖДЕТ ПРЕКРАСНАЯ СМЕРТЬ ОТ РУКИ МОИХ ВРАГОВ И ВРАГОВ ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА.

Но Клю-Клю все плакала и продолжала повторять свое:

— КЛЮ-КЛЮ КИКИ РЕЦ, КЛЮ-КЛЮ КИН БРУН.

Корчак один, чуть сгорбившись, идет вперед.

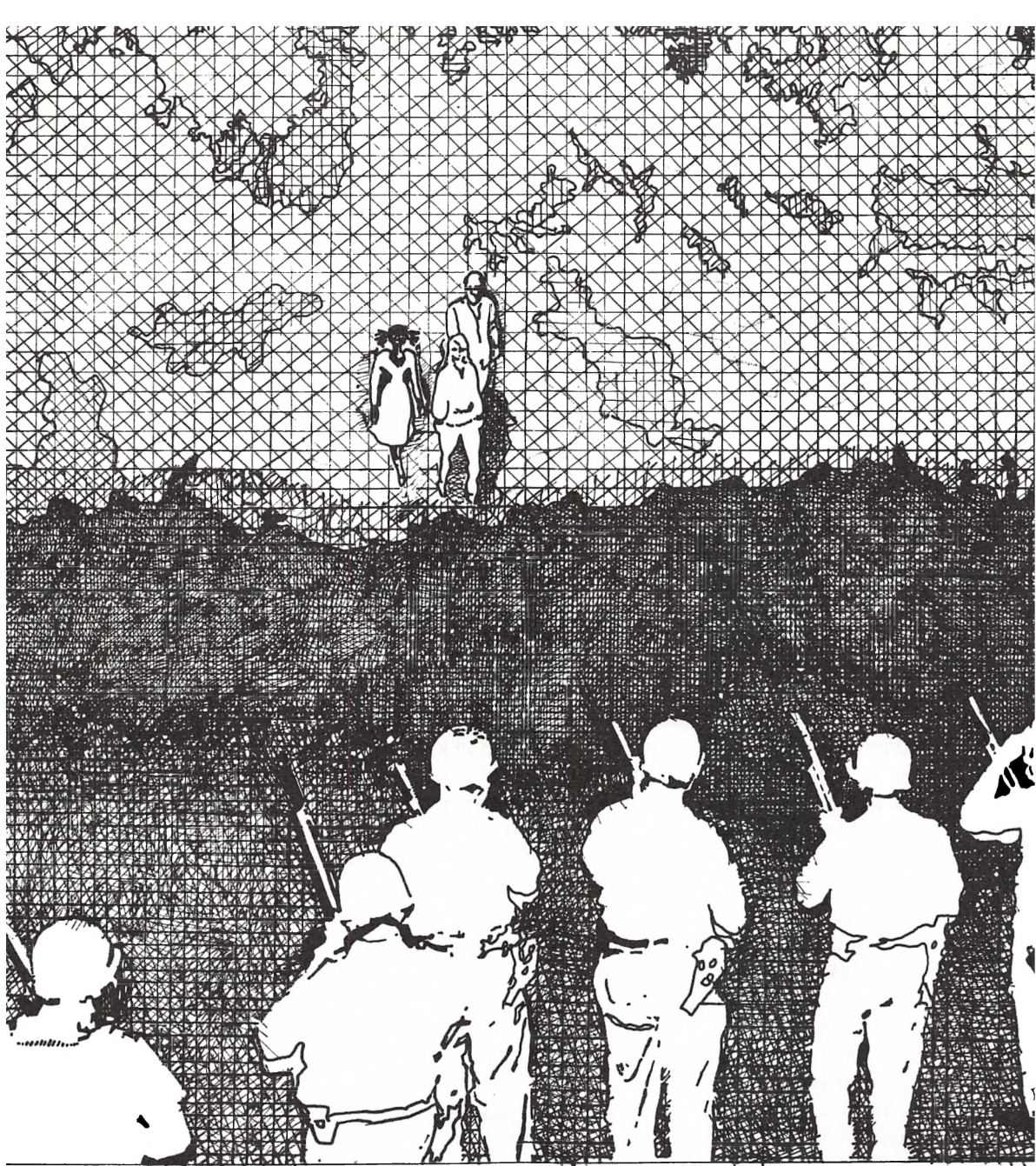
Солдаты преградили ему путь, он только взглянул им в глаза, и они расступились.

Корчак вступает на площадь, где стоит закованный в кандалы Матиуш.

Он приблизился к Матиушу. И это уже не Корчак. Это старый ученый профессор. Он подошел к маленькому королю и перевел слова Клю-Клю.

— КЛЮ-КЛЮ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ МАТИУША. КЛЮ-КЛЮ НЕ ОСТАВИТ ЕГО. КЛЮ-КЛЮ ХОЧЕТ УМЕРЕТЬ ВМЕСТЕ С НИМ.





— Он снял свои большие очки, положил их в карман и тихо сказал:

— И СТАРЫЙ ПРОФЕССОР ТОЖЕ НЕ ОСТАВИТ МАТИУША.

Так стояли они все трое, бледные и спокойные, с гордо поднятыми головами, когда взвод солдат заряжал ружья и целился в них.

Горбатый Министр Внутренних Дел про-

ходил по дворцу и увидел лежащего на полу тряпичного паяца и рядом детскую хлопушку. Он взял паяца большими волосатыми руками, поднес к глазам, захохотал и выбросил в окно. Поднял хлопушку и хлопнул ею.

Раздался залп.

На дорожке королевского сада лежит тряпичный паяц.

Фотографии гетто сменяют друг друга.

Пустая площадь после отправки эшелона. На рельсах детский ботинок.

Лежит на асфальте бидон из-под молока, футляр от зубной щетки, кружка.

Все опустело. Выщербленная стена. Сквозь известку проступают кирпичи. Вещи собраны в кучу. Детская коляска.

Там, где находился маленький оркестр, кругом стоят пустые поппиты.

Звучит этот странный старый еврейский танец.

Темно, наглухо закрыт товарный вагон.

Стучат колеса. Серые блики света порой падают на ребят, смутно освещая их фигурки. И снова все темно.

Слышится голос Корчака. Он рассказывает сказку о Матиуше: медленно, тихо, часто замолкая:

— ОНИ СТОЯЛИ У СТЕНЫ ПОД ДУЛАМИ ГВАРДЕЙЦЕВ — МАТИУШ И КЛЮ-КЛЮ.

— И СТАРЫЙ ПРОФЕССОР? — спрашивает детский голос.

— И СТАРЫЙ ПРОФЕССОР, КОНЕЧНО, — отвечает Корчак.

— И ИХ... ИХ УБИЛИ?

— НЕТ, — отвечает Корчак. — МАРЫСЬКА, ТА, КОТОРАЯ ГОВОРИЛА "А ВСЕ-ТАКИ МАТИУШ САМЫЙ МИЛЫЙ НА СВЕТЕ", МАЛЕНЬКАЯ МАРЫСЬКА КРИКНУЛА: "НЕ СМЕЙТЕ! ОН ВЕДЬ МАЛЕНЬКИЙ! НЕ СМЕЙТЕ!" ТАК КРИКНУЛА, ЧТО БЫЛО СЛЫШНО ВО ВСЕМ МИРЕ. И СОЛДАТ С СЕДЫМИ УСАМИ, ТОТ, КОТОРЫЙ УЧАСТВОВАЛ В ДЕСЯТИ ВОЙНАХ, ОПУСТИЛ ВИНТОВКУ И СКАЗАЛ: "ЭТО ГОЛОС МОЕЙ ВНУЧКИ МАРЫСЬКИ. БУДЬ Я ПРОКЛЯТ, ЕСЛИ ВЫСТРЕЛЮ В МАЛЕНЬКОГО МАТИУША!" И ВСЕ СОЛДАТЫ ОПУСТИЛИ ДУЛА ВИНТОВОК.

Стучат, стучат колеса.

— И ЕГО... НЕ УБИЛИ?... — спрашивает дрогнувший детский голос.

— НЕТ, — твердо отвечает Корчак.

— УРА! — закричало несколько ребят.

— Я ТАК И ЗНАЛА, ЧТО ЕГО НЕ УБЬЮТ! ТАК И ЗНАЛА, — сказала девочка.

— И Я! — сказал мальчик.

Стучат колеса.

Темный вагон, где еле угадываются силуэты ребят, сгрудившихся вокруг Корчака. И вдруг — ослепительно яркая зелень листвы, травы возникает в окошке вагона. Оно несется, мелькает, это живое зеленое пятно, светится.

Стук колес громче, чаще.

Возникает музыка реквиема...

И вот уже перед нами луг, заросший цветами и высокой травой.

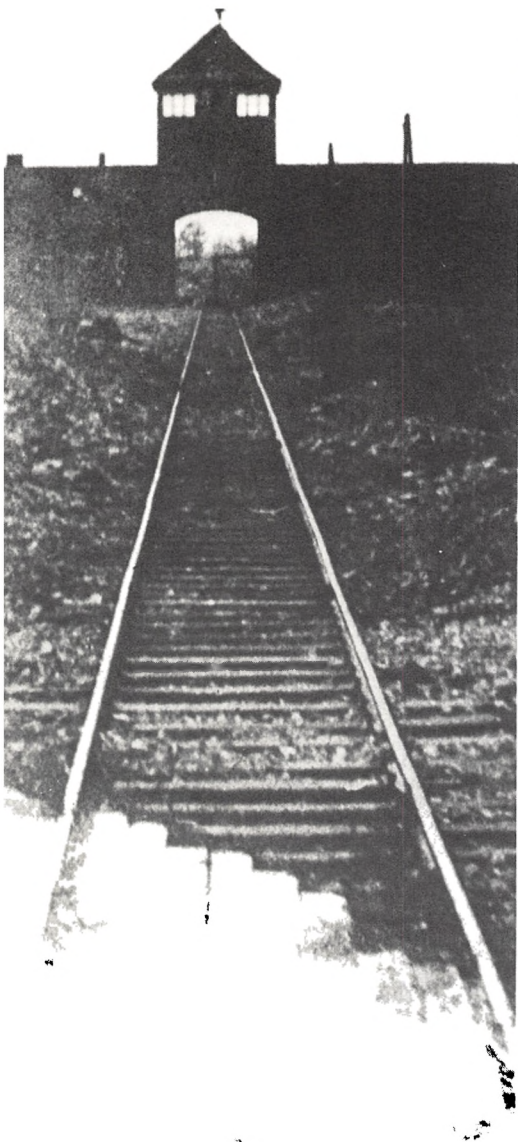
Низко над горизонтом утреннее солнце.

Мальчик бежит по лугу.

Лебеди отталкиваются от воды и взмывают вверх. На воде следы от их лап.

Мальчик бежит по лугу, покрытому цветами. Летят лебеди. Мощный шум крыльев наполняет воздух.

И снова одинокая фигурка бегущего мальчика. Длинная тень за ним, как бы догоняющая его.



Мы слышим голос Корчака: глуховатый, чуть запинаящийся...

Голос Корчака:

— КАК УДИВИТЕЛЬНО!

Голос мальчика:

— ЧТО УДИВИТЕЛЬНО?

Голос Корчака:

— ВСЕ, ВСЕ, ЧТО ТЫ ПОМНИШЬ И ЧТО ЗАБЫВАЕШЬ, И КАК ЧЕЛОВЕК ЗАСЫПАЕТ, И ЧТО ЕМУ СНИТСЯ, И КАК ПРОСЫПАЕТСЯ, И ЧТО БЫЛО И НЕ ВЕРНЕТСЯ... И ЧТО БУДЕТ...

Грозно и печально звучит реквием...



К О Н Е Ц

ИЕРУСАЛИМСКИЙ МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ
"МАЛЕР"
принимает заказы на книги нашего издательства

	Цена в долла- рах США
М. Мамардашвили, А. Пятигорский "Символ и сознание"	20
Р. Мандельштам "Избранное" (включая воспоминания А. Арефьева и статью А. Волохонского)	4
А. Архангельский "Пародии" (илл. А. Каневского)	7
Г.-В. Катулл "Новые переводы" (пер. А. Волохонского)	5
Ф. Кафка "Письмо к отцу" (оформл. Е. Сарной)	7
Ю. Милославский "Избранные стихи" (худ. М. Байер)	8
Л. Аронзон "Избранное"	8
А. Волохонский "Бытие и Апокалипсис" (комментарии к Откровению св. Иоанна, Книге Творения – одному из ранних каббалистических трактатов)	17
Е. Шифферс "Смертью смерть поправ" (роман)	15
А. Хвостенко, А. Волохонский "Городские поля. Поэзия разного рода"	13
"Парнас дыбом" (с дополнениями и новыми публикациями)	15
"Краткий словарь еврейских имен"	5

Из библиотеки "Черная Курица"

"Ленин в русских сказках и восточных легендах" (репринт с изд. "Молодая гвардия", М. 1930, илл. С. Юдовина)	8
Амос Тотуола "Путешествие в город мертвых"	8
"Протоколы сионских мудрецов"	8

**Серия "Золотая библиотечка для детей
Гриша и Дана"**

Вера Ферра-Микюра "Путешествие в город чудаков"	10
Дж. М. Барри "Питер Пэнн и Венди"	10
К. Пино "Сказки"	10
Я. Броневская "Приключения тряпичной Бальбуси"	10

**Предлагаем книги других издательств,
антикварные и букинистические издания.**

Наш адрес: ул. Йозель Саломон, 17, тел. 02-223078

Для переписки: "Maler" P.O.B. 6608, Jerusalem

Эдуард КАПИТАЙКИН

Зелиг и Ентл



Два американских фильма — "Ентл" Барбары Стрейзанд и "Зелиг" Вуди Аллена — вышли на израильские экраны почти одновременно. Это случайное совпадение оказалось внутренне содержательным. Сопоставление двух картин позволяет, на мой взгляд, многое понять не только в психологии и творческих устремлениях их создателей, но и в том, как воспринимает мир и свое место в нем современное еврейство.

Как это сделано?

Стало уже общим местом начинать разговор о фильме Вуди Аллена "Зелиг" с того, как этот фильм сделан. А сделан он действительно блестяще, с поистине фантастическим мастерством. Один американский критик даже заметил, что подлинная звезда "Зелига" — это не его герой, а техника создания фильма.

Я бы назвал жанр картины документально-мифологическим. Вуди Аллен создает американский вариант поручика Киде, рассказывая о человеке, которого не было, как о личности, реально существовавшей.

В принципе, так поступает каждый настоящий художник. Но Вуди Аллену мало художественной реальности. Он хочет засвидетельствовать ее документально.

Здесь точно учтена психология массового человека XX века, воспитанного на многочисленных политических, литературных и киномифах нашего времени и одновременно доверяющего только заверенной нотариально копии документа.

Структуру фильма "Зелиг" составляют кадры кинохроники конца 20-х — начала 30-х годов, отснятые Вуди Алленом и его постановочной группой... на современной киностудии. Эти виртуозно сфабрикованные "копии документов", можно сказать, заверены несколькими интервью с реально действующими сегодня известными лицами: писателем Солом Беллоу, критиком Ирвингом Хау, писательницей Сьюзен Зонтаг, которые рассуждают о Зелиге, как об исторической личности. Однако здесь есть известная доля лукавства. Вуди Аллен ставит комедию, и каждый кадр его картины — часто еле заметно — взрывается изнутри иронией.

Когда на экране появляется, например, Германия 1933 года с марширующими колоннами штурмовиков и истерически-восторженной толпой, простирающей к фюреру тысячи рук, невозможно отделаться от ощущения, что перед тобой известные по многим лентам кадры нацистской кинохроники.

Впечатление это еще более усиливается, когда действие переносится в огромный зал, где на трибуне беснуется вождь Третьего рейха. Но что это? Внезапно монолитный черный президиум за спиной Гитлера раскалывается, приходит в движение. Один из "черных", удивительно знакомый, худенький, лопоухий, в круглых очках, начинает отчаянно жестикулировать, делая призывные знаки зрительному залу. Там, в зале, невеста Зелига, пробравшаяся в Германию, чтобы найти своего внезапно исчезнувшего жениха. Фюрер сбивается, оборачивается, негодует. Зал возмущенно вопит... А через мгновение (опять "документальные" съемки) влюбленная пара, совершая чудеса кинохрабрости, ускользает на спортивном самолете из-под носа фашистской эскадрильи.

Эта скрытая, спародированная и переработанная цитата из чаплинского "Диктатора" — ключ к пониманию социальной и художественной природы фильма "Зелиг" и героя Аллена.

Настала пора сказать о том, кто же такой Леонард Зелиг, человек средних лет, выходец из семьи бруклинских раввинов и актеров нью-йоркского театра, игравших на идише и носивших в доамериканские (польские, русские?) времена фамилию Зелигман. Сделать это не так просто, как кажется.

Зелиг, как уже говорилось, нечто вроде тыняновского поручика Кижее, человек без лица, точнее, с тысячей лиц, хамелеон. Он меняет свой облик в зависимости от того, в каких обстоятельствах находится и с кем общается. Рядом с толстым он — толстяк, с боксером (и не с кем-нибудь, а со знаменитым Джеком Демпси) — боксер, с негром — негр, с китайцем — китаец, среди индейцев — индеец... Это в фильме вызывает, между прочим, невиданное оживление деятельности Ку-Клукс-Клана, который охотится за Зелигом, чтобы линчевать его трижды: мало того, что он еврей, он еще способен трансформироваться в индейца и негра!

Многие критики упрекают Вуди Аллена в том, что он остановился на полпути. Набросал контуры роли, но не сыграл ее, ни разу не поставив своего Зелига в какую-либо драматическую сюжетную ситуацию. Думаю, Вуди Аллен сознательно задержался на той грани, которая отделяет его документально-мифологический фильм от традиционного киноповествования. Он создал не образ, а символ. Довел до логического, хотя и внешне парадоксального, абсурдного завершения идею конформизма.

Реальное психологическое объяснение невероятной хамелеонской способности и желания Зелига "менять кожу", в сущности, заключено в одной его фразе — признании психиатру: "Я хочу, чтобы ко мне хорошо относились".

Критик и социолог Ирвинг Хау, рассуждающий о Зелиге с экрана, говорит о нем, как об олицетворении бешеного, отчаянного стремления американских евреев к ассимиляции. Этот социологический комментарий кажется мне существенным.

"Я хочу, чтобы ко мне хорошо относились"

Несколько лет назад в иерусалимском Музее Израиля проходила выставка фотографий из собрания известного нью-йоркского коллекционера Дана Берли. Среди многих и мно-

гих поистине уникальных экспонатов этой выставки внимание зрителей привлекал скромный, на первый взгляд, фотопортрет, помеченный 1975 годом.

Музей "Метрополитен" в Нью-Йорке. Огромное парадное полотно, изображающее какого-то великолепного полководца далекого и блистательного столетия, наверно, соратника Джорджа Вашингтона. А под ним — наш современник: маленький, грустный, очкастый, лопухий еврей.

Печальный американский кинокомик, так сказать, сегодняшний заместитель Чарли Чаплина, Вуди Аллен...

Эта фотография вспомнилась мне, когда я в том же 80-м году смотрел один из лучших фильмов Аллена "Манхаттан".

Это, если помните, черно-белый фильм, искусно стилизованный под старые фотографии и ленты тридцатых годов, хотя действие его происходит в современном Нью-Йорке. Прямой предшественник нынешнего "Зелига", проба пера мастера.

Нью-Йорк на экране словно овеян романтической дымкой. Он увиден глазами влюбленного в него человека.

Вуди Аллен живет в Манхаттане, на двадцатом этаже старого небоскреба. С его балкона хорошо виден Центральный парк, тот самый, где происходят любовные свидания героя (как всегда, его играет сам Вуди Аллен). С этого балкона, если верить журналистам, были сняты многие кадры фильма. Окна квартиры Вуди Аллена (опять я пересказываю киносплетни, которые охотно приводят израильские журналы) смотрят прямо в окна его постоянной партнерши и друга, актрисы Дианы Китон, живущей в доме напротив. И уже играя в картине, Вуди Аллен и Диана Китон встречаются, вероятно, точно в таком же типичном богемном жилище нью-йоркских интеллектуалов — с картинами на стенах, с баром, книгами, с негромким стерео и неброским видео.

Герои "Манхаттана" живут именно здесь. В этом районе огромного, прекрасного "не-американского" города (Нью-Йорк — сам по себе страна); в этом старом небоскребе; посещают эти бесчисленные художественные выставки; сидят в зале этого маленького "оф"-бродвейского театра, целуются на скамейке этого романтического (для них) парка.

В фильме "Манхаттан", как и в "Зелиге", несмотря на его традиционно-повествовательную форму, по существу, ничего не происходит. Его герой, телесценарист и, возможно, писатель, Исаак Дэвис разошелся с женой. Жена ушла... Чуть было не сказал — к другому. Но нет, в духе времени, не к другому, а к другой...

Разочарованный Айзик (так называют его друзья) исправно посещает психиатра, встречается с не слишком молодой интеллигентной женщиной "своего круга" и одновременно — с семнадцатилетней девушкой (ее, между прочим, играла ровесница героини, внучка Хемингуэя юная Мюриэл Хемингуэй). И женщина, и девочка скоро покидают героя. Он остается один. Вот, собственно, и все. Остальное — бесконечные разговоры, которые персонажи "Манхаттана" ведут везде, где придется: в телевизионной студии, на улице, в машине, в постели, на выставке, в парке.

Когда-то Эжен Йонеско в своих первых нашумевших пьесах искусно спародировал повседневный бытовой жаргон современного обывателя, благополучного буржуа. Вуди Аллен воспроизводит жаргон современного рафинированного интеллигента. Некое интеллектуальное клише, где обязательно соседствуют секс, Фрейд, социология, искусство.

Когда смотришь "Манхаттан", иногда кажется, что все происходящее с героем придумано им самим и для себя. Недаром он профессиональный сценарист. В отличие от Исаака Дэвиса, Зелиг — не профессионал, вообще не очень понятно — кто, но "документально" зафиксированные его превращения и подвиги тоже порой представляются сном, киновоплощением мечты героя, вплоть до пародийно традиционного "хэппи-энда" под сладкую музыку, среди белых беседок, в белых одеждах, с поцелуем в диафрагму...

В одном из эпизодов "Манхаттана" Исаак Дэвис, гуляя с друзьями где-то в окрестностях Нью-Йорка, видит в витрине магазина книгу своей бывшей жены. Как выясняется впоследствии, многие страницы этой книги посвящены ему, по словам жены, человеку скучному, назойливому, ничтожному и неполноценному, как все евреи. Так черным по белому и написано. Нет-нет, Исааку Дэвису никто и никогда не напоминает о его происхождении. Бывшая жена — единственная. Хорошо помнят об этом только он сам и его создатель.

Настоящие имя и фамилия Вуди Аллена — Аллен Стюарт Кенигсберг. Он родился в 1935 году в Бруклине, еврейском квартале Нью-Йорка. Начал зарабатывать на жизнь с тринадцати лет — писал репризы и сценки для комических актеров и цирковых клоунов. Порой ему удавалось сочинить до пятидесяти (!) шуток в день.

Сегодня, после дюжины фильмов, нескольких книг, пластинок, спектаклей и жен, он — холост, свободен, по его собственным словам, делает то, что считает нужным, и, по сведениям газетных репортеров (их быт, их нравы!), исправно посещает психиатра.

Слава его не заботит. Три "Оскара" и главный приз Каннского фестиваля за фильм "Мой роман с Анни", по признанию Вуди Аллена, ничего не изменили в его жизни. Сегодня он вообще предпочитает не участвовать в подобных соревнованиях. Да и что делать такому фильму, как "Зелиг", в компании нынешних претендентов на "Оскар" в шумном, позолоченном, суетном Голливуде?

Зато каждая новая картина для Вуди Аллена — подлинное "самолечение" (его слова), душевная встряска, духовное обновление, независимо от успеха или провала.

"Самой моей большой мечтой в детстве, — говорит Вуди Аллен, — было стать знаменитым и опасным гангстером. Эту мечту я осуществил в первой же своей ленте — "Бери деньги и беги".

В этой комической картине Вуди Аллен подражал Чаплину. Его герой — маленький, растяпистый, нескладный, рассеянный интеллигент — пытается грабить банки и всегда неудачно. Он, например, протягивает в окошко кассы записку с грозным, подкрепленным пистолетом требованием выдать подателю сего десять тысяч долларов, но, увы, никто не может разобрать его почерк.

По-американски деловое разбирательство (что здесь написано?!) доходит до кабинета директора банка, в него включаются все служащие, посетители и, наконец, полицейский с приготовленными для незадачливого грабителя наручниками...

Персонажи Вуди Аллена, в сущности, близнецы. Как Чаплин, он из фильма в фильм варьирует один и тот же тип героя, изменив, по сравнению со своим великим предшественником, его социальную, интеллектуальную и национальную окраску.

Кто, собственно говоря, все его персонажи (в том числе, герои "Манхаттана" и "Зелига") — эти хилые, малорослые, очкастые (мы — народ Книги!) потомки выходцев из немецких городов, польских или русских местечек, страдающие неврастенией и отягощен-

ные комплексом неполноценности? Что, на самом деле, эта детская мечта стать знаменитым гангстером? Что, в реальности, боксерские перчатки на тоненьких руках Зелига и его "мертвые петли" в кинонебе нацистской Германии?

Ответ на эти вопросы дал шестьдесят лет назад Исаак Бабель в своих лукавых, ироничных и грустных "Одесских рассказах", густо населенных сказочными еврейскими Робин Гудами, романтическими местечковыми налетчиками и бандитами.

"Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной и русская женщина останется вами довольна... Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе — осень?.."

Фильмы Вуди Аллена (и "Зелиг" в этом ряду) — история и портрет. Бесконечная история и один и тот же портрет современного маленького человека, Чарли, закончившего университет и пробившегося на телестудию или кафедру. История и портрет современного интеллигента-еврея, который хочет быть "как все" и который постоянно сбивается с общего ритма, вылезает за рамки благопристойной картины.

Это мечта слабости о силе. Мечта об иной, осмысленной, полной, естественной жизни, без комплексов, сомнений и миражей. В конечном счете, мечта о том, чтобы его всегда и все любили или хотя бы просто хорошо относились. Принимали таким, какой он есть.

"Хуцпа" Барбары Стрейзанд

В отличие от Вуди Аллена, Барбара Стрейзанд — дитя не только еврейского Бруклина, но рекламно-американского Голливуда.

В своем роде она тоже хамелеон, но, сменив кожу, позаботилась о пестрой раскраске.

Ее жизнь — на виду, напоказ. Экстравагантные прически и туалеты, откровенная само-реклама, отпразднованная на весь Нью-Йорк *бар-мицва* сына, бурные романы (особенно с Омаром Шарифом — араб и еврейка!), базарные перепалки с журналистами, вежливые беседы с политическими деятелями. Надолго запомнится израильтянам ее недавний "налет" на Израиль. Всего три дня. Встреча с премьер-министром Ицхаком Шамиром. Белое платье. Распущенные волосы. Прогнозы по поводу итогов наших выборов. Многочисленная свита близких друзей...

Ивритское словечко *хуцпа* (нахальство, гонор, смелость, отвага — на выбор), брошенное американскими кинокритиками по поводу фильма "Ентл", должно было прийтись Барбаре Стрейзанд по душе. Что, как не хуцпа, позволило этой некрасивой, эксцентричной, грубоватой, обворожительной еврейской девушке "из низов" подняться на вершину американского кино-Олимпа?

Сравнивать "Ентл" Барбары Стрейзанд с "Зелигом" Вуди Аллена — это все равно, что сравнивать братьев Люмьер с Феллини.

Ее картина рядом с творением рафинированного и искушенного интеллектуала наивна и простодушна. Но одновременно в этом ее прелесть и своеобразное обаяние.

О фильме "Ентл" в Израиле много писали. Сначала, до выхода картины на экран, статьи были рекламно-хвалебные. После выхода — сдержанно-благожелательные, слегка критические и даже откровенно ругательные. Ругают "Ентл" главным образом за явный отход от известного рассказа Башевиса-Зингера, за его упрощение и еще за то, что исполни-

тельница главной роли и режиссер фильма Барбара Стрейзанд оттеснила всех на задний план, властно заняла первое место, более того, по словам некоторых критиков, буквально "влюблена в себя на экране", всячески это демонстрируя.

Сравнение любой инсценировки или экранизации с первоисточником, как правило, непродуктивно.

Если судить с такой точки зрения, то тогда "Ентл" — это действительно водевиль с переодеванием в еврейские одежды. Еврейский маскарад с европейской музыкой (Мишель Легран), национальный вариант "Гусарской баллады".

Для Барбары Стрейзанд, талантливой певицы и неплохой комической актрисы, на сей раз дело обстоит серьезнее. Недаром она готовилась к съемкам фильма много лет.

Для нее "Ентл" — высказывание о женщине, о ее праве на духовное равноправие с мужчиной; в конечном счете, фильм о себе, о том, чего она сама, собственными руками (или локтями) добилась в жизни, в мире кино, где вот сейчас сняла фильм от начала до конца — в качестве продюсера, постановщика, соавтора сценария, исполнительницы главной роли.

А еврейские одежды для Барбары Стрейзанд — не маскарад, а форма уважения к предкам, дань любви к отцу, который умер, когда она была маленькой девочкой.

Напомню, что у Башевиса-Зингера речь идет не только о женском равноправии и о способности постичь Тору женским умом, но о женщине, которая по ошибке природы родилась женщиной, а не мужчиной. "Ентл" Башевиса-Зингера — психологический рассказ, написанный под сильным влиянием идей Фрейда, с типично галутскими интонациями ущербности, неполноценности, вековой внутренней тоски.

У Барбары Стрейзанд ничего этого нет и в помине, да и быть не могло. Ее "Ентл" по духу абсолютно американский, жизнерадостный музыкальный боевик, сделанный притом со вкусом и тактом. Сомнений в судьбе героини здесь не возникает ни на минуту.

У Башевиса-Зингера в финале рассказа *Ентл-ешиве-бохер* неожиданно исчезает, словно проваливается сквозь землю. У Барбары Стрейзанд она переодевается снова в женское платье и в окружении других живописных эмигрантов красиво плывет на большом океанском пароходе. Куда она плывет? Сомнений быть не может: конечно же, в Америку. И она обязательно победит, как победила в реальной жизни ее создательница.

Сравнение фильмов "Ентл" и "Зелиг" как художественных произведений — невозможно. Слишком несоизмеримы творческие индивидуальности и возможности их создателей. Но сопоставление внутреннее, идейное напрашивается само собой.

Герой Вуди Аллена носит свое еврейство как желтую звезду, он от него бежит, им тяготится, пытается маскироваться подобно хамелеону в минуту опасности. Героиня Барбары Стрейзанд (и в данном случае она сама) размахивает еврейским происхождением и внешними атрибутами еврейства как рекламным плакатом (подобно тому, как актриса навязчиво и кокетливо демонстрирует нам с экрана свой длинный нос и тощие ноги). Остроумно выразился по сходному поводу один старый русский писатель: "Национальный колорит схож с наивностью: если ты его у себя осознаешь, считай, что его у тебя нет".

На мой взгляд, однако, между "Зелигом" и "Ентл" все-таки больше сходства, чем различия. И изысканный киноэксперимент Вуди Аллена и бесхитростная комедия Барбары Стрейзанд — не есть ли это все те же варианты вечного рассказа о судьбе Вечного Жида, трагического странника по многим галутским дорогам мировой истории?

Уильям МАНДЕЛ

“Чёрная узdechка белой кобылице...”

(ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА В МОСКВЕ)

Года два назад вернувшийся из поездки в Москву бизнесмен показал нам с женой видео-запись музыкальной оперы-мистерии “Черная узdechка белой кобылице”, поставленной московским еврейским музыкальным театром. И моя жена, чей родной язык — идиш, хоть она и родилась в Америке, и я, любитель балета с пятидесятилетним стажем, — мы оба пришли к мнению, что это оригинальное произведение, которое заслуживает того, чтобы быть показанным в США.

В октябре 1982 года в Нью-Йорке я пытался приобрести пластинки с записью этой оперы для своих друзей. В городе, где евреев проживает больше, чем в любом другом на земном шаре, никто даже не слышал о существовании такой оперы.

Я помнил об этом, когда, находясь в Москве, пришел в здание еврейского музыкального театра (где прежде помещался знаменитый театр на Таганке), чтобы взять интервью у главного режиссера театра. Это был очень энергичный и откровенный в беседе человек лет сорока, в свитере, на котором кем-то из сотрудниц было вывязано на груди еврейскими буквами его имя — Юрий Шерлинг, а на спине слово “шеф”.*

Мы сидели в комнате с двумя роялями, на которых он и его соавтор играли мне отрывки из музыки к их новой постановке. Стены были увешаны афишами спектаклей театра. Вот запись нашей беседы.

У. М. Я нахожусь в Московском еврейском камерном театре, передо мной — Юрий Шерлинг, его художественный руководитель, композитор и главный актер.

Меня заинтересовал не только сам факт существования подобного театра в СССР, но и его высокий профессиональный уровень. Меня интересует, где вы нашли актеров. И вообще — расскажите мне все, что хотите, о труппе театра, о своей опере и о том, над чем вы работаете сейчас.

Шерлинг. Сегодня я могу сказать, что Еврейский камерный музыкальный театр состоялся.

*Наш читатель, в большинстве случаев имеющий достаточный опыт советской жизни, без труда внесет необходимые ситуационные коррективы в ход публикуемого интервью и определит меру откровенности интервьюируемого. (Прим. ред.)

У нас есть все, чтобы оправдать название театра, значащееся на вывеске (на идише и на русском).

Идея создания подобного театра возникла давно. В 1949 году перестал существовать последний оплот еврейской культуры – Государственный еврейский театр, возглавлявшийся знаменитым Михоэлсом, – и в этой области возник вакуум. Кроме того, опыт прошлых лет показал, что аудитория еврейского театра всегда была интернациональной по составу.

Я не могу согласиться с тем, что для этого имелось какое-либо социальное или идеологическое оправдание, но факт остается фактом: в 1949 году театр прекратил свое существование. Произошло это не только вследствие ошибочного решения о его закрытии. В последние годы жизни Соломон Михоэлс часто жаловался, что театр привлекает малую аудиторию и что его беспокоит проблема репертуара.

У нас были долгие споры о том, на каком языке выступать, на идише или на иврите. Дело в том, что евреи, оставаясь евреями внутри, повсеместно усвоили язык и культуру той страны, в которой проживают. В результате произошла частичная ассимиляция. Язык и внешний образ жизни они переняли от того народа, среди которого жили, а внутри сохраняли или пытались сохранить некоторые элементы собственного национального уклада.

И сторонники ассимиляции, и сторонники традиционализма порой доходили до абсурда – как это бывает с любым течением. Тем не менее мой коллега Соломон Михоэлс должен был даже в этих условиях задуматься, как привлечь публику.

Я не намерен скрывать, что... что были сложности, была причина, по которой театр перестал существовать. Предпринималось немало попыток возродить подобный театр, но ни у кого не было четкого плана, как это сделать. Отсутствовал репертуар, с каждым днем все меньше становилось людей, знающих идиш или иврит. Я встретил в Москве на международной выставке одного крупного израильского издателя. Он сказал мне: "Послушайте, я издал Шолом-Алейхема на идише". Я ответил: "А почему не на иврите?" – "Не читают. В Париже его читают по-французски, в Лондоне и Нью-Йорке – по-английски".

Появление "Скрипача на крыше" на английском вполне логично. Я считаю, что проблемы, затронутые в этой пьесе, ни в коей мере при этом не пострадали, а количество людей, которые получили возможность познакомиться с этими проблемами, то есть общее количество публики – возросло вдвое или втрое.

Конечно, я мог бы организовать подобный театр в любом другом месте на земном шаре и, возможно, ценой значительно меньших усилий и затрат энергии, но я гражданин России, коренной москвич, русский еврей...

У. М. Сколько вам лет?

Шерлинг. Сейчас мне тридцать восемь, но когда я получил возможность осуществить идею создания этого театра, мне было тридцать два. Я был самым молодым директором, финансовым распорядителем и художественным руководителем театра.

Потребовались, правда, долгие годы убеждений. Не скажу, что с самого начала все шло легко. Мне говорили: "Ну, хорошо. Еврейский театр умер. Как можно его оживить? И кто это будет делать? И на каком языке вы собираетесь играть? И кому это нужно? Играйте на русском!" И тогда передо мной встала основная задача: возрождение культуры на языке идиш.

Эта культура существует с XIII столетия, появившись вслед за переселением евреев в Западную Европу, когда они приняли в качестве основы для своего повседневного языка то, что в конечном итоге дало нам Шолом-Алейхема, лауреата Нобелевской премии Ицхака Башевиса-Зингера и Менделе Мойхер-Сфорима. Надо включить сюда же и Ицхака-Лейбуша Переца... Целая литература, музыка... Отрицать существование этой культуры бессмысленно, как бессмысленно отрицать существование многовековой культуры на иврите.

И вот я выбрал своей целью возрождение идишистской культуры, так как мне хотелось удовлетворить свою ностальгию и потребность людей услышать что-то свое, чего давно нельзя было услышать.

И тогда я начал искать формы художественного контакта с сегодняшней молодежью*.

Здесь я не могу не отметить с гордостью, что это театр, субсидируемый государством. Совет министров нашей страны принял решение о создании этого театра, — и в марте 1977 года у меня на руках был документ, который дал возможность воплотить это решение в жизнь.

У. М. Откуда вы, молодой человек, уроженец Москвы, города, где идиш не преподавали, так хорошо и глубоко знаете этот язык? И где вы нашли молодых сотрудников, знающих этот язык достаточно хорошо, чтобы работать на нем?

Шерлинг. Здесь я должен отметить, что произошло нечто необычное — парадокс возрождения. Я ведь не знаю еврейского языка. То есть я знаю достаточно, чтобы понимать, но это не мой родной язык. Это, пожалуй, самый дорогой для меня язык, я хотел бы им владеть, но думаю, пишу и работаю исключительно на русском языке, потому что я родился и вырос в семье, не имевшей прямого отношения к еврейской культуре. Это просто зов крови.

Моя мать, Александра Шерлинг, была дирижером — первой женщиной-дирижером в Советском Союзе. Она окончила Ленинградскую консерваторию и стала очень заметной фигурой музыкального Ленинграда. Но ни в моей семье, ни в окружении, в котором я вырос, не было ничего непосредственно связанного с еврейской культурой. Как я уже сказал вам, к 1949 году не осталось ни хедеров, ни ешив, ни еврейских школ — ничего, как ничего нет и сегодня, к сожалению. К великому сожалению. И я веду очень упорную борьбу, чтобы пробудить интерес к еврейству в сознании людей и в сознании властей. Но здесь также натыкаешься на тысячу парадоксов.

В Биробиджане, в Еврейской автономной области, где существование еврейского образования, казалось бы, должно быть само собой разумеющимся, родители категорически отказываются посылать детей в еврейские школы. Они считают это ненужным. Обучение идишу сталкивается с трудностями почти непреодолимыми. И мне придется потратить еще долгие годы, чтобы убедить евреев, что для сохранения нации необходимо сохранение языка и культуры.

Где я взял людей, чтобы предпринять этот труд? Я начал с нуля. Я собрал вокруг себя стариков, которые знали язык. Я музыкант. Я доверился своему слуху. Они запи-

* В опере-мистерии Шерлинга, действие которой происходит в дореволюционном еврейском местечке в России и которая рассказывает о традиционном конфликте различных точек зрения на цели жизни, использованы не только чисто еврейские музыкальные темы, но и джаз и "рок".

сывали для меня еврейские слова русскими буквами. Это была работа невероятной трудности, невероятной.

Я обратился в хореографическую школу и попросил показать мне, — я ведь еще и хореограф, выпускник балетного училища Большого театра, — попросил показать мне что-нибудь характерно еврейское. К сожалению, к тому времени они либо совершенно забыли, что это такое, либо полностью ассимилировались, либо перепутали, что есть что. Тогда я проделал опыт. Я танцевал перед своими стариками так, как я это чувствовал, и когда я увидел на их лицах слезы и в то же время улыбку, то понял, что я на правильном пути. То есть я практически возродил нечто, бывшее мертвым.

Всего час тому назад я сидел здесь со своим лучшим другом, музыкальным руководителем театра, и мы играли еврейские песни старых времен и ломали головы над тем, как их, так сказать, переварить, как представить их так, чтобы тот еврей, который знает эти песни, не был оскорблен тем, как обращаемся с ними мы, молодые люди, не знающие этих вещей, — а разве мы виноваты в том, что мы их не знаем?..

У. М. Как и наши дети!..

Шерлинг. Да. Это верно для различных общественных и политических систем. Ну, так вот и была создана наша первая опера. Я сидел и штудировал дома Библию. Я изучал историю евреев России, Литвы, Польши. Я изучал Кабалу. Можно сказать, что я практически должен был пройти институтский курс по еврейским дисциплинам и должен был постоянно соотносить их с достижениями мировой культуры.

У. М. Современной?

Шерлинг. Современной, конечно. Дело в том, — и я сожалею об этом и постоянно говорю об этом, — что у нас нет своего Фолкнера, своего Льва Толстого, что максимум, которым нам приходится довольствоваться, это Зингер и Шолом-Алейхем, у нас нет своего Достоевского. Я говорю о гигантах: мы, евреи, вложившие так много в культуру других народов, отдавшие так много, иногда забываем, что должны заняться и собой. Вот о чем я говорю.

10 ноября 1978 года театр родился официально — в городе Биробиджане Еврейской автономной области. Вслед за этим событием у меня появилась следующая идея. Я хотел, чтобы набор пластинок с музыкой оперы "Черная уздечка белой кобылице" стал достоянием каждого еврея, а вслед за тем и многих других людей, интересующихся культурой. К сожалению, по разным причинам этого не произошло.

Поверьте мне, работа, которую мы делаем, бывает иногда неблагодарной, иногда в каком-нибудь маленьком еврейском городке нам говорят: "Почему вы поете на идише? Почему вы не поете по-русски? Мы не понимаем вас". Но я настаиваю на том, чтобы петь на идише! И все представления, которые дает наш театр, — на идише, хотя сейчас, когда театр существует уже пять лет, я собираюсь поставить "Скрипача на крыше" на двух языках — на идише и на русском, чтобы раздвинуть границы нашей потенциальной аудитории.

На сегодняшний день репертуар театра состоит из постановок, созданных целиком в нашем театре. Эти вещи не играет ни один другой театр в мире, ни еврейский, ни какой-нибудь иной. Возьмем, к примеру, "Черную уздечку белой кобылице". Это полностью

оригинальное произведение. Затем мы показываем шоу "Ломир алэ инейным" ("Давайте все вместе"). Третья постановка, которую мы осуществили, не имеет этнических, национальных черт, и не следует считать их отсутствие в нашем спектакле абсурдом. Это балет, написанный мною в соавторстве с Михаилом Глузманом и поставленный мной как хореографом. Балет называется "Последняя роль". Четвертая наша работа — это парафраз, переложение для двух роялей старых еврейских песен. Мы играем их в различных музыкальных стилях: нью-орлеанского джаза, в стиле "фанки", "рок", "диско".

Недавно мы выступали в Москве, правда, в течение всего 10–12 дней. Наш театр находится всегда в пути, посещая все уголки страны, где живут евреи. Но успех был огромный, и теперь мы репетируем "Скрипача на крыше". Пока это весь наш репертуар. В будущем году я хотел бы поставить фольклорную оперу, посвященную Бар-Кохбе. Это планы на будущее.

Наш театр является одновременно и школой, и высшим учебным заведением, и хореографической мастерской, и вокальной студией. Люди здесь учат язык. Бывшие актеры театра Михозлса, старые и пожилые люди, учат нас языку, пишут на нем. Наше небольшое здание практически стало заменой всем тем различным заведениям, которые по логике вещей должны были бы существовать. Вот почему у нас нет времени: дней, ночей не хватает.

Группа нашего театра состоит не только из евреев. В ней есть русские, грузины, армяне, и они должны начать говорить на языке, который не услышишь в обычной жизни, который нельзя выучить на слух. Английский легче выучить: включил радио, и слушай "Голос Америки" на английском языке.

У. М. Как насчет иврита? Вас интересует иврит?

Шерлинг. По-моему, интерес к нему значительно возрос за последние восемь-девять лет. Но идиш ближе душе большинства евреев, живущих в СССР, потому что это был язык повседневной жизни, а иврит был языком только религиозной службы.

У. М. В США недавний рост интереса к еврейскому языку выражался, в первую очередь, в изучении иврита и лишь затем — идиша. У нас это, я уверен, является следствием возникновения государства Израиль. Считаете ли вы, что это событие имеет отношение к положению и в вашей стране?

Шерлинг. Конечно! Естественно, если существует государство Израиль, которое вполне логично выбрало своим языком язык своих предков, — я слышал, будто в Кнесете были споры о том, какой язык принять в качестве разговорного: есть ли смысл всем говорить на иврите, или следует для повседневного общения принять английский. Но само государство Израиль представляет собой, как, пожалуй, никакое другое, картину величайшего интернационализма, ибо там собрались евреи из всех стран мира. Я думаю, что наш театр тоже сделает этот шаг, но позже, не сейчас, так как, честно говоря, мы просто не в состоянии овладеть двумя культурами сразу. У меня есть мечта сделать целый вокальный цикл на иврите, более того, цикл религиозных песен (так как это тоже часть нашей культуры), точно так же, как современные русские хоровые коллективы исполняют церковные хоралы. Нет абсолютно никакого запрета на эти вещи, совершенно никакого. Это действительно так.

У. М. Это для вас очень существенный факт?

Шерлинг. Поймите, почему я настаиваю на этом так категорически, как будто официально подтверждаю это. Дело в том, что многие, особенно в Соединенных Штатах, почему-то считают, что наш театр не что иное, как красная пропаганда. Это меня просто бесит. Наверное, это происходит потому, что отсутствует возможность беспрепятственных контактов, потому что я не могу сегодня подняться и полететь в Соединенные Штаты из-за всех тех трудностей, которые имеются в отношениях между нашими странами. Но я с нетерпением жду того времени, когда смогу снять пиджак в Детройте или Лос-Анджелесе, и люди, которые сегодня уверяют, что я являюсь частью красной пропаганды, должны будут убедиться — я попытаюсь с помощью своего искусства убедить их, что я — музыкант, и я — еврей, и моя позиция по отношению к ним абсолютно честная.

У. М. Никто не мог бы думать по-иному, если бы прослушал вашу оперу. Это не старая работа Шолом-Алейхема или Менделе Мойхер-Сфорима. Это новое искусство, и в то же время искусство чисто национальное. Это современное еврейское искусство в СССР. И тот факт, что это искусство включает и музыкальные темы прошлого, и "рок", и даже то, что тема либретто не политическая, а гуманистическая — для меня это самый лучший ответ тем, кто говорит, что это красная пропаганда. Я говорю им, что, видя как вы танцуете, как вы поете, понимаешь, что никто не может отдать вам приказ: "Ставьте это. Через шесть месяцев чтобы было готово". У вашей работы глубокие корни.

Шерлинг. Когда опера впервые увидела свет, я получил письмо из США от человека, который ранее интересовался Идой Каминской. Он писал: "Я с трудом могу поверить, что это произошло, и, по-моему, вы сделали больше для всего еврейского народа, в сто раз больше, чем все еврейские общины вместе взятые за все время после второй мировой войны". Я переписывался с ним год или два, а затем организовал отправку в США 500 наборов пластинок с моей оперой. После этого Сэм разослал в 500 еврейских организаций письмо, в котором писал, что вот, существует такое дело. Ни одна организация не ответила.

Дело в том, что мы сейчас собираем информацию о еврейской культуре во всем мире. И из той информации, которую мы получаем, видно, что все делается весьма примитивно, даже в такой великой, в общем, стране, как Америка, которая всегда поражала нас чудесами техники и необыкновенным размахом. И тем не менее мы считаем, что должны работать на высоком профессиональном уровне. Ибо ничто так не компрометирует саму идею возрождения, как непрофессионализм.

Я помню, например, как, будучи в Варшаве, видел там еврейский театр. Я буквально корчился от стыда, что я еврей. Я был уязвлен вдвойне. Уязвлен как художник и уязвлен как еврей. Такова проблема, с которой я столкнулся. И поэтому наш театр прежде всего стремится к высокому профессиональному уровню. Я глубоко сожалею, что ваши сыновья не могут увидеть нашу оперу. Я считаю, что это трагическая ошибка. Это ошибка и со стороны вашего правительства, и со стороны нашего правительства: то, что мы не можем представлять, что мы не можем петь, что мы не можем прикоснуться друг к другу.

Я могу говорить хорошо или плохо, но если бы мы могли играть для вас или пригласить ваших людей сюда, это было бы в десять раз сильнее, чем ораторские ухищрения. Пути к этому надо искать. Один из них уже существует — эта пластинка, хоть она и первая.

Голда МЕИР

Автобиография*

(Иерусалим — Нью-Йорк — Москва)

У НАС ЕСТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО

1946 год был тяжелым, но в 1947-м, когда британцы полностью утратили контроль над тем, что происходило в стране, борьба против нелегальной иммиграции превратилась в открытую войну не только с ишувом, но и с самими беженцами. У Бевина, казалось, только одно и было на уме: как бы не впустить еврейских беженцев в еврейское отечество. И то, что мы отказались помочь ему разрешить эту проблему, привело его в такое бешенство, что он и вовсе перестал рассуждать; честно говоря, я думаю, что некоторые его решения определялись именно бешенством, злостью на евреев, которые не могут и не желают согласиться с мнением британского министра иностранных дел относительно того, как и где им жить.

Не знаю, — да сейчас это и неважно, — помешался ли Бевин слегка, или просто был антисемитом, или то и другое вместе. Знаю лишь, что он настойчиво противопоставлял мощь Британской империи еврейской воле к жизни и принес этим не только тяжкие испытания народу, и так уже перенесшему невероятные страдания, но и навязал тысячам английских солдат и моряков такую роль, которая должна была преисполнить их ужасом. Я побывала в 1947 году на Кипре и, глядя на молодых англичан, стороживших лагерь перемещенных лиц, думала, как могут они, еще совсем недавно освобождавшие евреев из нацистских лагерей, примириться с тем, что этих самых людей теперь держат за колючей проволокой и лишь за то, что они не хотят жить нигде, кроме Эрец-Исраэль — Страны Израиля. Я смотрела на этих английских ребят, и меня переполняла жалость. Нельзя было не думать, что они такие же жертвы бевиновской одержимости, как и те мужчины, женщины и дети, на которых день и ночь были нацелены их винтовки.

На Кипр я поехала, чтобы выяснить, что можно сделать — если вообще это возможно — для сотен находившихся там в заточении детей. В это время в кипрских лагерях находилось около 40 тысяч евреев. Ежемесячно англичане выдавали ровно 1500 разре-

*Главы из книги, готовящейся к выходу в издательстве "Библиотека-Алия".

ний на въезд в Палестину; 750 — евреям Европы и 750 — тем, кто был на Кипре. Принцип отправки с Кипра был "кто первый приехал — первым уедет", а это означало, что множество маленьких детей были обречены месяцами находиться в чрезвычайно тяжелых условиях. Наши врачи в лагерях на Кипре были этим очень озабочены, и однажды в моем иерусалимском кабинете появилась медицинская делегация.

"Мы не можем взять на себя ответственность за здоровье детей, если они проведут в лагерях еще одну зиму", — заявили врачи. И я вступила в переговоры с палестинским правительством. Мы предложили, чтобы семьи с грудными детьми были отправлены с Кипра "вне очереди", а потом число таких семей вычли бы из месячной квоты разрешения "очередникам". Таким образом, надо было убедить палестинские власти проявить несвойственную им рассудительность и гибкость, а самих "перемещенных" — установить специальную систему очередности. Мне понадобилось немало времени, чтобы договориться с властями, но в конце концов это удалось, и мы даже получили разрешение отправлять с Кипра детей-сирот как можно быстрее.

Теперь мне предстояло ехать на Кипр, чтобы договориться с "перемещенными". "Они тебя и слушать не станут, — предупреждали меня друзья. — Ты нарвешься на неприятности. Люди только и ждут, когда им разрешат уехать с Кипра, а ты хочешь просить их, чтобы они уступили свою очередь тем, кто находится там всего неделю-две. Это не пройдет!" Но я считала, что во всяком случае стоит попытаться. И я поехала.

На Кипре я представилась коменданту лагеря, пожилому высокому сухопарому англичанину, который много лет прослужил в Индии. Это было что-то вроде визита вежливости. Я вкратце объяснила ему, кто я такая и что мне нужно, и спросила, не будет ли он возражать, если я завтра начну обход лагерей.

Он сухо сказал: "О семьях с детьми мне все известно, но я не получил никаких инструкций по поводу сирот".

"Но это входит в мое соглашение с Верховным комиссаром", — сказала я.

"Придется проверить", — ответил он не слишком любезно. Тем не менее мы продолжали беседовать, и вдруг он сказал: "Да ладно! Включайте и сирот". Я не могла понять, почему он так быстро сдался, но утром мне стало известно, что он получил правительственную телеграмму из Иерусалима, где говорилось: "Остерегайтесь миссис Меерсон, это незаурядная личность". По-видимому, он решил отнестись к предупреждению серьезно.

Лагерь производили удручающее впечатление и в чем-то были еще хуже, чем лагеря для перемещенных лиц в Германии. Выглядело это как тюрьма — уродливое скопление лачуг и палаток со сторожевыми вышками по углам, а вокруг только песок: ни деревьев, ни травы. Питьевой воды было мало, воды для мытья — еще меньше, несмотря на жару. Лагерь находился на берегу, но плавать беженцам не разрешалось, и они проводили почти все время в грязных душных палатках, по крайней мере, защищавших от палящего солнца. Когда я проходила по лагерю, люди толпами собирались у колючей проволоки, а в одном из лагерей двое крошечных детей поднесли мне букет бумажных цветов. Много букетов получила я с тех пор, но ни один не растрогал меня так, как этот, изготовленный кипрскими детьми, вероятно, забывшими — если они когда и знали! — на что похожи настоящие цветы, и которым помогали в работе посланные нами в лагерь учительницы. Кстати, на Кипре в это время находилась палестинская еврейка — потом ей удалось

бежать — по имени Аян, хорошенькая радистка с корабля, принадлежавшего Хагане; теперь она детский психиатр в Тель-Авиве и моя невестка.

Первым делом я встретила с комитетом, представлявшим всех беженцев, которому я объяснила цель своей миссии. Затем, прямо под открытым небом, я выступила на митинге лагерников; выразив свою уверенность, что они не останутся здесь надолго и через некоторое время их всех отпустят, я сказала, что в ожидании этого я нуждаюсь в их содействии ради спасения детей. Сторонники Эцеля* яростно возражали против моей договоренности с британцами. "Все или ничего!" — кричали они; кто-то даже попытался наброситься на меня с кулаками. Но в конце концов они успокоились, и мы обо всем договорились.

Оставался еще один беспокоивший меня вопрос. Мы просили, чтобы сиротам было разрешено въехать в Палестину вне очереди, а как же поступить с теми, у кого в живых остался только один из родителей? Вернувшись в Иерусалим, я отправилась к Верховному комиссару сэру Алану Каннингэму и поблагодарила его за то, что он сделал. "Но у нашего договора есть один трагический аспект, — сказала я. — Получается несправедливо: ребенок, у которого мать или отец убиты в Европе, остается на Кипре, а его друг, которому "посчастливилось" потерять обоих родителей, может уехать. Нельзя ли что-нибудь сделать?"

Каннингэм — последний Верховный комиссар Палестины, добрый и порядочный человек — покачал головой, подавил вздох с выражением покорности судьбе, улыбнулся и сказал: "Не беспокойтесь, миссис Меерсон, я сейчас же об этом позабочусь".

Я изредка встречалась с ним и потом, и какой бы напряженной и хаотичной ни была обстановка в Палестине, мы всегда разговаривали как друзья. После того, как Каннингэм 14 мая 1948 года уехал в Англию, я уже не надеялась когда-нибудь о нем услышать, но, став премьер-министром, получила от него письмо. Оно было написано от руки, послано из сельской местности, куда он удалился после своей отставки, и в нем говорилось, что какое бы сильное давление на нас ни оказывали, Израиль не должен уходить с территорий, занятых во время Шестидневной войны, пока у него не будет надежных и хорошо защищенных границ. Это письмо меня очень тронуло.

Совсем другое, тяжелое воспоминание, связанное с тем временем, пришлось мне пережить в 1970 году в Хайфе, когда у подножья горы Кармель состоялось перезахоронение ста детей, умерших в ужасных лагерях Кипра. Я не могла отогнать от себя мысль, что те две маленькие девочки, которые поднесли мне бумажные цветы в 1947 году, быть может, находятся среди них. Но я часто встречала людей, присутствовавших на митинге кипрских лагерников и хорошо его помнивших. Пять лет тому назад в Негеве, в кибуце, ко мне робко подошла женщина средних лет. "Вы меня простите за беспокойство, — сказала она, — но мне впервые представился случай вас поблагодарить". "За что?" — спросила я. "Я в 1947 году была на Кипре с маленьким ребенком, и вы нас спасли. А теперь я бы хотела познакомиться вас с этим ребенком".

"Ребенок" оказался цветущей двадцатилетней девушкой, только что закончившей военную службу, которая, видно, решила, что я свихнулась, когда я, не говоря ни слова, крепко расцеловала ее у всех на глазах.

*Эцель — Национальная военная организация (*Иргун цваи леуми*), которую основали последователи Жаботинского.

На Сионистском конгрессе в Базеле (1946 г.) было решено, что Моше Шарет возглавит политический отдел Еврейского Агентства в Вашингтоне, а я — в Иерусалиме. Но жизнь в Иерусалиме в 1947 году была подобна жизни в городе, оккупированном враждебной державой. Британцы замкнулись в импровизированной крепости в центре города (мы прозвали ее Бевинградом) под сильной охраной и по малейшему поводу высылали на улицу танки, причем войскам было запрещено входить в какие бы то ни было отношения с евреями. Когда Эцель или Лехи* брали дело в свои руки, — что, к несчастью, происходило довольно регулярно, — британцы обрушивали репрессии на весь ишув, особенно на Хагану, и не проходило недели, чтобы чего-нибудь не случилось: то обыски (искали оружие), то массовые аресты, то комендантский час, на несколько дней парализовавший нормальную жизнь, то депортация евреев без предъявления каких бы то ни было обвинений, не говоря уже о судебной процедуре. Когда британцы начали пороть и вешать членов Эцеля или группы Штерна, те ответили похищением и казнью двух британских солдат. И все это происходило в разгар нашей борьбы за свободную иммиграцию в Палестину и независимость страны.

Конечно, теперь я понимаю, что любая колониальная держава, стремясь подчинить себе строптивых туземцев (кем мы и были в глазах англичан), действовала бы еще более сурово. Но и британцы не были мягкотелыми. Невыносимой ситуацию делали не только их жестокие карательные меры, но и то, что они поддерживали и покрывали арабов, если не прямо их наускивали. С другой стороны, вечное кровопролитие в Палестине тоже не устраивало Англию, особенно при ее послевоенных настроениях, и в феврале 1947 года мистер Бевин решил, что его правительству все это надоело, о чем он сам и заявил на заседании Палаты общин. Пусть палестинской проблемой занимается Организация Объединенных Наций. С британцев хватит. Не думаю, чтобы Объединенные Нации пришли в восторг от того, что на них спихнули эту ответственность, но и отказаться они не могли.

Специальная комиссия ООН по Палестине прибыла в страну в июне. 1 сентября 1947 года она должна была доложить Генеральной Ассамблее свои выводы и конкретные предложения. Палестинские арабы, как всегда, отказались с ней сотрудничать, но все остальные, хоть и без энтузиазма, согласились — и лидеры ишува, и палестинское правительство, и под конец даже лидеры некоторых арабских государств. Я проводила много времени с одиннадцатью членами комиссии, чье полное незнание истории Эрец-Исраэль и сионизма ужасало меня. Но поскольку очень важно было, чтобы они ознакомились с этим как можно скорее, мы стали им все объяснять и показывать, как столько раз делали прежде, и через некоторое время они стали понимать, из-за чего разгорелся весь сыр-бор и почему мы не собираемся отказываться от права привезти в Эрец-Исраэль евреев, уцелевших после Катастрофы.

Затем, как раз перед тем, как комиссия должна была покинуть Палестину, британцы — по причинам, непонятным для меня, да и для всех — решили продемонстрировать, как жестоко и беспощадно они относятся к нам и к проблеме еврейской иммиграции. На глазах у потрясенных членов комиссии они насильно отправили назад в Германию 4500 беженцев, прибывших в Палестину на корабле Хаганы "Эксодус 1947", и, думаю, этим в значительной мере повлияли на рекомендации, которые дала комиссия. Сколько жить буду — не забуду кошмарную картину: сотни британских солдат в полной боевой форме,

*Лехи — боевая подпольная организация, основанная в 1940 г. Авраамом Штерном (Яиrom).

с дубинками, пистолетами и гранатами наступают на несчастных беженцев "Эксодуса", из которых 400 — беременные женщины, решившие дать жизнь своим детям в Эрец-Исраэль. И не забуду, с каким ужасом я думала о том, что этих людей повезут, как животных в клетках, в лагеря для перемещенных лиц, находящиеся в стране, которая стала кладбищем европейского еврейства.

За несколько дней до того, как пассажиры "Эксодуса" были отправлены в свое печальное обратное путешествие, я, выступая на митинге Национального комитета, попыталась выразить возмущение и горечь ишува — и проблеск надежды, что кто-нибудь, где-нибудь, как-нибудь вмешается, чтобы спасти беженцев от новых страданий.

Но судьба "Эксодуса" уже была решена, и корабль вернулся в Германию.

А лето 1947 года тянулось и тянулось. На дороге Тель-Авив — Иерусалим участились нападения арабских вооруженных банд, с вершин холмов они обстреливали еврейские машины и грузовики. Я не могла отказаться от челночных поездок между этими городами в сопровождении двух молодых членов Хаганы. Арабы хотели окончательно перерезать дорогу и обресть иерусалимских евреев на голодную смерть. И уж, конечно, я не стала бы им в этом помогать, избегая единственной дороги, соединявшей Иерусалим с еврейскими центрами на побережье. Два раза пули со свистом влетали в окно машины Еврейского Агентства, в которой я ехала; один раз мы свернули не там и въехали в арабскую деревню, известную как разбойничье гнездо, но нам удалось уйти без единой царапины.

Бывали и другие "приключения". Однажды британские солдаты стали искать в моей машине оружие — как раз после того, как сам Верховный комиссар обещал мне, что эти обыски прекратятся ввиду растущей опасности для еврейского транспорта на этой дороге. Мои протесты были бесполезны. У сопровождавшей меня девушки (члена Хаганы) нашли пистолет, и ее тут же арестовали.

— Куда вы ее тащите? — спросила я офицера, возглавлявшего эту блистательную операцию.

— В Маждал, — ответил он.

Маждал, арабский городок, явно не годился для ночлега молодой девушке, и я сказала командиру, что если ее туда повезут, то я буду настаивать, чтобы и меня повезли туда тоже. К этому времени он уже знал, кто я такая, и вряд ли ему улыбалось давать объяснения своим начальникам, почему член правления Еврейского Агентства отправился ночевать в Маждал, поэтому он отказался от своего намерения, и все мы отправились в полицейский участок ближайшего еврейского города. Была уже полночь, но мне все-таки надо было добраться до Тель-Авива, что я и сделала под королевским эскортом британских полицейских и девушки из Хаганы, которую тут же освободили. Но не всем так везло. Количество жертв на дороге возрастало каждую неделю, и в ноябре 1947 года арабы, на глазах у британцев, начали осаду Иерусалима.

31 августа, за минуту или две до того, как истекло их время, одиннадцать джентльменов — членов комиссии, собравшейся в Женеве, представили свой отчет о Палестине. Восемь членов комиссии рекомендовали — как и комиссия Пиля, — чтобы страна была разделена на два государства — арабское и еврейское, с интернациональным анклавом, включающим Иерусалим и его окрестности. Меньшинство (в которое входили представители Индии, Ирана и Югославии — стран с большим мусульманским населением) предложило создание федерального арабо-еврейского государства. Теперь Генеральная Ассамблея

ООН должна была принять решение. В это же время все заинтересованные стороны довели до сведения комиссии свой ответ, и нельзя сказать, чтобы ее ожидали какие-либо сюрпризы. Мы, разумеется, этот план приняли — без восторга, но с большим облегчением — и потребовали, чтобы британскому мандату был немедленно положен конец. Все арабы ответили, что им дела нет до каких бы то ни было рекомендаций, и пригрозили войной, если вся Палестина не будет объявлена арабским государством. Британцы заявили, что пока арабы и евреи не примут план раздела с восторгом, они не будут сотрудничать при его осуществлении, — а мы хорошо понимали, что это значит. Америка и Россия опубликовали — каждая со своей стороны — заявления, поддерживающие рекомендацию большинства.

На следующий день я созвала пресс-конференцию в Иерусалиме. Поблагодарив комиссию за быстрое завершение работы, я подчеркнула, что "нам трудно представить себе еврейское государство без Иерусалима" и "мы все еще надеемся, что Ассамблея ООН исправит этот недочет". Нас также очень огорчило, сказала я, исключение Западной Галилеи из еврейского государства, и мы рассчитываем, что и это будет принято Ассамблеей во внимание. Но главное, что я особенно выделила, было наше страстное желание установить иные, новые отношения с арабами, которых, как я думала, в Еврейском государстве будет около 500000. "Еврейское государство в этой части мира, — сказала я представителям прессы, — это не только решение вопроса для нас. Оно может и должно помочь каждому жителю Ближнего Востока". Сердце разрывается, как подумаешь, что мы без толку повторяем эти слова с 1947 года!

Голосование происходило 29 ноября в Нью-Йорке. Как и весь ишув, я сидела, словно прикованная, у радиоприемника с бумагой и карандашом и записывала, кто как голосует. Наконец, около полуночи по нашему времени, были объявлены результаты: тридцать три государства, включая Соединенные Штаты и Советский Союз, голосовали за план раздела; тринадцать, в том числе все арабские страны, голосовали против; десять, в том числе Великобритания, воздержались. Я немедленно отправилась в Еврейское Агентство: у здания уже толпился народ. Это было невероятное зрелище: сотни людей, среди них и британские солдаты, пели и танцевали, держась за руки, а к зданию один за другим подъезжали грузовики с новыми толпами. Я прошла в свой кабинет одна, не в силах принять участие в общем ликовании. Арабы отвергли план раздела и говорили только о войне. Пьяная от радости толпа требовала речей; я поняла, что нехорошо портить людям настроение отказом. Выйдя на балкон, я сказала короткую речь. Но обращена была моя речь, в сущности, не к массам народа под балконом, но опять-таки к арабам.

"Вы провели битву против нас в Организации Объединенных Наций, — сказала я. — Объединенные Нации — большинство стран мира — выразили свое решение. План раздела — компромисс: не то, чего хотели вы, не то, чего хотели мы. Но давайте теперь жить в мире и дружбе".

Нельзя сказать, чтобы моя речь разрешила создавшееся положение. На следующий день по всей Палестине вспыхнули арабские волнения (было убито семь евреев — пассажиров попавшего в засаду автобуса), а 2 декабря толпа арабов подожгла еврейский коммерческий центр в Иерусалиме, на глазах у британской полиции, которая вмешивалась только тогда, когда попытки активности проявляла Хагана.

Конечно же, мы были совершенно не готовы к войне. То, что нам так долго удавалось

кое-как удерживать в известных границах местных арабов, вовсе не означало, что нам удастся справиться с регулярными армиями. Нам срочно нужно было оружие, — если мы сумеем найти кого-нибудь, кто захочет нам его продать; но прежде всего нам нужны были деньги — и не те малые деньги, на которые мы озеленили страну или перевезли в нее беженцев, а миллионы долларов. И во всем мире была только одна группа людей, от которой можно было эти доллары получить: американские евреи. Больше некуда и не к кому было обращаться.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Бен-Гурион в это время покинул Эрец-Исраэль. Он играл тут самую главную роль. Думаю, он и сам чувствовал, что никто другой не сможет собрать суммы, о которых говорилось на наших закрытых заседаниях в Тель-Авиве в декабре 1947 и в начале января 1948 года, и я, конечно, была с ним согласна. Но он должен был оставаться в стране. Кто же поедет? На одном из этих собраний я окинула взглядом своих усталых и измученных коллег, сидевших за столом, и впервые подумала: не предложить ли мне свою кандидатуру? В конце концов, мне уже приходилось собирать деньги в Соединенных Штатах, и по-английски я говорила свободно. Моя работа в Палестине могла и подождать недельку-другую. Хотя я и не привыкла предлагать себя, я почувствовала, что надо подсказать это Бен-Гуриону. Сначала он и слышать об этом не хотел. Он сказал, что поедет сам и возьмет с собой Элизера Каплана, казначея Еврейского Агентства.

— Но тут тебя никто не может заменить, — возразила я, — а в Соединенных Штатах я, может быть, и сумею.

Он был непоколебим.

— Нет, ты мне нужна здесь.

— Тогда поставим вопрос на голосование, — сказала я. Он посмотрел на меня, потом кивнул. Мое предложение прошло.

— Но ехать немедленно, — сказал Бен-Гурион. — Даже в Иерусалим не возвращаясь.

В тот же день я улетела в Соединенные Штаты — без багажа, в том платье, в каком была на заседании — только надела сверху зимнее пальто.

Первое мое появление в 1948 году перед американским еврейством было не запланировано, не отрепетировано, и, разумеется, не объявлено. Таким образом, люди, перед которыми я выступала, совершенно меня не знали. Это произошло 21 января в Чикаго, на общем собрании совета еврейских федераций и благотворительных фондов. Это были несионистские организации. Палестина у них не стояла на повестке дня. Но это было совместное заседание профессиональных сборщиков денег, людей с огромным опытом, контролировавших еврейскую машину денежных сборов в Соединенных Штатах, и я понимала, что если мне удастся их пронять, то, возможно, и удастся собрать нужную сумму — ключ к нашей самообороне. Я говорила недолго, но высказала все, что у меня было на сердце. Я описала положение, создавшееся в Палестине к дню моего отъезда, и продолжала:

”Еврейское население Эрец-Исраэль будет сражаться до самого конца. Если у нас будет оружие — мы будем сражаться этим оружием. Если его у нас не будет, мы будем драться камнями.

Я хочу, чтобы вы поверили, что цель моей миссии — не спасение семисот тысяч евреев. За последние несколько лет еврейский народ потерял шесть миллионов евреев и было

бы просто дерзостью беспокоить евреев всего мира из-за того, что еще несколько сот тысяч евреев находятся в опасности.

Речь не об этом. Речь идет о том, что если эти семьсот тысяч останутся в живых, то жив будет еврейский народ как таковой и будет обеспечена его независимость. Если же эти семьсот тысяч теперь будут перебиты, то нам придется на много веков забыть мечту о еврейском народе и его национальном очаге.

Друзья мои, мы воюем. Нет в Палестине еврея, который не верил бы, что в конце концов мы победим. Таков моральный дух в стране... Но этот дух не может противостоять в одиночку винтовкам и пулеметам. Без него винтовки и пулеметы немного стоят, но без оружия дух может быть сломен вместе с телом.

Наша проблема — время... Что мы можем получить немедленно? И когда я говорю "немедленно", я имею в виду не через месяц. И не через два. Я имею в виду — сейчас, сегодня.

Я приехала довести до сознания американских евреев один факт: в кратчайший срок, не более, чем за две недели, нам нужно собрать наличными от двадцати пяти до тридцати миллионов долларов. Через две-три недели после этого мы сумеем укрепиться. В этом мы уверены.

Египетское правительство может провести такой бюджет, который поможет нашим противникам. То же самое может сделать и правительство Сирии. У нас нет правительств. Но в диаспоре у нас миллионы евреев, и я верю в еврейство США не меньше, чем в нашу палестинскую молодежь; верю, что оно поймет, в какой опасности мы находимся, и сделает то, что должно сделать.

Я понимаю, что это будет нелегко. Мне приходилось участвовать в разных кампаниях по сбору средств, и я знаю, как непросто сразу собрать ту сумму, которую мы просим. Но я видела наших людей там, дома. Видела, как, когда мы призвали ишув давать кровь для раненых, люди пришли прямо со службы в больницы и стояли в длинных очередях, чтобы отдать свою кровь. В Палестине отдают и кровь, и деньги.

Мы не лучшей породы; мы не лучшие сыны еврейского народа. Случилось так, что мы — там, а вы — здесь. Уверена, что если бы вы были в Палестине, а мы в Соединенных Штатах, вы делали бы там то же, что делаем мы, и просили бы нас здесь сделать то, что придется сделать вам.

В заключение я хочу перефразировать одну из самых замечательных речей времен второй мировой войны — речь Черчилля. Я не преувеличиваю, говоря, что палестинский ишув будет сражаться в Негеве, в Галилее, на подступах к Иерусалиму — до самого конца.

Вы не можете решить, следует нам сражаться или нет. Решать будем мы. Еврейское население Палестины не выкинет белый флаг перед муфтием. Это решение уже принято. Никто не может его изменить. Вы можете решить только одно — кто победит в этой борьбе: мы или муфтий. Этот вопрос могут решить американские евреи. Но сделать это надо быстро — за дни, за часы.

И прошу вас — не запаздывайте. Чтобы не пришлось вам через три месяца горько сожалеть о том, чего вы не сделали сегодня. Время уже настало".

Они слушали, они плакали, они собрали столько денег, сколько еще никогда не собирала ни одна община. Я провела в Штатах шесть недель — больше я не могла находиться





*Реувен РУБИН. Первые плоды. Холст, масло.
1925.*

вне дома, — и повсюду евреи слушали, плакали и давали деньги, иногда даже делая для этого банковские займы. В марте я вернулась в Палестину, собрав 50 миллионов долларов, ассигнованных на тайные закупки в Европе оружия для Хаганы. И даже когда Бен-Гурион сказал мне: "Когда-нибудь, когда будет написана история, там будет рассказано о еврейской женщине, доставшей деньги, необходимые для создания государства", — я никогда не обманывалась. Я всегда знала, что эти доллары были отданы не мне, а Израилю.

За полгода, предшествовавшие созданию государства, я дважды встречалась с трансйорданским королем Абдаллой — дедом нынешнего короля Хусейна. И хотя содержание наших переговоров много лет хранилось в тайне даже долгое время после 1951 года, когда Абдалла был убит его арабскими врагами (думаю, головорезами муфтия), никто до сих пор не знает, какие слухи об этих переговорах вызвали его убийство. Убийство — эпидемическая болезнь в арабском мире, и первое, что познает каждый арабский правитель, это прямая связь между соблюдением секретности и продолжительностью жизни. Убийство Абдаллы произвело незабываемое впечатление на всех арабских лидеров, пришедших затем к власти; однажды Насер сказал посреднику, которого мы направили в Каир: "Если бы Бен-Гурион приехал в Египет переговорить со мной, его встретили бы дома, как героя-победителя. Но если бы я поехал к нему, то по возвращении меня бы застрелили". И я боюсь, что в этом смысле ничего не изменилось.

Впервые я встретила с королем Абдаллой в начале ноября 1947 года. Он согласился встретиться со мной — как с главой политического отдела Еврейского Агентства — в Нагараиме (на реке Иордан), в доме, где помещалась электростанция Палестинской компании. Я приехала туда с одним из наших экспертов по арабским делам — это был Элиягу Сасон. Мы вышли, как полагалось по этикету, по чашечке кофе, потом начали беседовать. Абдалла был невысокий, очень стройный человек, обладавший большим обаянием. Вскоре стало ясным главное: он не присоединится к нападающим на нас арабам. Он сказал, что всегда останется нашим другом, и больше всего, как и мы, хочет мира. В конце концов, враг у нас был общий — иерусалимский муфтий, хадж Амин аль-Хусейни. Мало того: король предложил, чтобы после голосования в Объединенных Нациях мы встретились опять.

На обратном пути в Тель-Авив Эзра Данин объяснил мне концепцию короля Абдаллы по поводу роли евреев на Ближнем Востоке: Бог рассеял евреев по западному миру для того, чтобы они усвоили европейскую культуру и потом принесли ее с собой обратно на Ближний Восток, чтобы его опять оживить. Однако в надежности короля Данин, не раз встречавшийся с ним прежде, сомневался. "Абдалла — не лгун, — сказал он, — но Абдалла — бедуин, а у бедуинов свое представление о правде, куда менее абсолютное, чем наше". Но, по его мнению, Абдалла был совершенно искренен в своих выражениях дружбы, хотя и не будет чувствовать себя из-за этого связанным по рукам и ногам.

И в январе, и в феврале мы продолжали поддерживать контакт с Абдаллой, обычно через общего друга, передававшего ему мои послания. Эти послания постепенно стали выражать все большее беспокойство. Атмосфера была насыщена слухами, были сведения, что, несмотря на свои обещания, Абдалла собирается вступить в Арабскую лигу. "Так ли это?" — спрашивала я. Из Аммана очень скоро пришел отрицательный ответ. Король был удивлен и обижен моим вопросом. Он просил меня запомнить три вещи: во-первых, он — бедуин, и потому человек чести; во-вторых, — король, и, стало

быть, дважды человек чести; в-третьих, он никогда не нарушит обещания, данного женщине. Поэтому моя тревога ничем не оправдана.

Но мы-то знали другое. Уже к первой неделе мая не оставалось сомнений, что, несмотря на все заверения, Абдалла связал свою судьбу с Арабской лигой. Мы обсудили, стоит ли просить о новой встрече, пока еще не поздно. Может, удастся его отговорить в последнюю минуту. А если нет, то, может, удастся у него выяснить, что именно он со своим обученным англичанами и возглавляемым английскими офицерами Арабским легионом собирается предпринять в войне против нас. Многое лежало тогда на чаше весов: легион не только намного превосходил все остальные арабские армии, но тут примешивались и другие жизненно важные соображения. Если случится чудо, и Трансиордания не вступит в войну, то и иракской армии будет куда труднее войти в Палестину и напасть на нас. Бен-Гурион считал, что мы ничего не потеряем, если сделаем еще одну попытку, и я попросила о новой встрече, договорившись с Эзрой Данином, что он будет меня сопровождать.

Но на этот раз Абдалла отказался приехать в Нагараим. Как передал нам его посланец, это было бы слишком опасно. Если я хочу его увидеть — я должна приехать в Амман, приняв риск на себя: он не может поднять легион по случаю того, что ожидает еврейских гостей из Палестины, и никакой ответственности за то, что может произойти с нами по дороге, он тоже на себя не возьмет. Начать с того, что в Тель-Авив попасть тогда было почти так же трудно, как в Амман. Я с самого утра и до семи вечера ожидала в Иерусалиме тель-авивский самолет, а когда он наконец приземлился, то было так ветрено, что ему трудно было взлететь. В нормальной обстановке я отложила бы полет на завтра, но уже почти не было "завтра". Было 10 мая, а 14 мая должно было быть провозглашено еврейское государство. Это был наш последний шанс переговорить с Абдаллой. Поэтому я настояла, чтобы мы полетели, хотя казалось, что наш "пайпер каб" перевернется от простого ветра, не говоря уже о буре. Едва мы взлетели, как на иерусалимский аэродром сообщили, что погода слишком опасна для полета, но мы уже находились в воздухе.

На следующее утро я поехала в Хайфу, где должна была встретиться с Эзрой. Было решено, что он только наденет на голову арабскую "куфию". Он свободно говорил по-арабски, знал арабские обычаи, и его легко было принять за араба. Я же должна была надеть традиционное темное и широкое арабское платье. По-арабски я не говорила вовсе, но было маловероятно, чтобы от мусульманки, сопровождающей своего мужа, потребовались какие-то разговоры. Арабское платье и покрывало для меня уже были заказаны. Мы будем часто менять машины, предупредил Эзра, чтобы убедиться, что за нами не следят, а вечером, в назначенном месте, недалеко от королевского дворца, нас будет ожидать человек, который проводит нас к Абдалле. Главное — не вызвать подозрений у арабских легионеров на проверочных пунктах по дороге к дворцу.

Это была длинная поездка, в темноте, с несколькими пересадками. Сначала мы ехали на одной машине, потом вышли, потом пересели на другую, проехали еще несколько миль, потом, в Нагараиме, пересели на третью. Друг с другом мы во время пути не разговаривали. Я полностью доверяла способностям Эзры провезти нас через неприятельские линии и слишком занята была вопросом об исходе нашей миссии, чтобы думать о том, что случится, если нас, не дай Бог, схватят. К счастью, хоть нам и пришлось несколько раз предъявлять удостоверения, мы прибыли на место встречи вовремя. Человек, который

отвез нас к Абдалле, был его самым доверенным сотрудником; это был бедуин, с детства живший в его семье и привыкший исполнять самые опасные поручения своего господина. Он отвез нас к себе домой на своей машине с затянутыми плотной черной материей окнами. В ожидании Абдаллы я разговорилась с привлекательной и умной женой нашего проводника, происходившей из богатой турецкой семьи; она горько жаловалась на монотонность своего существования в Трансиордании. Я подумала, что некоторая монотонность мне лично сейчас бы не помешала, но продолжала сочувственно кивать головой.

В комнату вошел Абдалла. Он был очень бледен; казалось, его что-то гнетет. Эзра переводил; мы беседовали около часу. Я сразу же взяла быка за рога:

— Итак, после всего вы нарушили данное мне обещание?

Он не ответил на вопрос прямо. Он сказал:

— Когда я давал обещание, я думал, что судьба моя в моих руках, и я могу делать все, что считаю правильным, но с тех пор я узнал кое-что другое.

Он объяснил, что прежде был один, а теперь — "один из пяти". Мы поняли, что четверо остальных — это Египет, Сирия, Ливан и Ирак. И все-таки он считал, что войны можно избежать.

— Почему вы так торопитесь провозгласить создание своего государства? — спросил он. — К чему такая спешка? До чего же вы нетерпеливы!

Я сказала, что о народе, ожидавшем этого две тысячи лет, нельзя говорить, что он слишком тороплив. Он, по-видимому, принял это возражение.

— Неужели вы не понимаете, — сказала я, — что мы — ваши единственные союзники во всем районе? Все остальные — ваши враги.

— Да, — сказал он, — я это знаю. Но что я могу сделать? Это зависит не от меня.

И тогда я сказала:

— Вы должны знать, что если нам навяжут войну, мы будем сражаться, и мы победим.

Он вздохнул и повторил:

— Да. Я это знаю. Ваш долг — сражаться. Но почему бы вам не подождать несколько лет? Откажитесь от требования свободной иммиграции. Я стану во главе всей страны, и вы будете представлены в моем парламенте. Я буду очень хорошо с вами обращаться, и войны не будет.

Я попыталась объяснить, почему этот план невозможен.

— Вы знаете все, что мы сделали, вы знаете, как тяжело мы работали, — сказала я. — И вы думаете, что мы сделали все это ради того, чтобы быть представленными в чужом парламенте? Вы знаете, чего мы хотим, к чему стремимся. Если вы больше ничего не можете нам предложить, значит, будет война и мы победим. Но, быть может, мы встретимся снова — после войны, когда будет существовать еврейское государство.

— Вы слишком уж полагаетесь на свои танки, — сказал Эзра Данин. — У вас нет настоящих друзей в арабском мире, и мы разгромим ваши танки, как была разгромлена линия Мажино.

Это была очень смелая речь, особенно если учесть, что Данину было точно известно наше положение с оружием. Но Абдалла стал еще серьезнее и снова повторил, что мы должны исполнить свой долг. И еще он добавил — с грустью, как мне показалось, — что события должны идти своим чередом. В свое время мы узнаем все, что нам уготовила судьба.

Очевидно, говорить больше было не о чем. Я хотела сразу же уехать, но Данин и Абдалла затеяли новую беседу.

— Надеюсь, мы останемся в контакте и после того, как начнется война, — сказал Данин.

— Конечно, — ответил Абдалла. — Вы будете приезжать ко мне.

— Но как я смогу до вас добраться? — спросил Данин.

— О, я не сомневаюсь, что уж вы-то найдете дорогу, — с улыбкой сказал Абдалла.

Потом Данин попенял ему, что он недостаточно осторожен.

— Вы молитесь в мечети, — сказал он, — и позволяете своим подданным целовать край вашей одежды. Какой-нибудь злодей, чего доброго, может учинить и что-нибудь дурное. Пора вам отменить этот обычай ради своей безопасности.

Абдалла был, видимо, шокирован этими словами.

— Никогда я не стану пленником своей охраны, — сурово сказал он Данину. — Я родился бедуином, свободным человеком, и останусь свободным. Пусть те, кто хотят убить меня, попробуют это сделать. Я на себя цепей не надену.

После этого он попрощался с нами и ушел.

Жена хозяина пригласила нас к столу. В конце комнаты стоял огромный стол, уставленный яствами. Я совершенно не чувствовала голода, но Данин сказал, что я должна наполнить свою тарелку, буду я есть или нет, а то получится, что я отказываюсь от арабского гостеприимства. Я наполнила свою тарелку до краев, но только поковыряла еду. У меня не осталось сомнений, что Абдалла вступит в войну против нас. И несмотря на всю бравату Данина, я хорошо знала, что танки Арабского легиона — не игрушка, и сердце мое падало при мысли о том, какие известия я привезу в Тель-Авив. Время близилось к полуночи. Нам предстоял длинный и опасный путь, — на этот раз без всяких обманчивых надежд.

Мы простились и уехали. Была очень темная ночь, и арабский шофер по дороге в Нагараим (откуда мы должны были отправиться в Хайфу), приходил в ужас всякий раз, когда машину останавливали на контрольном пункте легионеров. В конце концов на некотором расстоянии от электростанции он велел нам выйти. Было около трех часов ночи, и мы должны были сами найти дорогу. Мы не были вооружены, и должна признаться, что я была испугана. Из окон машины мы видели иракские части, скопившиеся у лагеря Мафрак; шепотом мы рассуждали о том, что произойдет 14 мая. Помню, как застучало мое сердце, когда Данин сказал: "Если нам повезет и мы победим, мы потеряем только десять тысяч человек. Если же не повезет, потери могут дойти до пятидесяти тысяч". Я была подавлена. Тогда мы решили переменить тему разговора и стали беседовать о мусульманских обычаях и об арабской кухне. Когда же мы остались одни в кромешной тьме, мы уже не разговаривали ни о чем. Мы боялись даже вздохнуть. Арабская одежда мешала мне двигаться, притом я вовсе не была уверена, что мы идем в нужном направлении, да еще не могла избавиться от подавленности и ощущения полного провала моих переговоров с Абдаллой.

Вероятно, мы с Данином шли уже полчаса, когда нас заметил молодой солдат Хаганы, целую ночь с тревогой ожидавший нас. Я не могла разглядеть его лица, но никогда я так крепко и с таким облегчением не сжимала чужую руку в своей. Без всякого затруднения он провел нас в Нагараим через холмы и вadi. Второй раз я увидела его несколько лет

назад. Пожилой человек подошел ко мне в иерусалимском отеле и сказал: "Госпожа Меир, вы меня не узнаете?" Я стала вспоминать, но так и не вспомнила. Тут он улыбнулся и сказал: "Это я привел вас в ту ночь в Нагараим".

Но Абдаллу я больше никогда не видела, хотя после Войны за независимость с ним велись долгие переговоры. Потом мне передавали, что он сказал обо мне: "Если кто-нибудь лично ответственен за войну, то это Голда, ибо она была слишком горда, чтобы принять мое предложение". Признаться, когда я думаю о том, что случилось бы с нами, если бы мы были меньшинством в государстве и под протекцией арабского короля, убитого арабами через каких-нибудь два года, я не жалею о том, что в ту ночь так разочаровала Абдаллу. Жаль, что ему не хватило мужества не ввязаться в войну. Насколько лучше было бы для него, да и для нас, если бы он был чуть более горд.

Прямо из Нагараима меня повезли в Тель-Авив. На следующее утро в помещении партии Мапай был назначен митинг — разумеется, в эти дни митинги шли один за другим, почти без перерыва, — на котором, как я знала, будет присутствовать Бен-Гурион. Когда я вошла, он поднял голову и спросил:

— Ну?

Я села и написала ему записку: "Не удалось. Будет война. Мы с Эзрой видели у Мафрака скопления войск и огни". Мне тяжело было смотреть на лицо Бен-Гуриона, читавшего мою записку, но, слава Богу, он не изменил ни своего, ни нашего решения.

Окончательное решение надо было принимать через два дня. Провозглашать еврейское государство или нет? После моего доклада о переговорах с Абдаллой множество народу из так называемой "Мингелет га-ам" (буквально — Народная администрация), куда входили члены Еврейского Агентства, Национального совета (Ваад леуми) и других партий и групп и которая позднее стала Временным правительством Израиля, стали просить Бен-Гуриона в последний раз взвесить "за" и "против". Они хотели знать, в какой мере Хагана подготовлена к решающему часу. Бен-Гурион вызвал начальника оперативного отдела Хаганы Игалья Ядина и Исраэля Галили, фактического главнокомандующего. Они ответили одинаково — одинаково ужасно. Только в двух вещах можно быть уверенным, сказали они: британцы уйдут, и арабы вторгнутся. И тогда? Оба замолчали. Через минуту Ядин сказал: "В лучшем случае, шансы наши пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят — что победим, пятьдесят — что потерпим поражение".

На этой оптимистической ноте и было принято окончательное решение. 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому календарю) будет провозглашено еврейское государство с населением в 650 000 человек; но переживет ли оно день своего рождения, зависело от способности этих 650 тысяч отразить нападение пяти регулярных арабских армий, активно поддерживаемых миллионом палестинских арабов.

По первоначальному плану я должна была в четверг вернуться в Иерусалим и там остаться. Нечего и говорить, что мне очень хотелось быть в Тель-Авиве, хотя бы на церемонии провозглашения государства, время и место которой держалось в тайне от всех, кроме 200 приглашенных, и должно было быть объявлено лишь за час до начала. Всю среду я, несмотря ни на что, надеялась, что Бен-Гурион уступит, но он был непоколебим. "Ты должна ехать в Иерусалим", — сказал он. И в четверг 13 мая я опять сидела в "пайпер кафе". Пилоту был дан приказ отвезти меня в Иерусалим и немедленно возвратиться с Ицхаком Гринбаумом, которому предстояло стать министром внутренних дел

Временного правительства. Но как только мы пересекли прибрежную равнину и оказались над Иудейскими горами, мотор забарахлил. Я сидела рядом с пилотом (в крошечных "примусах", как мы их ласково называли, было только два места) и видела, что он очень беспокоится. По звуку казалось, что мотор вот-вот вообще оторвется, почему меня и не удивило, когда пилот сказал:

— Прости, пожалуйста, но я, кажется, не смогу перелететь через горы. Надо возвращаться.

Он развернул самолет; мотор продолжал угрожающе гудеть, я заметила, что пилот оглядывает окрестности под нами. Я не сказала ни слова, машина чуть-чуть поднялась, пилот спросил:

— Ты понимаешь, что происходит?

— Понимаю, — ответила я.

— Я искал арабскую деревню, где мы могли бы приземлиться. — Учтите, что это происходило 13 мая! — Но, пожалуй, — сказал он, — я могу дотянуть до Бен-Шемена. — Звук мотора улучшился. — Нет, — сказал пилот, — наверно, мы сможем вернуться в Тель-Авив.

Таким образом, мне удалось присутствовать на церемонии, а бедному Ицхаку Гринбауму пришлось остаться в Иерусалиме, и он сумел подписать Декларацию независимости только после первого прекращения огня.

Утром 14 мая я участвовала в собрании Национального совета, где решалось, как мы назовем наше государство, и окончательно формулировалась Декларация. Вопрос о названии оказался менее дискуссионным, чем формулировка Декларации, ибо в последнюю минуту возник спор: упоминать ли в ней Бога. Собственно говоря, выход был найден накануне. Небольшой комитет, которому было поручено составить окончательный вариант Декларации, получил текст, в котором самая последняя фраза начиналась словами: "С верой в Опору Израиля мы собственноручно расписываемся..." Бен-Гурион надеялся, что слова "Опора Израиля" своей двусмысленностью могут удовлетворить и евреев, не допускавших мысли, чтобы документ о провозглашении еврейского государства мог обойтись без упоминания Всевышнего, и евреев, которые наверняка будут упорно протестовать против любого намека на "клерикализм".

Но принять этот компромисс оказалось не так-то легко. Представитель религиозных партий раби Фишман-Маймон потребовал, чтобы ссылка на Бога была сделана без всяких экивоков и сказал, что одобрит выражение "Опора Израиля", только если будет прибавлено "и его Избавитель"; представитель левого крыла Рабочей партии Аарон Цизлинг столь же решительно выступил с противоположных позиций. "Я не могу подписать документ, в какой бы то ни было форме упоминающий Бога, в которого я не верю", — сказал он. Бен-Гуриону понадобилось чуть ли не все утро, чтобы убедить обоих, что слова "Опора Израиля" имеют двойное значение. Для многих, может быть, для большинства евреев они означают "Господь", но могут рассматриваться и как символ, означающий "Сила еврейского народа". В конце концов Маймон согласился, чтобы слово "Избавитель" не было включено в текст. Забавно, что в первом английском переводе, опубликованном в этот день для заграницы, не было вообще никакого упоминания об "Опоре Израиля"; военный цензор вычеркнул весь последний абзац из соображений безопасности, ибо в нем было указано время и место церемонии.

Может показаться странным, что за несколько часов до провозглашения государства, да еще под угрозой иностранного вторжения, будущий премьер-министр тратит время на такие споры, но надо иметь в виду, что эти споры были отнюдь не чисто терминологическими. Мы глубоко сознавали, что Декларация не только объявляет о конце двухтысячелетней еврейской бездомности, но и выражает основные принципы государства Израиль. И потому каждое слово имело огромное значение. Кстати, мой добрый друг Зеэв Шерф, первый секретарь будущего правительства, заложивший основы государственной машины, нашел время проследить за тем, чтобы документ, который нам предстояло днем подписать, был сразу после церемонии отправлен в подвал Англо-Палестинского банка и таким образом сохранен для потомства — на тот случай, если государство и все мы просуществуем не очень долго.

Около двух часов дня я вернулась к себе в гостиницу на набережной, вымыла голову и надела свое лучшее черное платье. Потом я посидела несколько минут, чтобы перевести дух и впервые за несколько дней подумать о детях. Менахем в то время учился в Штатах, в Манхаттанском музыкальном училище. Я понимала, что теперь, когда война неизбежна, он вернется, и думала, когда и где мы опять увидимся. Сара была в Ревивиме — считая по прямой, не очень далеко, но мы были совершенно отрезаны друг от друга. Несколько месяцев назад банды палестинских арабов вместе с вооруженными египтянами, перешедшими границу, блокировали дорогу, соединявшую Негев со всей страной, и систематически взрывали или перерезали водопровод, снабжавший двадцать семь еврейских поселений, там находившихся. Хагана делала что могла, чтобы прорвать осаду. Она открыла грунтовую тропу, параллельную главной дороге, по которой прорывались машины, доставлявшие пищу и воду тысяче южных поселенцев. Но кто знает, что будет с Ревивимом, да и с любым маленьким, плохо вооруженным и плохо оснащенным негевским поселением, когда начнется широкое египетское вторжение в Израиль? И Сара, и ее Зехария были в Ревивиме радистами, и до сих пор мне удавалось поддерживать связь с ними. Но уже несколько дней я ничего о них не слышала и очень беспокоилась. Именно от таких молодых людей, как они, от их духа и отваги зависело будущее Негева и, следовательно, Израиля, и я содрогалась при мысли о том, что им придется противостоять частям регулярной египетской армии.

Я так углубилась в свои мысли о детях, что телефонный звонок заставил меня вздрогнуть: оказалось, меня ждет машина, чтобы отвезти в музей. Решено было провести церемонию провозглашения государства в Тель-авивском музее на бульваре Ротшильда, не потому, что это было особенно импозантное здание — таким оно отнюдь не было! — а потому, что оно было маленькое, и его легко было охранять. Когда-то этот дом, один из первых домов Тель-Авива, принадлежал его первому мэру, и он завещал его гражданам города с тем, чтобы там устроили художественный музей. Огромная сумма — двести долларов! — была отпущена на подготовку здания к этому дню; полы были выскоблены, картины на стенах, изображавшие наготу, целомудренно задрапированы, окна затемнены на случай воздушной тревоги, а над столом, за которым должно было разместиться тринадцать человек — членов Временного правительства, висел портрет Теодора Гершля. Предполагалось, что только двести приглашенных знают, когда и где будет происходить церемония, однако, когда я подъехала, у музея уже собралась толпа.

Через несколько минут, ровно в четыре часа, началось торжественное заседание. Бен-Гу-

рион, в темном костюме и при галстукe, встал и постучал председательским молотком. По плану этим подавался знак оркестру, спрятанному на галерее второго этажа, заиграть "А-Тикву". Что-то не сработало, и музыка так и не раздалась. Но все поднялись со своих мест и запели наш национальный гимн. Тогда Бен-Гурион откашлялся и негромко сказал:

— Сейчас я прочту Декларацию независимости.

Чтение заняло всего четверть часа. Он читал медленно, очень внятно, и помню, как изменился и слегка усилился его голос, когда он дошел до одиннадцатого параграфа:

"Поэтому мы, члены Национального совета, представляющие еврейский народ на Земле Израиля, а также сионистское движение, собрались в день окончания британского мандата на Палестину и, в силу нашего естественного и исторического права, а также резолюции Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, настоящим провозглашаем учреждение еврейского государства в Стране Израиля — государства Израиль".

Государство Израиль! Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали. Мы добились. Мы сделали еврейское государство реальностью, и я, Голда Мабович-Меерсон, дожила до этого дня. Что бы ни случилось, какую бы цену ни пришлось за это платить, мы воссоздали еврейскую родину. Долгое изгнание кончилось. Отныне мы будем жить в стране своих отцов не потому, что нас соглашаются терпеть; теперь мы — такая же нация, как другие, и впервые за двадцать веков мы — хозяева своей судьбы. Мечта осуществилась — слишком поздно для спасения погибших в годы Катастрофы, но не слишком поздно для грядущих поколений. Пятьдесят лет назад, после первого Сионистского конгресса в Базеле, Теодор Герцль записал в дневнике: "В Базеле я основал еврейское государство. Если бы я сказал это сегодня — это было бы встречено общим смехом. Может быть, через пять лет — и без всякого сомнения, через пятьдесят — это увидят все". Так оно и произошло.

Пока Бен-Гурион читал, я опять думала о своих детях, и о детях, которые у них родятся — как непохожа их жизнь будет на мою, и как теперь изменится моя собственная жизнь; я думала о своих коллегах в осажденном Иерусалиме, которые сейчас, собравшись в помещении Еврейского Агентства, слушают торжественное заседание по радио, а я, по чистой случайности, нахожусь в музее. И я почувствовала, что большей привилегии, чем у меня в этот день, не было ни у одного еврея на земле.

Вдруг, словно по сигналу, мы все поднялись со своих мест, плача и аплодируя. Бен-Гурион сорвавшимся (впервые за все время) голосом прочитал: "Государство Израиль будет открыто для еврейской иммиграции и сбора изгнанников". В этих словах билось самое сердце Декларации, в них были выражены причина и смысл создания государства. Я плакала в голос, услышав, как эти слова прозвучали в жарком, переполненном зале. Но Бен-Гурион снова постучал молотком, призывая к порядку, и продолжал:

"Несмотря на кровавые нападения на нас, начавшиеся в прошлые месяцы, мы призываем сынов арабского народа, живущих в Израиле, сохранять мир и сыграть свою роль в строительстве государства на основе полного и равного гражданства и соответствующего представительства во всех органах управления, временных и постоянных".

И далее: "Мы протягиваем руку мира и добрососедства всем государствам вокруг нас и их народам и призываем их к сотрудничеству и взаимопомощи с независимым еврейским народом на его земле. Государство Израиль готово внести свою лепту в общие усилия по развитию всего Ближнего Востока".

Когда он прочел все 979 ивритских слов, из которых состояла Декларация, он попросил всех встать и "принять акт, устанавливающий создание еврейского государства", так что все мы поднялись еще раз. И тут произошло нечто очень трогательное и неподвижное. Раби Фишман-Маймон, встав, дрожащим голосом произнес традиционную еврейскую молитву-благодарение: "Благословен Ты, Господь наш, Царь Вселенной, сохранивший нас в живых и давший нам все претерпеть и дожить до этого дня. Аминь". Часто мне приходилось слышать эту молитву, но никогда она не звучала для меня так, как звучала в тот день.

Но перед тем, как все мы, в алфавитном порядке, стали подходить и подписывать Декларацию, надо было покончить еще с одним делом, требовавшим нашего внимания: Бен-Гурион прочел первые декреты нового государства. "Белая книга"* объявлялась недействительной и отменялась, остальные же распоряжения и правила мандатного правительства, во избежание законодательного вакуума, подтверждались и объявлялись временно действующими. После этого началась церемония подписания Декларации. Когда пришла моя очередь, я заметила Аду Голомб, стоявшую неподалеку. Мне хотелось подойти к ней, обнять, сказать, что я знаю, что вместо меня здесь должны были бы быть Элиягу и Дов, но я не могла задерживать движение очереди и потому подошла к столу, за которым сидели Бен-Гурион и Шарет; между ними лежала Декларация. Я плакала открыто, даже не утирая слез. Шарет подвинул ко мне Декларацию, а Давид Цви Пинкус, член религиозной партии Мизрахи, стал меня успокаивать.

— Почему ты так плачешь, Голда? — спросил он.

— Потому что сердце мое разрывается при мысли о тех, кто должен был бы тут быть и кого здесь нет, — ответила я, не переставая плакать.

14 мая Декларацию независимости подписали только двадцать пять членов Национального совета. Одиннадцать были в Иерусалиме и один — в Соединенных Штатах. Последним в тот день поставил свою подпись Моше Шарет. В сравнении со мной он казался совершенно спокойным и ровным, словно исполнял свои обычные обязанности. Потом, когда мы говорили об этом дне, он сказал, что ему представлялось, будто он стоит на скале, а вокруг бушует шторм, и держаться не за что — только и есть, что твердое решение не быть сброшенным в бушующее море. Но ничего этого нельзя было угадать по его лицу.

Палестинский филармонический оркестр сыграл "А-Тикву". Бен-Гурион в третий раз постучал своим молотком. "Государство Израиль создано. Заседание окончено". Мы пожимали друг другу руки, обнимались. Церемония окончилась. Израиль стал реальностью.

Как и следовало ожидать, вечер не принес нам успокоения. Я сидела у себя в гостинице и беседовала с друзьями. Открыли бутылку вина и выпили за наше государство. Некоторые из гостей и молодые солдаты Хаганы, охранявшие их, стали петь и плясать, с улиц тоже доносились песни и взрывы смеха. Но мы знали, что ровно в полночь мандат окончится, британский Верховный комиссар отплывет на корабле, последние британские солдаты тоже покинут Палестину, и мы не сомневались, что арабские армии перейдут границы государства, которое мы только что основали. Да, мы теперь независимы, но

*"Белая книга" Малькольма Макдональда — собрание документов британской администрации, направленных на ограничение еврейской иммиграции в Палестину.

через несколько часов у нас начнется война. Я не только не была весела — я испытывала страх, и не без оснований. Но одно дело испытывать страх, а другое — не иметь веры, а я была уверена, что хотя еврейское население нового государства и составляет всего 650 тысяч человек, мы уже росли в него и никто никогда не сможет опять нас рассеять или переместить.

Но, кажется, я только на следующий день осознала, чем было чревато торжественное заседание в Тель-авивском музее. Три как бы не зависевших друг от друга, но в действительности тесно связанных события с предельной ясностью дали мне понять, что все бесповоротно изменилось, — и для меня, и для еврейского народа, и для Ближнего Востока. Начать с того, что в субботу перед рассветом я увидела в окно фактическое начало Войны за независимость: четыре египетских "Спитфайра" прожужжали над городом, направляясь бомбить тель-авивскую электростанцию и аэропорт, — это был самый первый воздушный налет. Затем, несколько позже, я увидела, как в тель-авивский порт свободно и гордо вошел корабль с еврейскими иммигрантами — уже легальными. Больше никто не охотился за ними, не гнал их, не наказывал за то, что они приехали домой. Постыдная эра "сертификатов" и счета человеческого поголовья окончилась, и когда я, не прячась от солнца, смотрела на этот корабль (старое греческое судно "СС Тети"), я почувствовала, что никакая цена за это не может быть слишком высокой. Первым легальным иммигрантом, высадившимся на землю государства Израиль, был усталый, бедно одетый старый человек по имени Шмуэль Бранд, бывший узник Бухенвальда. В руке он держал скомканный клочок бумаги, на котором стояло: "Дано право поселиться в Израиле". Но бумага была подписана Отделом иммиграции государства Израиль, — и это была первая выданная нами виза.

И третье событие — прекрасная минута нашего формального вступления в семью наций. 14 мая, через несколько минут после полуночи, мой телефон зазвонил. Он звонил весь вечер; подбегая, я готова была к дурным известиям. Ликующий голос прокричал: "Голда? Ты слушаешь? Трумэн признал нас!" Не помню, что я ответила, что я сделала, но хорошо помню свои чувства. То, что это случилось в минуту нашей наибольшей уязвимости, накануне вторжения, показалось мне чудом; я почувствовала облегчение, сердце мое переполнилось радостью. Весь Израиль испытывал эти же чувства, но мне кажется, что для меня то, что сделал президент Трумэн, значило больше, чем для моих коллег, потому что я была "американка" среди нас, я больше всех знала о Соединенных Штатах, их истории, их людях — ведь только я выросла в этой великой демократической стране. И хотя быстрота признания изумила меня не меньше, чем всех прочих, великодушные и добрые побуждения, стоявшие за этим действием, ничуть меня не изумили. Теперь я думаю, что, как и большинство чудес, это чудо было вызвано двумя очень простыми вещами: во-первых, Гарри Трумэн понимал и уважал наше стремление к независимости, потому что такой человек, как он, при других обстоятельствах сам мог бы стать одним из нас; во-вторых, Хаим Вейцман, которого он принимал в Вашингтоне, так объяснил ему ситуацию и так защищал перед ним наше дело, как никто еще в Белом Доме этого не делал, — и произвел на него большое впечатление. То, что совершил Вейцман, бесценно. Признание Америки стало для нас величайшим событием этой ночи.

Признание Советского Союза, последовавшее за американским, имело другие корни. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии с Ближнего

Востока. Но осенью 1947 года, когда происходили дебаты в Организации Объединенных Наций, мне казалось, что советский блок поддерживает нас еще и потому, что русские сами оплатили свою победу страшной ценой, и потому, глубоко сочувствуя евреям, так тяжело пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили свое государство. Как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам за последующие двадцать пять лет, я не могу фальсифицировать картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии и транспортировать через Югославию и другие балканские страны в те черные дни начала войны, пока положение не переменялось в июне 1948 года. В первые шесть недель войны мы очень полагались на снаряды, пулеметы и пули, которые Хагане удалось закупить в Восточной Европе, тогда как даже Америка объявила эмбарго на отправку оружия на Ближний Восток, — хотя, разумеется, мы полагались не только на это. Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него не похоже, и факт остается фактом: несмотря на то, что Советский Союз впоследствии так яростно обратился против нас, советское признание Израиля 18 мая имело для нас огромное значение. Это значило, что впервые после второй мировой войны две великие державы пришли к согласию в вопросе о поддержке еврейского государства, и мы, хоть и находились в смертельной опасности, по крайней мере сознавали, что мы не одни. Из этого сознания — да и из суровой необходимости — мы почерпнули ту, если не материальную, то нравственную силу, которая и привела нас к победе.

Позвольте мне добавить, раз я уж об этом говорю, что второй страной, признавшей Израиль в день его рождения, была маленькая Гватемала, чей представитель в ООН Хорхе Гарсиа Гранадос был одним из активнейших членов Специальной комиссии по Палестине.

Итак, наше государство уже приняли как факт. Оставался один вопрос, который, как это ни невероятно, остается в силе и теперь: как мы сможем выжить. Не "сможем ли мы", но "как". Утром 15 мая Израиль был атакован с трех сторон: Египтом с юга, Сирией и Ливаном — с севера и северо-востока, Трансиорданией и Ираком — с востока. По газетам складывалось впечатление, что арабская похвальба — уничтожить Израиль за десять дней — имеет, возможно, некоторое основание.

Самым серьезным было наступление Египта, хотя в смысле какой бы то ни было выгоды оно сулило египтянам меньше, чем остальным. У Абдаллы было объяснение, хоть и дурное, и он мог его сформулировать: он хотел завладеть всей страной и, в особенности, Иерусалимом. Причины для войны были и у Сирии с Ливаном: они рассчитывали поделить между собой Галилею. Ирак желал принять участие в кровопускании и в качестве дополнительной выгоды приобрести выход к Средиземному морю, если понадобится — через Трансиорданию. Но у Египта не было никаких военных целей, кроме желания разграбить и разрушить все, созданное евреями. Вообще, меня всегда поражало, что арабы так стремились воевать с нами. Почти с самого начала, с первых сионистских поселений и до сегодняшнего дня их сжигает ненависть к нам. Единственное возможное объяснение, — до глупости смешное, — что они просто не могут вынести нашего присутствия и простить нашего существования. Но мне трудно поверить, что лидеры всех арабских государств думали и думают так примитивно.

С другой стороны, — чем мы когда-либо угрожали арабским государствам? Правда,

мы не бежим бегом возвращать территории, выигранные нами в затеянных ими войнах, но арабская агрессия затеялась вовсе не ради территорий, и уж, конечно, не потребность в территориях толкнула Египет на север в 1948 году, чтобы разрушить Тель-Авив и еврейский Иерусалим. Тогда что же? Иррациональное всепобеждающее стремление физически нас уничтожить? Страх, что мы принесем прогресс на Ближний Восток? Отвращение к западной цивилизации? Кто знает. Что бы это ни было, оно не перестает существовать, — но и мы тоже! И решение, вероятно, нескоро еще будет найдено, хотя я не сомневаюсь, что придет время, когда арабские государства нас признают и примут. Коротко говоря, мир зависит — и всегда зависел — лишь от одного условия: арабские лидеры должны согласиться с нашим присутствием.

Но в 1948 году было ясно, что арабские государства, как всегда, увлекаемые игрой воображения, в своих мечтах за несколько дней проносятся как буря по территории, ставшей ныне Израилем. Прежде всего, войну начали они, что давало им важные тактические преимущества. Во-вторых, доступ в Палестину, с ее арабским населением, которое долгие годы натравливалось на евреев, был для них нетруден. В-третьих, арабы свободно передвигались из одной части страны в другую. В-четвертых, они контролировали почти все горные районы Эрец-Исраэль, откуда было нетрудно атаковать наши поселения, расположенные в низинах. Наконец, у арабов было абсолютное преимущество в людях и вооружении, причем они разными путями получали прямую и косвенную помощь от англичан.

А что было у нас? Всего понемножку, — но и это будет преувеличением. Несколько тысяч винтовок, несколько сот пулеметов, еще кое-какое огнестрельное оружие, но на 14 мая 1948 года — ни одной пушки, ни одного танка; правда, целых девять самолетов (хотя только один из них двухмоторный). Благодаря замечательной предусмотрительности Бен-Гуриона, за границей была закуплена техника для производства вооружения, но до ухода англичан она не могла быть ввезена в страну, а ее еще предстояло собрать и пустить в ход. Судя по статистике, с кадрами офицеров и солдат дело тоже обстояло не блестяще. 45 000 мужчин, женщин и подростков в Хагане, несколько тысяч членов в других подпольных организациях и несколько сот вновь прибывших, прошедших какое-то подобие военного обучения (с деревянными винтовками и игрушечными патронами) в германских лагерях для перемещенных лиц, в кипрских лагерях и в самой стране после объявления независимости; еще несколько тысяч еврейских и нееврейских добровольцев из-за границы. Вот и все. Но мы не могли позволить себе такой роскоши, как пессимизм и поэтому строили совершенно другие расчеты, базировавшиеся на том, что у нас — у всех 650 тысяч — была такая сильная воля к жизни, которая даже не могла быть понята за пределами Израиля; если мы не хотели, чтобы нас столкнули в море, нам оставалось только победить. И мы победили. Не легко, не быстро и не малой ценой. С того дня, как в Объединенных Нациях была принята резолюция о разделе Палестины (29 ноября 1947 года), и до подписания первого перемирия между Израилем и Египтом (24 февраля 1949 года) было убито 6000 молодых израильтян — 1 процент всего населения, и — хоть мы еще не могли этого знать — даже ценой всех этих жизней мы не купили мира.

Трудно выразить, как тяжело было мне покидать страну в момент, когда только что было провозглашено государство. Меньше всего на свете хотелось мне тогда ехать за границу. Но 16 мая пришла телеграмма от Генри Монтора, вице-президента организации

"Юнайтед джуиш эпил" ("Объединенный еврейский призыв" — ОЕП). Американское еврейство, писалось там, глубоко взволновано тем, что произошло. Люди бесконечно счастливы и горды. Если я совершу сейчас даже небольшое путешествие по Америке, то, по его мнению, мы сможем собрать еще 50 миллионов долларов. Мне ли было не знать, что значат эти деньги для Израиля, как отчаянно мы нуждаемся в оружии, как дорого будет стоить перевозка и устройство 30000 евреев, запертых на Кипре и так долго ожидавших отправки в Израиль! При одной мысли — оторваться от Израиля сейчас — у меня падало сердце, но выбора не было. Обсудив все с Бен-Гурионом, я тотчас протелеграфировала, что вылетчу первым же самолетом. К счастью, готовиться к поездке не приходилось. Весь мой нехитрый гардероб находился в Иерусалиме, недостижимом как луна, так что багаж мой состоял из зубной щетки, щетки для волос и чистой блузки; правда, в Нью-Йорке я обнаружила, что покрывало, которое я носила в Аммане, все еще лежало у меня в сумке. Мне удалось поговорить с Сарой и сообщить ей, что я вернусь самое большее через месяц, а также получить наскоро изготовленный пропуск (лессе-пас-се), первую выездную визу, выданную государством Израиль своему гражданину. После этого с первым же самолетом я улетела.

В Штатах меня приветствовали так, как если бы я была живым воплощением Израиля. Снова и снова я рассказывала, как было провозглашено государство, как началась война, как происходит осада Иерусалима, и снова и снова заверяла евреев Америки, что с их помощью Израиль выстоит. Я выступала в разных городах Америки, на завтраках, обедах и чаепитиях ОЕП, на встречах в частных домах. Когда я уже валилась с ног от усталости, — а это бывало нередко, — мне стоило вспомнить, что я выступаю как посланец еврейского государства, и усталость моя бесследно испарялась. Понадобились недели, чтобы я привыкла к звуку слова "Израиль" и к тому, что теперь у меня новое гражданство. Но поездка моя была предпринята отнюдь не ради сантиментов. Я приехала, чтобы собрать деньги — как можно больше и как можно скорее; и я говорила об этом в мае так же недвусмысленно, как несколько месяцев назад, в январе. Государство Израиль не может прожить на аплодисменты, говорила я евреям Америки. Войну не выиграть речами, декларациями и даже слезами радости. Главное — это время, а то и аплодировать будет нечему.

"Мы не можем обойтись без вашей помощи, — повторяла я в десятках публичных выступлений и в частных разговорах. — Мы просим вас разделить нашу ответственность и все, что входит в это понятие — трудности, проблемы, беды и радости. Ведь то, что происходит сейчас в еврейском мире, так серьезно, так жизненно важно, что и вы можете изменить свой образ жизни, — на год, на два, на три, — пока мы все вместе не поставим Израиль на ноги. Решайтесь же и дайте мне ответ".

Ответ был дан — невиданно щедрый и скорый, от всего сердца, от всей души. Считалось, что тут не может быть "слишком много" или "слишком хорошо". И, ответив таким образом, американские евреи, как я и надеялась, подтвердили, что они наши союзники. И хотя в то время еще не было отдельного счета для Израиля, так что нам досталось меньше половины от собранных ОЕП в 1948 году 150 миллионов, — остальное было передано Джойнту для помощи евреям в Европе, — эти несколько десятков миллионов долларов, бесспорно, помогли нам выиграть войну. А кроме того, мы узнали, насколько американское еврейство вовлечено в дела Израиля и что мы можем рассчитывать на него в дальнейшем.

Во время своей поездки я познакомилась с людьми, позднее ставшими пропагандистами Израиля; до 1948 года они не имели особых связей с сионизмом, но теперь Израиллю предстояло стать делом их жизни. Когда в 1950 году мы основали организацию "Израэл бондс", они были моими ближайшими помощниками. Раньше я приезжала в Соединенные Штаты как посланец Гистадрута и почти все время проводила среди сионистов — членов Рабочей партии. Теперь же я познакомилась с другими американскими евреями — богатыми, очень деловитыми и полностью преданными делу. Прежде всего назову самого Генри Монтора; резкий, одаренный, одержимый Израилем, он стал чем-то вроде надсмотрщика, беспощадно подгонявшего и себя и других в попытках сбора новых и новых средств. Но были и бизнесмены, опытные промышленники — Билл Розенвальд, Сэм Ротберг, Харольд Гольденберг. Это лишь немногие из тех, с кем я сумела поговорить во время своего стремительного тура и обсудить возможность продажи облигаций займа для Израиля, помимо призывов к филантропии.

Но все время я стремилась домой, хотя и знала, что только что созданное министерство иностранных дел имеет на меня другие виды. За день до моего отъезда мы встретились с Моше Шаретом в гостинице, где я жила, он говорил, что трудно набрать людей для посольств и консульств Израиля в странах, которые уже признали его или признают в ближайшие недели.

— У меня никого нет для Москвы, — говорил он, очень озабоченный.

— Ну, слава Богу, этого ты мне предложить не сможешь! — сказала я. — Я и русского-то почти не знаю...

— Собственно говоря, это не имеет значения, — ответил он.

Но больше Шарет не развивал эту тему, а я постаралась принять это все как шутку. И если иногда вспоминала в перелетах между американскими городами наш разговор, то искренно надеялась, что Шарет забыл о нем.

Но однажды из Тель-Авива пришла телеграмма. Я сперва взглянула на подпись — не насчет Сары ли это, или Менахема, уже участвующего в боях со своей бригадой. Но, увидев подпись Моше, я поняла, что речь идет о Москве, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы прочесть текст телеграммы. Государству не было и месяца. Война не кончилась. Дети не были в безопасности. В Израиле у меня оставалась семья, близкие друзья — мне казалось очень несправедливым, что меня опять просят срочно собраться и отправиться к такому далекому и незнакомому месту назначения. "Почему всегда я?" — пожалела я себя. Многие могли справиться с таким постом не хуже, чем я, и даже лучше. Подумать только — Россия, откуда я уехала маленькой девочкой, и которая не оставила у меня ни одного приятного воспоминания! В Америке я занималась реальным, конкретным и практическим делом, а что я знаю о дипломатии? Меньше любого из моих товарищей. Но я понимала, что Шарет заручился согласием Бен-Гуриона, а уж Бен-Гуриона не смягчишь никакими личными просьбами. К тому же это был вопрос дисциплины. Кто я такая, чтобы ослушаться или скромничать, когда ежедневно приходят сообщения о новых потерях? Долг есть долг, и справедливость тут ни при чем. Мне хочется жить в Израиле — ну и что? Другим людям хотелось, чтобы их дети были целы и невредимы. И я после короткого обмена телеграммами и телефонными звонками ответила Шарету согласием, хоть и без особого энтузиазма. Себе же я обещала: "Когда вернусь в Израиль, постараюсь убедить Моше и Бен-Гуриона, что они делают ошибку". Однако в конце пер-

вой недели июня сообщение о моем назначении послом в Москву было опубликовано.

Я взяла выходной день, чтобы повидать старых нью-йоркских друзей и проститься с новыми. Мне хотелось перед отъездом посетить Фанни и Джейкоба Гудмэн. Ни я, ни дети никогда не теряли контакта с ними; я надеялась, что часок-другой с ними в разговорах о Саре с Зехарией и о Шейниных детях, которых они так давно не видели, поднимет мое настроение. Но я до них так и не добралась. По дороге в Бруклин на мое такси налетела другая машина, и я пришла в себя с переломанной ногой, уже положенной в гипс. На ближайшие несколько недель моим адресом оказался не Тель-Авив и не Москва, а Нью-Йоркский хирургический госпиталь. Вспоминая свое тогдашнее настроение, я думаю, что ничто, даже начавшийся у меня тромбофлебит, не удержало бы меня в госпитале, не подоспей сообщение о том, что 11 июня бои в Израиле временно прекратились.

К 11 июня продвижение арабов было остановлено. Попытка египтян взять Тель-Авив и Иерусалим провалилась, несмотря на то, что к востоку и к западу от Иерусалима все еще шли бои с иорданцами и Еврейский квартал Старого города был захвачен Арабским легионом Абдаллы. Сирийцы, хоть их продвижение на севере и было остановлено, все еще удерживали предмостные укрепления на реке Иордан, а иракские войска по-прежнему стояли у самой узкой части страны, возле Нетании. Объединенные Нации уже несколько недель старались добиться перемирия, но пока арабы надеялись сломить Израиль, они не выражали в этом заинтересованности. Однако очень скоро стало ясно, что им это не удастся, и тогда они согласились на прекращение огня. Первое перемирие, длившееся двадцать восемь дней, дало передышку, возможность перегруппироваться и выработать план наступательных операций, закончившихся в июле ликвидацией угрозы Тель-Авиву и прибрежной полосе, снятием осады Иерусалима и разгромом всех крупнейших арабских баз в Галилее.

Казалось бы, несмотря на боли, я могла бы отдохнуть в госпитале — физически и морально, но я не имела ни минуты покоя. Прежде всего — из-за телекамер и журналистов. В 1948 году женщина — посол в Москве была для них в новинку, но женщина — посол в Москве, да еще представлявшая крошечное воюющее государство Израиль, да еще неподвижно лежащая в нью-йоркском госпитале, — это была уже сенсация. Вероятно, я могла бы отказаться от интервью, и сегодня в подобных обстоятельствах я бы так и сделала. Но тогда я думала, что чем больше "паблисити", тем лучше для Израиля, и не считала себя вправе отвергать кого бы то ни было из представителей прессы, хотя моих близких, особенно Клару, просто пугали толпы, набивавшиеся в моей палате.

Но было нечто и похуже — давление, которое на меня оказывали, чтобы я ехала в Москву. Из Израиля меня бомбардировали телеграммами: "Когда сможешь выехать из Нью-Йорка?" "Когда сможешь заступить на свой пост?" "Как себя чувствуешь?" В Израиле носились слухи, что у меня "дипломатическая" болезнь, и все дело в том, что я не хочу ехать в Россию. И, словно мало было этого противного шепотка, замечались признаки того, что советское правительство задето моим промедлением, усматривая в этом тактический прием, направленный на задержку обмена послами, чтобы американский посол приехал в Израиль первым и стал главой дипломатического корпуса. Несмотря на состояние здоровья, я должна была отнестись к этому со всей серьезностью. И я начала убеждать докторов, чтобы они разрешили мне выписаться из госпиталя. Стоит ли говорить, что этого делать не следовало. Надо было оставаться в больнице до полной поправки. Оба

министерства иностранных дел, и наше и советское, обошлись бы еще несколько недель без меня, а я бы избежала всяческих осложнений со здоровьем и еще одной операции. Но недостаток всякого служебного положения в том и заключается, что человек утрачивает меру вещей, и я была уверена, что если я в ближайшее время не явлюсь в Москву, произойдет какой-нибудь ужасный кризис.

Прибыв в Израиль, я сделала еще одну попытку переубедить Шарета, хоть и сама уже не надеялась на успех. К тому же мне рассказали историю, поднявшую мое настроение: Йегуда Авриэль, член Хаганы, который много сделал для доставки нам оружия из Чехословакии и позже стал первым послом Израиля в Праге, был приглашен там на беседу с советским послом. В разговоре посол сказал Авриэлю: "Вы, вероятно, ищите человека для посылки в Москву. Не думайте, что он должен свободно говорить по-русски или быть экспертом по марксизму-ленинизму. Ни то, ни другое не обязательно". Спустя некоторое время он, как бы между прочим, спросил: "Кстати, что с госпожой Меерсон? Она остается в Израиле, или у нее другие планы?" Из этого мои друзья, и Шарет в том числе, заключили, что русские по-своему запросили меня, и я стала относиться к своему назначению по-другому.

Среди немногих приятных минут, пережитых мною в госпитале, была та, когда я получила из Тель-Авива телеграмму: "Не возражаешь ли против назначения Сары и Зехарии в московское посольство радистами?" Я была растрогана и преисполнена благодарности. Иметь Сару и Зехарию в России, рядом — это могло скрасить разлуку с Израилем. Приехав в Тель-Авив, я первым делом спросила Шейну*, можно ли устроить свадьбу Сары и Зехарии в маленьком доме, который они с Шамаем купили много лет назад. Мы решили, что это будет чисто семейное торжество с немногими приглашенными. Отец мой умер в 1946 году — еще один из самых дорогих мне людей, не дождавшийся создания государства, — а бедная мама уже несколько лет как стала совершенно беспомощной: ничего не помнила, плохо видела и так изменилась и поблекла, что почти и следов не осталось той насмешливой, энергичной, задорной женщины, которой она была. Но Морис был тут, такой же милый, как всегда, и весь лучившийся от гордости, были тут и родители Зехарии, тоже сияющие. Отец его прибыл в Эрец-Исраэль из Йемена, когда страной еще правили турки. Он был очень беден, очень религиозен и не получил никакого формального образования — его учили только Торе. Он вырастил прекрасную и дружную семью, хотя сам Зехария к тому времени и отошел от обычаев и традиций йеменского еврейства.

Я опять поселилась в гостинице на набережной. Сара, приехавшая в Тель-Авив из Ревивима, остановилась на несколько дней у меня, а Зехария, который тяжело болел и несколько недель лежал в больнице под Тель-Авивом, наконец оттуда выписался. Из нашей семьи в саду Шейны, где происходила свадьба, не было только Менахема и Клары. Конечно, я вспоминала собственную свадьбу и думала, как непохожа эта была на ту, да и начинали мы с Морисом нашу совместную жизнь в совершенно иных условиях. Не стоило думать теперь, кто был виноват и почему наш брак не удался, но я предчувствовала (и в этом не ошиблась), что Сара и Зехария, хоть и стоят под брачным балдахином в том самом возрасте, в котором стояли когда-то мы, были более зрелыми и больше подходили друг другу, и то, что не удалось нам с Морисом, удастся им.

*Сестра Голды.

Но в предотъездной суматохе, между партийными собраниями, последними деловыми указаниями и дорожными сборами, я сосредоточенно думала: каким должно быть наше представительство в СССР? В каком виде мы хотим показаться за границей? Какое представление о себе хотим внушить миру и, в частности, Советскому Союзу? Что за государство мы создаем, и как нам отразить его особенности? Чем больше я об этом думала, тем меньше хотела, чтобы наше представительство просто копировало другие. Израиль был мал, беден и все еще находился в состоянии войны. Правительство все еще было временным (первые выборы в Кнесет состоялись только в январе 1949 года), но большинство в нем, разумеется, принадлежало рабочему движению. Я была убеждена, что мы должны показать миру свое лицо без каких бы то ни было прикрас. Мы создали "халуцианское"* государство в осажденной стране, лишенной природных и иных богатств; в это государство уже устремились сотни тысяч перемещенных лиц, у которых тоже ничего не было, в надежде построить для себя новую жизнь. И если мы хотим, чтобы нас понимали и уважали другие государства, мы и за границей должны оставаться такими же, как дома. Роскошные приемы, богатые апартаменты, всякого рода потребительство — это не для нас. Мы можем проявлять лишь строгость, воздержанность, скромность и понимание нашего значения и задач — все остальное будет фальшью.

Какая-то смутная мысль была у меня все время, и наконец мне удалось ее сформулировать. Наше посольство в Москве будет управляться самым типичным израильским способом: как кибуц. Мы будем вместе работать, вместе есть, получать равное количество денег на карманные расходы и нести по очереди дежурства. Как в Мерхавии или Ревивиме, люди будут делать ту работу, которой они обучены и для которой, по мнению нашего министерства иностранных дел, они подходят, но дух и атмосфера нашего посольства будут те же, что и в коллективном поселении; я верила, что, помимо всего прочего, русским это должно было особенно понравиться (хотя их собственный коллективизм не вызывал у меня особых восторгов ни тогда, ни потом). Всего нас должно было быть двадцать шесть человек, включая Сару, Зехарию, меня и советника посольства Мордехая Намира, вдовца с пятнадцатилетней дочерью по имени Яэль. (Впоследствии Намир стал послом Израиля в СССР, был министром труда, а затем в течение десяти лет — мэром Тель-Авива.) Личной помощницей для себя я выбрала Эльгу Шапиро, которая не только говорила по-русски, но и знала куда больше меня об эстетической стороне жизни, и которой смело можно было поручить решение страшного для меня вопроса — как обставить помещение и как одеть персонал посольства.

Еще до приезда в Тель-Авив я написала Эльге письмо с просьбой поехать со мной, если я действительно отправлюсь в Москву, и, к большой моей радости, она согласилась немедленно. Передо мной лежит записка, которую я от нее получила в конце июня в Нью-Йорке и, по-моему, из нее видно, о чем надо было позаботиться, посылая на высший дипломатический пост женщину, особенно такую, как я, не сомневавшуюся, что и в России сможет жить, как дома. Она писала:

"Я говорила с Эхудом. Он говорит, что мы должны быть очень *comme il faut*. Так что, Голда, пожалуйста, — как насчет мехового пальто для вас? Там, куда вы едете, очень холодно, и зимой там очень многие носят шубы. Норку покупать не обязательно, но

*Халуцим — пионеры заселения Эрец-Исраэль.

хорошая иранская цигейка очень пригодится... Вам понадобятся также несколько вечерних платьев, и еще купите себе всякие шерстяные вещи: ночные рубашки, чулки, белье. И еще, пожалуйста, купите пару хороших зимних ботинок”.

Конечно, вопрос туалетов не слишком меня занимал, но тут я пожалела немножко, что у нас нет национального костюма — это бы, по крайней мере, разрешило для меня хоть одну проблему, как для госпожи Пандит, которая тоже была дипломатом в Москве и, разумеется, на всех официальных приемах появлялась в сари. В конце концов мы с Эльгой согласились, что на вручении верительных грамот я буду в длинном черном платье, которое мне сшили в Тель-Авиве, и, если надо, надену на голову черную бархатную шляпку-тюбан. Обстановку для посольства Эльга решила купить в скандинавских странах, как только мы найдем постоянное помещение. В ожидании этого мы устроим свой “кибуц” в гостинице. Кроме того, надо было найти и привезти в Россию кого-нибудь в совершенстве владеющего французским языком, поскольку было принято решение, что дипломатическим языком Израиля станет французский. Эльга познакомила меня с умной, забавной, тоненькой как былинка Лу Хадар; она родилась в Париже, ее французский был безупречен, она прожила в Иерусалиме все время осады и была тяжело ранена. Она понравилась мне с первого взгляда, — и это было очень хорошо, потому что на долгие годы она стала моим ближайшим другом, незаменимой помощницей и почти постоянной спутницей в поездках. Как бы то ни было, она тут же согласилась отправиться с нами в Россию.

Я пробыла в Израиле в то лето достаточно долго, чтобы приветствовать первого посла Соединенных Штатов, восхитительно искреннего и теплого человека Джеймса Дж. Макдональда, с которым уже была знакома прежде, и русского посла — Павла Ершова. Государство было новое, подходящих зданий не хватало, и — типичная черта этого времени — американское и советское посольство расположились в одном и том же тель-авивском отеле, недалеко от меня; я так и не привыкла к виду двух этих флагов — со звездами и полосами и с серпом и молотом, — развевающихся по обе стороны одной и той же крыши. За первые недели этого “существования” произошло немало инцидентов. Например, во время гала-представления в Израильской национальной опере оркестр сыграл сначала “А-Тикву”, а потом, в честь Макдональда, — “Звездно-полосатый флаг”, но советский гимн так и не сыграл, хотя советник Ершова тут присутствовал, — во всяком случае до той минуты, когда он и сопровождавшие его довольно шумно удалились.

В министерстве иностранных дел все трепетали, пока Ершов лично не согласился принять наше объяснение, что если бы присутствовал он сам, то, конечно, был бы исполнен советский гимн. Сегодня эти мелкие оплошности кажутся смешотворными, но тогда мы относились к ним очень серьезно. Все казалось нам важным, а Шарет, педантично точный от природы, считал, как, к стати, и русские, что протокол имеет огромное значение, чего я никогда не могла понять.

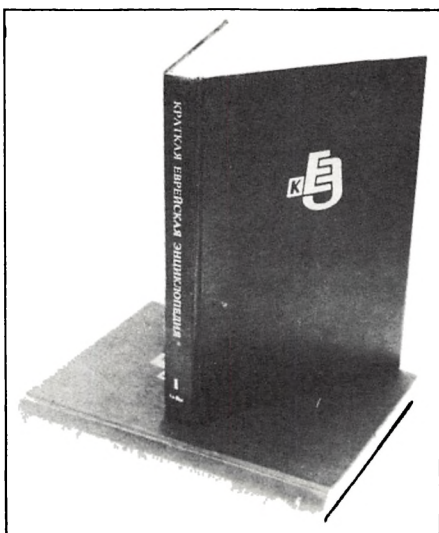
Второе перемирие началось 19 июля, открыв собой долгую и трудную полосу переговоров по поводу Негева, который, по рекомендации посредника ООН шведского графа Фольке Бернадотта, следовало передать арабам. Учитывая, что Бернадотт был судьей в этом вопросе, надо признать, что он проявил крайнюю необъективность, и его сильно невзлюбили, особенно же когда к нанесенной обиде он прибавил еще и явное оскорбление, выступив за отрыв Иерусалима от еврейского государства и передачу израильских портов

и аэродромов под наблюдение ООН. Конечно же, эти рекомендации были неприемлемы и доказывали только, что Бернадотт так никогда и не понял, ради чего было создано еврейское государство. Но тупость – еще не преступление, и я буквально пришла в ужас 17 сентября, всего через две недели после приезда в Москву, узнав, что Бернадотта застрелили на тихой улице Иерусалима. И хотя нападавшие на него люди так и не были найдены, мы знали: все решат, что это сделали евреи. Мне казалось, что наступил конец света. Чего бы я только не дала за то, чтобы полететь домой и быть там во время неминуемого кризиса! Но в это время я уже была глубоко вовлечена в совершенно новый и не дававший ни минуты свободы образ жизни.

С английского. Перевод Руфи ЗЕРНОВОЙ.

(Окончание в следующем номере)

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ



КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

в шести томах

Главные редакторы:

ИЦХАК ОРЕН (НАДЕЛЬ), МИХАЭЛЬ ЗАНД

Еврейская энциклопедия на русском языке издается второй раз: первая вышла в Санкт-Петербурге в 1908 – 1913 гг. в издании Брокгауза и Эфрона в 16 томах. Новая еврейская энциклопедия на русском языке, издаваемая при участии лучших научных сил Еврейского университета в Иерусалиме, — поистине монументальный труд по еврейской истории от библейских времен до наших дней. Читатель найдет в ней биографии общественных и политических деятелей, ученых, писателей, деятелей искусств, внесших вклад в еврейскую и мировую культуру и науку; обстоятельные сведения о еврейской религиозной традиции, о каббале и хасидизме, о еврейской философии, литературе, искусстве. Подробно освещены события новейшей истории еврейского народа: возрождение еврейского государства, Катастрофа европейского еврейства во время второй мировой войны, положение евреев в диаспоре.

КЕЭ дает русскоязычному читателю объективные и находящиеся на современном уровне науки сведения по широкому кругу дисциплин, определяемых в своей совокупности как иудаистика, или наука о еврействе.

Том. 1. ААРОН — ВЫСОЦКИЙ. Том 2. ГАББАЙ — ИЗМИР. Том 3. ИЗРАИЛЬ — К. ЦЕТНИК (в печати).

ПОДПИСЧИКАМ "НАРОДА И ЗЕМЛИ" — ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ!

Два первых тома (с пересылкой) — 40 долларов
(вместо обычных 50)

Заказы на имя Society for Research on Jewish Communities
направлять по адресу: P.O.B. 8383, Jerusalem 91083, Israel

Раби Имануэль ЯКОВОВИЦ

*Еврейская точка зрения**

(Диалог иудаизма с христианством)

Вступая в диалог и дискуссию с представителями других вероисповеданий, мы, евреи, оказываемся в парадоксальной ситуации: обладая, несомненно, некими специфическими преимуществами, мы находимся вместе с тем в довольно уязвимом положении. Слабость нашей позиции является прямым продолжением определенных особенностей нашей религии, которыми, в более общем смысле, можно только гордиться: вероучение, исповедуемое еврейским народом, сформировалось в эпоху, когда о религиях, с которыми мы сейчас стремимся найти общий язык, еще не могло быть и речи. Много веков наша древняя жизнь развивалась замкнуто, рядом с нами просто не существовало традиций, достаточно развитых в теологическом плане, чтобы сделать возможным какой бы то ни было идеологический контакт. Новый завет пестрит цитатами из Ветхого завета (Танаха), однако обратная ситуация, естественно, невозможна. Мы слишком долго не были "религией диалога" и в этом разительно отличаемся от христиан, с самого начала отталкивавшихся от Торы (Пятикнижия Моисеева) и формулировавших свои постулаты в попытках осмыслить или переосмыслить те или иные положения Танаха.

Но есть у нас и существенное преимущество. Почти две тысячи лет наш народ и наша религия являются объектом интенсивного интереса со стороны окружающего мира, нас осуждали, проклинали, преследовали, изгоняли, уничтожали, реабилитировали, восхваляли, потом снова предавали анафеме: колесо страстей, вызванных нашим существованием, вращалось без конца. И сегодня, когда мир острее, чем когда-либо, озадачен проблемами розни и примирения между людьми, ни один другой народ не может претендовать на столь длительный, горький, но вместе с тем и обогащающий опыт, какой достался нам в ходе нашей нелегкой истории.

Приведу лишь один в высшей степени элементарный пример, который в то же время подводит нас к самой сути рассматриваемой проблемы. В лексиконе человеческой неспра-

*Статья представляет собой текст выступления раби Якововица на семинаре по межрелигиозным связям в Ламбете, Великобритания, в октябре 1983 года. Семинар организован архиепископом Кентерберийским.

ведливости есть несколько слов, вошедших ныне во все языки мира: расизм, геноцид, Катастрофа, погром, гетто. Все они возникли для определения тех или иных трагических обстоятельств еврейской истории и первоначально употреблялись только в еврейском контексте. Так "гетто" появилось в английском словаре первый раз в 1626 году. Пояснение гласило: "Отведенный для евреев городской район, вне которого им запрещено селиться". О "погроме" заговорили в 1905 году, история рождения этого слова всем хорошо известна. "Расизм" не фигурировал в английской речи вплоть до 1942 года, когда "Большой оксфордский словарь" разъяснил, что так следует переводить немецкий термин "rasenlehre" — "учение о расах", точнее — о превосходстве немцев над евреями, название, изобретенное каким-то анонимным антисемитом. "Геноцид", этот гибрид греческого и латинского корней, узаконен в 1944 году, раньше говорили о "массовых убийствах", но беспрецедентный масштаб уничтожения евреев гитлеровцами потребовал изобретения нового понятия. "Катастрофа" (англ. "Holocaust") не требует расшифровки, хотя сейчас и это слово употребляется расширительно ("армянская Катастрофа 1915 года" и т. п.).

Но главное, конечно, не в словах, а в реальных событиях еврейского прошлого. Борьба евреев за равноправие послужила прототипом множества движений, высвободивших в конце концов те или иные меньшинства из-под гнета их более многочисленных соседей. Призыв "Отпусти народ мой!" впервые прозвучал в Египте три с половиной тысячи лет назад, но он и сейчас актуален в разных концах света: вспомним советских евреев или фалашей в Эфиопии. Сионизм — первое масштабное национально-освободительное движение нового времени, и можно лишь горько сожалеть, что представители других движений сходного типа, возникших позднее сионизма и нередко испытывавших его прямое воздействие, находят возможным проклинать Израиль с трибуны ООН и даже кощунственно объявлять сионизм разновидностью расизма, забывая, что это слово порождено вековой дискриминацией еврейства со стороны "привилегированных народов".

И все же, несмотря на национальную и религиозную рознь, которая все еще терзает целые районы земного шара, человечество движется вперед, и симптомы прогресса налицо. Мы часто жалуемся на упадок морали и возросшую угрозу разрушительной войны, и все же никогда в прошлом проблемы социальной справедливости и единения народов и общин не волновали людей так непосредственно, как сегодня. Ликвидация колониализма породила десятки новых государств и создала нормальные политические учреждения на многих до того совершенно отсталых территориях; система социального обеспечения предусматривает определенную заботу о стариках, больных, безработных и всех тех, кому в недавнем прошлом предоставляли только одно право: медленно или быстро погибать от нужды. Система средств массовой информации, как бы плохо она ни функционировала и какие бы злоупотребления ни творились с ее помощью, впервые дает возможность людям не только узнать, но и увидеть трагедию своих собратьев, живущих за тысячи миль. Борьба за права человека, живущего в условиях недемократического общества, стала неотъемлемой частью международной политики многих государств. Разумеется, от идеала до его воплощения в жизнь пролегает немалое расстояние, и все же даже те декларации, которые мы постоянно слышим сегодня, были бы немыслимы каких-нибудь сорок лет назад. Мы вправе сказать, что мир стал более гуманным и чувствительным к несправедливости, чем это было в недавнем прошлом.

Но здесь-то и таится парадокс. Все эти принципы — человечности, равенства, свободы,

братской взаимопомощи суть не что иное, как практическое преломление идей и устремлений религиозного сознания. Они коренятся в нравственной революции, совершившейся некогда внутри еврейского народа, в заповедях его религии, в страстной вере, воодушевлявшей его пророков, вере, которую еврейство более тысячи лет несло в полном одиночестве, пока христианство и ислам не переняли некоторые из духовных зерен, таившихся в почве Святой Земли, и не приобщили целые континенты к таким понятиям, как монотеизм и самоценность этики. Не следует ли предположить, что нынешний прогресс социальной морали имеет в своей основе религиозный импульс, окрепший и закалившийся в предшествующие века и ныне продемонстрировавший всему миру свое мощное и облагораживающее воздействие?

Действительность, однако, свидетельствует совсем о другом. Религиозный фактор если и участвовал в перечисленных мною достижениях, то лишь в качестве второстепенного и даже периферийного явления. Не духовные поиски, а вполне материальный технический феномен — телевизионный экран — заставил миллионы людей в Европе и Америке содрогнуться от убийств в Биафре, бессмысленных зверств во Вьетнаме, южноафриканской дискриминации или почти поголовной нужды в странах Третьего мира. Перо журналиста, а не проповедь верующего, привлекло внимание к катастрофическому падению морали в отношениях между полами, к росту насилия и гангстеризма. Даже события, касающиеся собственно религиозной сферы, имеют своей причиной явления светского характера. Социальный прогресс медленно, но неуклонно устранял предрассудки, доставшиеся в наследство от средневековья. Евреи получили равноправие и возможность свободно исповедовать свою религию. Французские антисемиты проиграли дело Дрейфуса. Чудовищный эксперимент национал-социализма породил у многих на Западе комплекс вины, и сейчас даже за "железным занавесом" запрещено говорить о существовании официального антисемитизма. Постепенно новые веяния проникли и в церковную среду. В 1942 году в Англии был создан Совет христиан и евреев, призванный пересмотреть традиционные обвинения со стороны христианских апологетов в адрес еврейства. Декларации Второго Ватиканского собора (1965) создали новый климат и в католическом мире. Свой вклад в преодоление вековой розни внесло Консультативное совещание евреев и лютеран — исторический съезд представителей двух вероучений, состоявшийся в Стокгольме в июле 1983 года. Проведена значительная работа по пересмотру теологических трактатов и учебников, изобиловавших до последнего времени антисемитскими выпадами. В христианской среде много пишут сейчас об иудейских истоках Нового Завета — этой теме посвящена уже целая литература. И все же хочется спросить: действительно ли вся эта переоценка ценностей вызвана к жизни возросшим интересом общества к религиозной проблематике, стремлением углубить и расширить собственное понимание изначального смысла двух Заветов? Мне думается, что общая тенденция нашего времени к равноправию, терпимости, сотрудничеству между людьми сыграла в этом процессе куда большую роль. И не случайно, надо полагать, экуменическое движение зародилось в эпоху, отмеченную созданием Организации Объединенных Наций и всевозможных комиссий и комитетов, призванных координировать усилия и интересы различных стран и народов. Сближение христиан и евреев стало фактом. При этом, однако, характер стоящих перед нами задач нередко истолковывается неверно, что приводит к необоснованным надеждам и разочарованиям. Так, например, мы, ортодоксальные евреи, совершенно не имеем в виду какого-то пересмотра положений той или иной

религии представителями другой религиозной традиции или изобретения каких-либо новых обрядов и ритуалов, участвовать в которых могли бы на равных основаниях представители различных вероисповеданий. Нам предстоит еще многое сделать, но подобные реформы я считаю в равной мере и нереальными и нецелесообразными.

Повторю слова проповеди, сказанные мною в 1971 году и опубликованные затем в "Таймсе": "Мы рассматриваем наше отношение к Богу, а также формулы и действия, в которых мы коллективно выражаем его, как нечто столь же внутреннее, личное и закрытое для посторонних, как, скажем, взаимоотношения мужа и жены. Мы полагаем невозможным выставить наши сокровенные верования и соответствующие им ритуалы на суд и придирчивый анализ тех, кто не разделяет наших чувств и убеждений и не связан с нами узами духовной сопричастности и общей конфессиональной принадлежности".

В сентябрьском выпуске "Кристиан джуиш-рилэйшнз" за 1983 год помещена статья "Диалог христиан и евреев в наши дни", принадлежащая перу д-ра Пауля Герхарда Аринга, одного из видных протестантских теологов современной Германии. В ней, в частности, говорится: "Сейчас мы не можем не спросить себя: является ли наше исповедание Иисуса Христа, наше понимание основ христологии значимым и заслуживающим доверия? Ведь всего поколение назад многие из нас, искренне считая себя христианами и повторяя ежедневно слова: "Иисус Христос, Господь Бог наш", соучаствовали в чудовищных преступлениях по отношению к людям, которые не только духом, но и буквой Священного Писания признаны братьями и сестрами Иисуса! Как же можем мы после веков насилия и несправедливости, чинимых либо с благословения церкви, либо при молчаливом ее попустительстве, по-прежнему считать себя носителями миссии, возложенной на человеческий род Христом и апостолами, не мучаясь вопросом: имеем ли мы нравственное право на подобного рода миссию?" Автор заканчивает призывом к "радикальному пересмотру" христианского вероучения в тех формах и практических воплощениях, которые оно обрело в европейской традиции от средневековья до нынешнего столетия.

Как еврей я счастлив, что дожил до дня, когда христиане стали задавать такие вопросы, но как еврей я не считаю себя вправе ставить их самому и тем более предлагать ответы на них. Я выступаю за доброжелательство и сотрудничество между религиями, но не за взаимный критицизм. Формулировать догматы религиозного учения, подвергать их сомнению, изменять или преобразовывать их может лишь тот, кто уполномочен на это своей приверженностью учению в качестве его адепта и хранителя. Диалог — это мост, а не преграждающая поток дамба, реки теологической мысли движутся по собственным руслам, если только произвольные слияния и совмещения не ввергают их в водоворот конфронтации. Нам есть о чем поговорить, но проблемы эти касаются, так сказать, более земной сферы. Назову только две из них: практические взаимоотношения между религиозными движениями и традициями и анализ нашего общего подхода к социальным и нравственным категориям — область, где все учения, признающие Тору своим краеугольным камнем, имеют, без сомнения, немало сходных черт.

Я настаиваю на праве каждой религии самой определять собственную суть вне ссылок на то, как ее понимают представители других исповеданий. Для иудаизма центральной категорией является Израиль. Восстановление еврейского суверенитета над Святой Землей — кардинальный факт нашей нынешней духовной жизни. Признание легитимности еврейского государства и его права на нормальное развитие и безопасность — основной критерий в

определении отношения той или иной группы или общины к евреям и еврейской религии. Не может быть разделения на антисемитизм и антисионизм: отрицать историческое право евреев на Эрец-Исраэль — значит отвергать весь тысячелетний религиозный опыт еврейского народа, суть и смысл его духовного и национального бытия. Всякие попытки диалога, предлагающие игнорирование или искажение этого основополагающего принципа, заранее обречены на неудачу.

Я говорил уже, что всякая религия имеет свои специфические законы и может быть понята лишь изнутри. Приведу пример. Меня часто спрашивают: как соотносятся различные направления еврейской религиозной жизни (ортодоксальное и реформаторские) с почти необозримой панорамой схизм и разветвлений, которую демонстрирует нам история христианства? Есть ли здесь нечто общее? Ответ на этот вопрос я считаю исключительно важным, так как, по моему убеждению, поверхностный подход к этой проблеме — одна из главных причин глубинного непонимания сути еврейской традиции в христианском мире.

И теологически, и доктринально расхождения между течениями в еврейской религиозной жизни намного радикальнее противоречий, разделяющих те или иные формы христианства. Мы не согласны в главном, в том, что составляет сердце доктрины: в определении принципов иудаизма, значения Письменного и Устного Учения, танахического и талмудического права, норм общественного и личного поведения члена общины. И все же, невзирая на всю огромность разрыва, мы никогда не противопоставляем себя друг другу хотя бы с сотой долей той непримиримости и фанатизма, какие веками были присущи теологическим спорам внутри христианства. Нас разъединяет многое, но то, что объединяет нас, оказывается еще более важным. Нас роднит общая судьба, исторический опыт и изначальное предназначение, наша "народопринадлежность" ("peoplehood"), являющаяся для каждого еврея в равной мере и национальной, и религиозной его идентификацией. Это объединение нации и религии в едином понятии, импульсе, самоощущении — специфическая и уникальная черта еврейского мировоззрения. Отсюда и значение Израиля для всех нас. Христианские теоретики и политические деятели Запада упорно отказываются вникнуть в эту основную категорию нашего мышления и опыта. Израиль для них — лишь сумма удачных или неудачных шагов тех или иных еврейских лидеров, они истово критикуют отдельные политические решения, забывая, что в самой еврейской среде дебаты по тем же вопросам бывает сплошь и рядом намного более острыми. Но еврейское государство в контексте нашей национальной истории занимает иное место и имеет другую функцию. Христианский Запад, вступивший в диалог с нами, должен наконец задуматься над этим.

Что касается социальных и этических задач, то здесь, я полагаю, многое зависит от нас самих, от нашей сплоченности и способности адекватно и своевременно откликаться на требования ситуации. Моральные императивы всегда входили в сферу компетенции религии, и если бы представители основных вероисповеданий земли могли выступить с совместной декларацией, она наверняка возымела бы большие последствия, чем Хартия Объединенных Наций, так и не предотвратившая те 145 войн, которые разразились на нашей планете со времени ее принятия.

Достижения человечества в решении общественных, экономических и юридических проблем несомненны, об этом я говорил выше. Но отсутствие духовного фундамента, некой религиозной презумпции, которая послужила бы для них обоснованием и гарантией, ставит их под сомнение. Страх перед всеобщей военной катастрофой никогда не был столь

явственным и, пожалуй, столь обоснованным, как сегодня. Терроризм, насилие, кризис семьи превратились в общепризнанные явления, о них говорят, но с ними уже не пытаются бороться. Отчаяние и нигилизм овладевают людьми, сводя на нет те выдающиеся реформы и вызывающие восхищение идеалы, которыми при других обстоятельствах наше столетие могло бы по праву гордиться.

Мы живем в эпоху контрастов и парадоксов. Мир никогда не был столь эгалитарным, как в наши дни, и все же едва ли хоть один из жителей экономически развитых стран пожмет плечами, узнав, что 900 миллионов человек находятся сейчас на грани голодной смерти или что индустриальные державы тратят на вооружение в 20 раз больше средств, чем на помощь отсталым районам земного шара. Механизация все более сокращает рабочий день, и можно было бы ожидать, что эта свобода от ига вынужденной занятости сделает людей более счастливыми, культурными и одухотворенными. Но на деле труд все более превращается в манию бессмысленного обогащения, а безделье вызывает раздражение и душевную опустошенность. Великие принципы гуманности в этой ненормальной обстановке воспринимаются как теоретическое оправдание беспринципной снисходительности к худшим формам преступности, свобода информации открывает дорогу порнографии и культу насилия. Этот мучительный конфликт между идеалом и реальностью — естественная плата за пренебрежение "духовным компонентом" в подходе к проблемам общества и отдельного человека.

Прогресс превращается в свою противоположность. Мы развиваем науку и строим машины, чтобы облегчить человеческую жизнь, в ответ же получаем безработицу, эпидемию антисоциальных поступков и целые армии людей, одержимых комплексом "общественной бесполезности". Но разве наша образовательная система не несет прямой ответственности за эту массовую патологию? Мы привыкли считать, что главная задача школы — подготовить работника, способного обеспечить себе средства к существованию. Но человеческая личность не ограничивается этим утилитарным аспектом. В каждом из нас заложен несомненный и немалый духовный, литературный, художественный, эмоциональный потенциал. Реализуют его лишь единицы. Образование, как его понимают сейчас, ничем не в состоянии помочь. Но можно представить себе другие школы и других учителей, тех, которые не поворачиваются спиной к великим ценностям, обретенным за тысячи лет религиозного развития человеческой расы. Эти новые педагоги готовили бы новых учеников, способных стать создателями общества, намного более нравственного, одаренного и счастливого, чем то, в котором суждено жить и трудиться всем нам. Оскар Уайльд сказал когда-то: "Мнения смертны, как и люди. Религиозная истина — не более чем мнение, которому удалось выжить". Я несколько изменил бы его слова: "Религиозная истина есть то, благодаря чему людям удается выжить". А сумеем ли мы воспользоваться ею, зависит только от нас самих.

("Christian-Jewish Relations",
London)

Михаил ВАЙСКОПФ

О сюжете Пятикнижия

Если попытаться с предельной краткостью охарактеризовать основные тенденции изучения Торы, следует остановиться на двух традиционных направлениях, каждое из которых опирается на догматические предпосылки и вызывает к внетекстовой реальности. Первое направление – религиозно-апологетическая трактовка Писания, воспринимающая его в качестве Богоданной истины и, естественно, придающая тексту расширительное и аллегорическое значение; для этого течения характерно неизбежное достраивание, "обогащение" текста, в частности, за счет фольклорно-агадических и прочих подробностей.

Второе, научно-критическое направление, озабочено установлением подлинной "подосновы" событий, описанных в Библии. Усердно очищая повествование от того, что на техническом жаргоне именуется мифологическим пластом, традиционная научная критика стремится определить время и условия создания текста, чтобы наконец подойти к нему как к практическому пособию по изучению исторической или лингвистической ситуации, поперпнутой из различных фрагментов Писания.

Вполне правомерен, однако, третий, имманентный способ исследования Торы, апеллирующий исключительно к ней самой и решительно отвергающий как некорректные любые попытки реконструкции "подлинной картины событий". В основе его лежит убеждение в самодостаточности, замкнутости и целокупности текста Пятикнижия. Он равно безучастен как к историко-фактологической полемике с Библией, так и к ее религиозной апологетике.

Этим методом, методом структурного литературоведения, я и решил воспользоваться, рассматривая Пятикнижие в его сюжетной целостности.

Разумеется, я отнюдь не помышляю о том, чтобы дать однозначную трактовку "всего" Пятикнижия. Его необъятную информационную насыщенность не в состоянии раскрыть тысячи томов. Мои заметки далеки от столь фантастической задачи и представляют собой только эскиз, беглый очерк неисчерпаемой темы. При желании их можно без труда причислить к смутному и неустойчивому жанру "размышлений читателя".

И последнее замечание. Почти все существующие переводы Пятикнижия на русский язык безобразны и изобилуют нелепостями – синодальный, например, при всех его сти-

листических достоинствах не только искажает, но зачастую и бесстыдно оглушает текст. Значительно более добросовестным представляется мне перевод, подготовленный издательством "Шамир"¹, хотя и он, к сожалению, не свободен от неточностей и крайне сомнительных интерпретаций. Я обращался непосредственно к подлиннику, критически сверяя свое понимание текста с тем, который предлагает этот перевод, а также руководствуясь раввинистическими разъяснениями, когда они казались мне убедительными.

Имена персонажей и некоторые географические названия даны в транслитерации, причем в скобках приводится традиционное русское написание слова.

Элохим я перевожу в согласии с текстом "Шамира" как Всесильный (на русский обычно переводится словом Бог); т. н. тетраграмматон я предпочитаю передавать словом Сущий.



Всякий анализ сюжета в конечном счете сводится к уяснению ключевого принципа, задающего внутреннее развитие текста. Мне думается, таким главенствующим сюжетным принципом в Торе является переход от общего понятия к частному. Это правило было хорошо известно древним комментаторам Торы ("Если вслед за общим (сообщением) дается описание, то оно является детализацией сказанного"), хотя они никогда не придавали ему всеобъемлющего значения. Вместе с тем древние авторы, и прежде всего Раши, иногда противопоставляли этот закон хронологическому порядку развития событий, изложенных в Писании. Отсюда знаменитое утверждение: "В Торе нет "ранее" и "позднее" — иными словами, нет хронологической упорядоченности действий, — мнение, которое, однако, представляется справедливым лишь в применении к отдельным эпизодам и которого в большинстве случаев не придерживались даже сами толкователи. Говоря об универсальном характере принципа "от общего к частному", я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, хронологическая преемственность, имеющая огромное значение в Торе, и, по сути, тождественная библейскому историзму, есть лишь одно из проявлений этого универсального закона. Точнее говоря, установка "от общего к частному" раскрывается в двух аспектах: ахронном, собственно сюжетном (очередность не самих событий, а их описания²) и фабульно-хронологическом, когда исходное положение представляет собой как бы нерасчлененный, целостный прообраз последующих событий, подробно излагаемых на протяжении дальнейшего повествования. Это особенно заметно на т. н. генеалогических рассказах, где родовое происхождение, родительское начало выступает аналогом общего, а видовые ответвления ("потомство") — частного понятия. Этот тип описания, связанный с расширением числа видовых понятий, дополняется другим, сопряженным, напротив, с сужением и локализацией темы, которая, со своей стороны, становится общей основой для новых производных построений. Первому типу отвечает, скажем, завет "плодитесь и размножайтесь", второму — перенос внимания с сюжета о создании всевозможных живых существ к конкретной истории прародителей человечества — Адама и Хавы (Евы), а также их старших сыновей. Потом приводится перечень отдаленных потомков первой человеческой четы, пока описание вновь не сужается, сосредоточиваясь на новом рассказе о Ноахе (Ное) и его сыновьях, так что в конце концов описание человечества как некой

целостности, распадающейся на различные народы после Вавилонского столпотворения, венчается повествованием о появлении обособленного, избранного народа.

Логическая установка, определяющая строение текста, адекватна исходной теме Пятикнижия, в самом своем начале повествующего о стадийном творении мира. Иначе говоря, библейская космогония логически абсолютно безупречна, ибо полностью отвечает закону достаточного основания; она столь же безукоризненна и в философском отношении, поскольку индивидуальным формам бытия здесь хронологически предшествует создание его наиболее абстрактных, и в этом смысле как бы "идеальных" условий.

Светила не могли быть созданы до появления света как такового; отсюда ясна нелепость излюбленного аргумента атеистов, поражающихся, почему планеты и звезды сотворены были на Четвертый день, а свет — в Первый. Появление света и тьмы предшествует сотворению дня и ночи, ибо последние есть лишь частное, производное выражение: "И назвал Всесильный свет днем, а тьму назвал ночью". Разделению состояний сопутствует разделение времени, сотворение которого означено в первом слове Писания ("В начале") — в этом состоит вторая функция дня и ночи; но поскольку суточная последовательность есть, в свою очередь, наиболее общая характеристика хронологической расчлененности, лишь за их возникновением следует, опять-таки, создание планет, призванных не только освещать мир, но и "разделять между днем и ночью" и быть знамением "для времен".

Кстати, можно предложить объяснение того, почему растения (Третий день) предшествуют светилам (Четвертый). В стихе "И выпустила земля покров зелени, траву семяносную, по роду своему, и дерево, производящее плод, в котором семя его по роду его" скрывается первое указание на преемственность и смену поколений, т. е. на протекание биологической жизни во времени, конкретизируемое далее в периодичности движения светил (стоит напомнить и об универсальной культурной символике растений, чья жизнедеятельность, в отличие от жизнедеятельности животных, связывается не с пространством, а с временем).

Даже поверхностный анализ показывает принципиальную правоту проницательного Раши, полагавшего, что все "было сотворено уже в Первый день".

В первой главе Торы действие разворачивается по следующей схеме. Вначале неизменно дается некое обобщенное недифференцированное состояние, из которого последовательно вычленяются составные элементы. Одно и то же слово, определяющее исходную ситуацию, меняет значение, приобретая однозначное и все более узкое содержание. В первых словах книги Берешит (Бытие) изображается создание неба и земли в предельно абстрактном пространственном понимании — как верх и низ; воду здесь следует, видимо, трактовать в качестве некой аморфной "протоматерии". Во второй день производится разделение вод (вода уже в собственном смысле) и сотворение неба, понимаемого теперь как пространство, разграничивающее верхние и нижние сферы, — т. е. неба в специальном значении слова, разительно отличающемся от того, которое было придано ему в предыдущем стихе. Тема неба сменяется темой земли: низ разделяется на воду, определяемому теперь уже в географическом аспекте (морья) и землю, взятую в тесном значении суши. Процесс продолжает развиваться по принципу дробления: земля "выпускает" из себя растения, вода "воскишела" рыбами, из земли возникают животные и Адам, а из Адама — Хава.

Текст строится на аксиоматических основаниях, и его скрытая внутренняя тавтологичность родственна тавтологичности математики. Предварительная ситуация в неявном виде

содержит в себе все последующие, вытекающие из нее. Многочисленные "анахронизмы", в которых так несправедливо упрекали Библию, есть способ показа будущего в настоящем³. Достаточно лишь отказаться от наивного психологизма и увидеть в героях Писания не только "живых людей", но и функциональные элементы, равноправные с другими, и мы поймем, что между этими "анахронизмами" и, допустим, пророческими видениями персонажей нет принципиальной разницы.

Та же тавтологичность, о которой говорилось выше, распространяется и на чисто логические операции вроде операции разделения. Так, в словах "И сказал Всесильный: да будет свет... и разделил Всесильный между светом и тьмой" содержится скрытый повтор: сотворение света, по существу, тождественно отделению его от тьмы. Сходным образом само создание неба и земли уже адекватно их разделению, приуроченному, тем не менее, к следующему, Второму дню.

Тавтологические построения порождают множество парадоксов. Приведу несколько примеров, почерпнутых из истории грехопадения. Начну с вопроса: в чем, собственно, заключается преступление Адама и Хавы? Парадокс состоит в том, что запрет на познание добра и зла уже заведомо предполагает их знание: нарушение запрета есть зло, подчинение ему — добро. Сверх того, сказано прямо: "В день, когда ты вкусишь от него (от дерева познания), смертью умрешь"; вряд ли приходится сомневаться в том, что смерть Адам считает злом.

Здесь уместно отметить, что известное толкование рассказа о грехопадении, предложенное Рамбамом (Маймонидом) в "Наставлении заблудшим", представляется недостаточно убедительным. Оно сводится к разграничению рационального знания и знания эмоционального, обретенного в опыте грехопадения. Я охотно уделил бы полемике с подобной трактовкой, а равно разбору интереснейшего и сложнейшего сюжета об Адаме и Хаве несколько страниц. Замечу только, что традиционное толкование совершенно игнорирует тот факт, что понятие добра, как и зла, в цитируемой главе неразрывно объединяет в себе и этический (представление о норме), и эмоциональный аспекты ("хорошо" и "плохо" в плане чувственного восприятия), — Рамбам же их искусственно расчленяет; во-вторых, очевидно, что грехопадение обусловлено предшествующим ему опытом и поведением персонажей. В данной постановке проблема упирается в философский вопрос о свободе воли, в обсуждение которого я предпочитаю не вдаваться, поскольку избегаю тут спекулятивных рассуждений, оторванных от текста. Следует все же подчеркнуть, что свобода предполагает, так сказать, материал, исходные данные, между которыми производится выбор — а именно: добро и зло, объективно существующие еще до и вне зависимости от действий героев. Характерно, что первое — косвенное — упоминание о зле в Библии соотнесено с созданием жены Адама: "Не хорошо (букв. — "не-добро") быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему" (получается наоборот — "помощник" и предстает носителем зла); но, в целом, зло становится деятельным уже в тот момент, когда появляется древо познания. Таким образом, зло возникает, по крайней мере, вместе с Раем. Вообще говоря, с философской точки зрения Эден (Эдем, Рай) и без того не может считаться сферой абсолютного добра: указание на обязанность человека "возделывать и хранить его" косвенно свидетельствует о некоторой ущербности состояния, в котором пребывают и сам Сад, и его обитатели.

Все предопределено исходными условиями, и если преступление, совершенное Адамом

по наущению жены, должно караться смертью, то этот мотив предваряется упоминанием о "глубоком сне", который наводит Всесильный на человека, когда создает из его плоти женщину⁴. Змей говорит Хаве: "В день, когда отведаешь от него, откроются глаза ваши". Но ведь еще до сцены вкушения плодов сказано: "И увидела женщина... что... дерево... услада для глаз". Изготовление опоясаний (своеобразной границы между людьми и Богом) и попытка Адама "спрятаться" от Бога непосредственно предшествуют изгнанию из Эдена; вначале человек должен был охранять Сад – теперь Сад охраняется от человека.

Столь же двусмысленным выглядит и рассказ о Каине и Эвеле (Авеле), все сюжетные моменты которого вытекают из его предыстории. Тема убийства задается сообщением о "кожаных одеждах", изготовленных Всесильным для первой человеческой четы – т. е. о коже мертвых (убитых?) животных⁵. Эвель становится "пастухом овец", хотя в этот период, до потопа, мясная пища еще запрещена, а затем говорится о заклании первородных и тучных овец – о жертвах, приносимых Эвелем.

Без учета данного сюжетного принципа, в изобилии продуцирующего подобные "анакронизмы", вина человекоубийцы-Каина была бы попросту непонятна: ведь он нарушает заповедь, оглашенную значительно позднее. Следует добавить, что вообще все последующие установления и запреты проистекают из положений, прямо или косвенно означенных в первых главах Писания, и возможно, что заповедь "не убей" – один из аспектов завета "плодитесь и размножайтесь". Первые четыре из десяти синайских заповедей лишь закрепляют и подтверждают то, что уже было сказано в разделах, повествующих о сотворении мира и об Исходе. О содержании остальных шести превосходно осведомлены то и дело нарушающие их персонажи первой книги Торы: Каин и его потомки; Хам и Реувен – "почитай отца своего"; сравни также: Ваикра (Левит) 18:7 – 8 и 20:11; Авимелех и фараон (седьмая и десятая заповеди); Рахель (восьмая – "не кради") и т. д. В раввинистической литературе отмечено знакомство Ноаха (Ноя) с разделением животных на чистых и нечистых, состоявшееся еще до Синайского откровения. Можно уточнить, что законы "кашрута" предвосхищены в запрете на плоды двух деревьев, произрастающих в Эдене, и в некоторых других ограничениях.

Логика анализа приводит нас к представлению о том, что в конечном счете сюжетные ходы Пятикнижия строятся по принципу обращенной триады. Синтетическое исходное положение скрывает в себе две противоположные тенденции, получающие сюжетное развитие: антитезис и тезис. Индивидуальное, следующее за общим, наделяется отрицательной оценкой или "снимается", сменяясь новым, положительно оцениваемым состоянием. С нейтрального по своему характеру описания бесформенного, неопределенного бытия в первом стихе Пятикнижия переходит к упоминанию о тьме, которая по закону контраста влечет за собой появление света. Изображение сотворения мира в начале книги Берешит, сопровождаемое позитивной оценочной характеристикой ("хорошо", точнее – "добро"), сменяется во второй главе темой неполноты, лишенности ("Никакого же кустарника полевого еще не было на земле, и... трава... не росла, ибо не посылал Сущий Всесильный дождя на землю, и человека не было для возделывания земли"), преломляемой в тему зла и грехопадения. Одно и то же событие или явление, нейтральное само по себе, получает, в зависимости от контекста, полярные значения. Изначальная функция человека – возделывание земли – приобретает после грехопадения негативный смысл: "И выслал его Сущий Всесильный из сада Эдена возделывать землю, из которой он взят". Заповедь

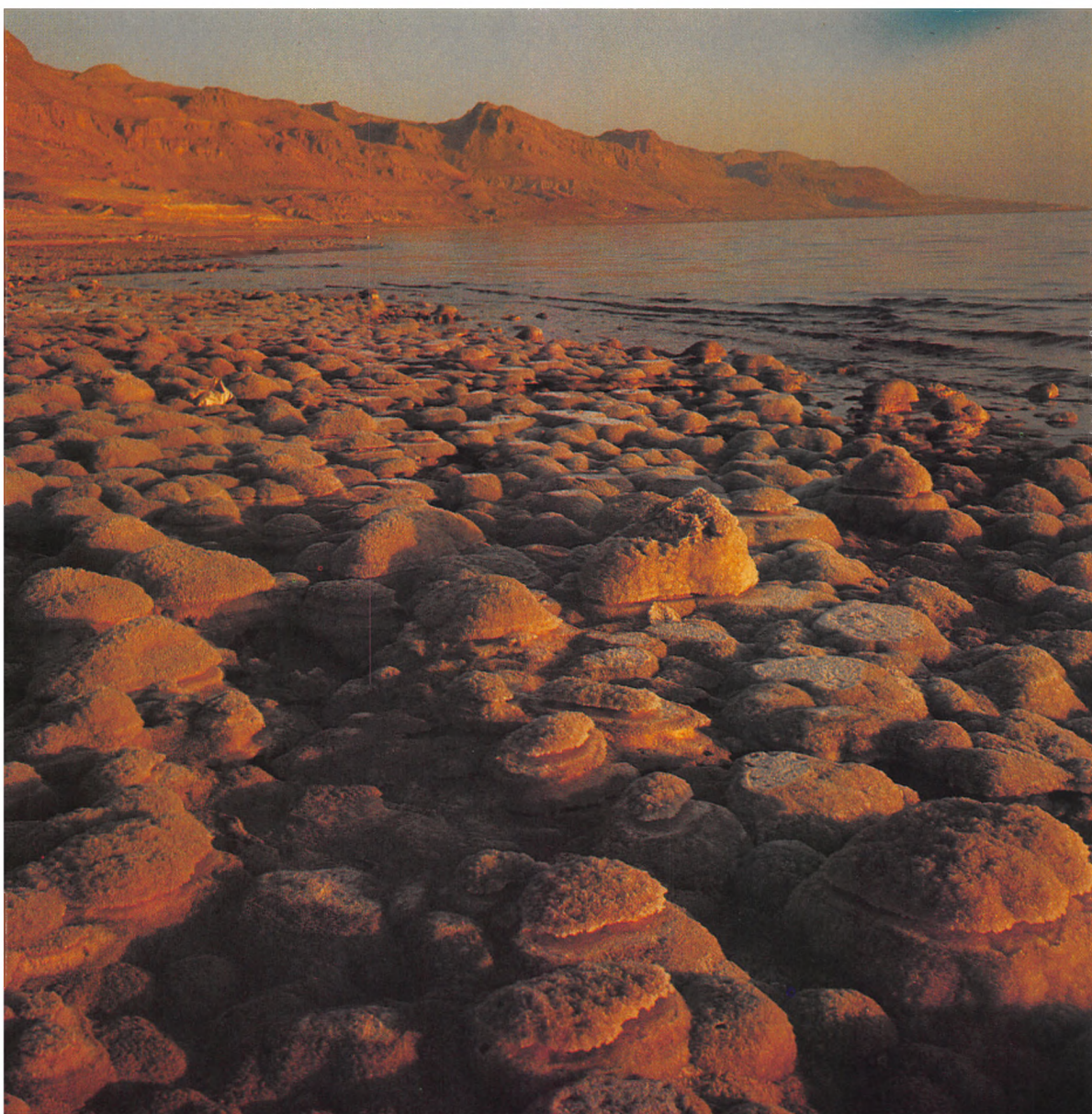
"плодитесь и размножайтесь", сохраняя свое содержание, оборачивается проклятием: "В скорби будешь рожать детей".

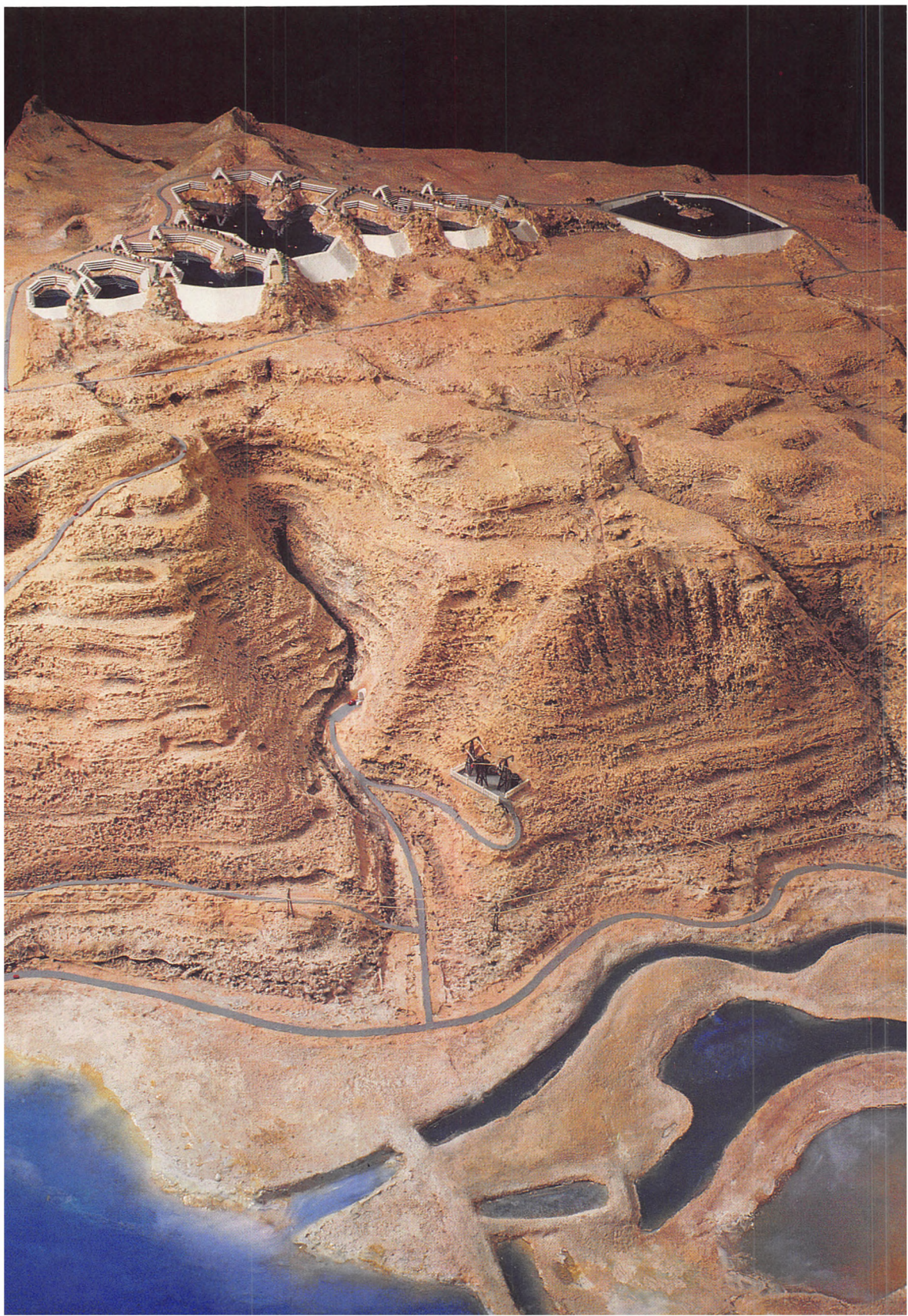
Складывается череда "рамочных" ситуаций — в каждом конкретном рассказе его исходный мотив повторяется, но в контрастном, симметрическом оформлении. К примеру, в сцене изгнания Агари в пустыню повествуется, как она, чтобы не видеть смерти своего сына Ишмаэля (Измаила), села от него "на расстоянии натягивающих лук", — через несколько строк будет сказано: "И вырос он, и поселился в пустыне, и стал стрелком из лука". Ср. в истории Якова (Иакова): обманывая ослепшего отца, герой выдает себя за своего брата Эсава (Исава); а потом тесть — Лаван на свадебном пиру обманывает Якова, введя к нему в вечернем мраке вместо невесты-Рахели ее подслеповатую сестру Лею. Само имя Яков — от "пята" (אָפּט) — как известно, этимологизируется, подобно именам многих других персонажей, и сюжетно обыгрывается в Торе, благодаря его ассоциативной связи со словом "обошел", "облукавил". Герой появляется на свет, держась за ногу брата — а спустя много лет, перед возвращением в Кнаан (Ханаан) и встречей с Эсавом, становится хромым после борьбы с ангелом.

Абсолютно очевидны зеркальные конструкции в сюжете о Йосефе (Иосифе) — я имею в виду хотя бы мотив одежды, используемой в качестве фиктивного доказательства. Знаменитая "разноцветная рубашка" убеждает Якова в гибели сына, — ср. далее одежду оклеветанного героя, сорванную с него женой Потифара, — и наконец, "виссонные одеяния" Йосефа-царедворца, которого братья принимают за египтянина. Мнимая кража магической чаши, принадлежащей Йосефу, перекликается с похищением его матерью Рахелью идолов Лавана. Братья приносят в дар Йосефу — египетскому вельможе — те же товары (бальзам и т. д.), которые доставил в Египет караван измаильтян, продавших героя в рабство.

Закон "снятия" первого элемента удобно проиллюстрировать на материале многочисленных рассказов о соперничестве братьев и других парных персонажей. Как правило, старший из братьев в этих сюжетах лишается главенствующей роли — часто он изгоняется — и прерогативы "первенца" переходят к младшему. Таковы сюжеты о Каине и Эвеле (с той оговоркой, что убитый замещается его младшим братом Шетом — Сифом), Ишмаэле и Ицхаке, Эсаве и Якове, Лее и Рахели⁶, Йосефе — сыне Рахели — и его старших братьях, Менаше и Эфраиме (Манассии и Ефреме), Переце и Зерахе (Фаресе и Заре); ср. также привилегированный статус Моше (Моисея) по отношению к Аарону⁷. То же касается и истории целых поколений и народов: погибает все "первородное" человечество — потомство Каина; спасаются лишь потомки младшего, Шета, — Ноах с сыновьями; истребляются первенцы египтян — Израиль объявляется "первенцем Божиим".

Перераспределение приоритета обуславливается обычно компенсацией — символической заменой первенца козленком, овном и т. п., что в ритуальном плане связывается с жертвоприношением (ср.: "Всякого первенца из сынов своих выкупай" — Шмот (Исход) 34:20). Я не хочу останавливаться на столь очевидных примерах, как жертвоприношения Эвели, события на горе Мория или ритуальное заклание ягненка, сопутствующее избавлению еврейских первенцев накануне исхода из Египта. Завуалированный мотив замены прослеживается в сюжетах, казалось бы, иного типа. Яков, помогая первородства, надевает на себя козлиные шкуры, а позднее одаривает стадами обманутого соперника; в Харане он пасет стада Лавана, чтобы выкупить у него Рахель, младшую сестру Леи. Вместо





Макет гидросооружений в районе Мертвого моря.

Йосефа братья убивают козленка; и характерно, что выпачканная кровью животного пестрая одежда героя ассоциируется с пестрой шерстью козлов, которых приобрел отец Йосефа в Харане.

Отчетливое осознание универсального закона, регулирующего преемственность и взаимосвязь событий, изложенных в Торе, является существенным условием для изучения одного из фундаментальных ее сюжетов — истории взаимоотношений человечества и земли или, в конечном счете, взаимоотношений народа Израиля и дарованной ему страны. Об изначальном, кровном союзе евреев с Обетованной землей, постоянно упоминаемом в Торе, писалось и говорилось бесконечно много, но не указывалось, в чем заключаются его отдаленные сюжетные предпосылки. Нужно учитывать, что понятие "земля" в Пятикнижии совмещает в себе несколько значений: в частности, это вместе и вещество, почва (פֶּתַח), и географическое пространство (אֶרֶץ). Выше уже отмечалось, что, согласно Пятикнижью, человечество, как и все живое, было в буквальном смысле создано из земли (см. Берешит 1:24; 2:7) — его родины в самом прямом, этимологическом понимании слова (אֶרֶץ — פֶּתַח). Естественно, что в соответствии с тем же принципом "снятия" первого элемента сюжетной последовательности за грехопадение человека расплачивается в первую очередь проклинаемая Богом земля, для возделывания которой и был сотворен человек. За проклятием следует потоп — уничтожение суши за вину ее обитателей: "И увидел Всесильный землю: и вот, растленна она, ибо извратила всякая плоть путь свой по земле. И сказал Всесильный Ноаху... вот, я истреблю их с землею". Лишь после потопа восстанавливает Бог союз с землею и ее порождениями: "Не буду больше проклинать землю за человека... И благословил Всесильный Ноаха и сыновей его, сказав им... наполняйте землю". Так исподволь подготавливается тема земли, обетованной Аврааму. Меняется этическая оценка одного и того же факта — генетической связи человека с почвой, но сама эта связь остается нерасторжимой. Вначале, как всегда, дается нейтральная информация предельно общего характера: человек создан был "из праха земного"; после грехопадения она трактуется уже в резко отрицательном плане: "Возвратись в землю, ибо из нее ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься"; и, наконец, Бог говорит Аврааму: "Всю землю, которую ты видишь, дам Я тебе и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое как прах (רֶבֹּעַ) земной".

В поступательное движение темы неуклонно вовлекаются все те же исходные элементы, с которых начинается ее развитие в первой главе книги Берешит, — земля и вода, свет и тьма. Обитаемый мир, человечество, Израиль периодически оказываются перед угрозой губительного возвращения в первую фазу сотворения вселенной, предшествующую разделению стихий, — когда "земля была безвидна и пуста, и тьма над ликом бездны". Опасность повторения первобытного хаоса всякий раз воплощается в очередном потопе и сопутствующем ему мраке. Всемирная катастрофа, от которой спасается Ноах, сменяется локальной — разрушением Аморы и Сдома (Гоморры и Содомы), предваряемым ослеплением жителей, и уцелевший Лот с дочерьми, как Ноах с сыновьями, находит убежище на горе, — ср. с Моше, выводящим спасенных евреев к горе Синай. Чудесное избавление есть всегда актуализация процесса сотворения мира и, главным образом, Третьего дня, в который было произведено разделение воды и суши, — даже если суша оборачивается всего только корзинкой младенца-Моше, ковчегом Ноаха или сжимается до размеров Святой земли.

Гибель фараонова воинства в море предрешена уже сновидениями фараона, истолкованными Йосефом, первым израильтянином, обосновавшимся в Египте (смерть приходит из воды), и в первой же "казни египетской" — претворении воды в кровь. Эпизод с потоплением колесниц — заключительный штрих на картине, изображающей постепенное погружение мира в первозданную тьму и хаос.

С другой стороны, корзинка Моше, счастливо укрытая в нильском тростнике, предвещает чудесное шествие евреев сквозь Тростниковое (Чермное) море, ставшее сушей. Странствия Израиля по пустыне завершаются переходом через расступившийся перед ним Иордан.

Аналогом губительной водной стихии оказывается враждебная, чужая земля либо раскаленная пустыня, тогда как вода в последнем случае, напротив, соотносится с жизнью и спасением. Те динамические образы, в которые облекается божество или, правильнее, представляющая его сила, сближаются с обеими противоборствующими стихиями — с огнем и влагой. Ср. хотя бы символику радуги — света, пламенеющего в облаке, и последующую трансформацию того же образа, как бы разложившегося на две составные части — на огненный и облачный столпы.

Коль скоро в описании Египта отрицательная смысловая характеристика сообщается воде, а положительная — огню и производным от него понятиям жара, сухости и т. п. (ср. пасхальный ритуал: поедание жареного на огне агнца и опресноков), то в повествовании о блужданиях по Синайской пустыне все обстоит иначе и гораздо сложнее. Так, эпизод с добыванием воды из скалы симметричен превращению морской воды в сушу. Конечная цель Исхода — обретение не только святой, но и "доброй", цветущей, плодородной земли. Поэтому тема изгнания и возвращения воплощается в растительной метафорике, в смутно очерченном образе прорастающего зерна, соотношенном с мотивом прозреваемого будущего. Центральным моментом повествования о переселении евреев в Египет является история прорицателя Йосефа — кстати, единственного из всех родоначальников, характеристика которого, данная в предсмертном монологе Якова, проникнута сугубо "ботанической" символикой. Имеет смысл напомнить, что мать Йосефа, Рахель, умирает возле Бет-Лехема (Вифлеем); букв. — "дом хлеба", т. е. амбар, рига; его первый сон — кланяющиеся снопы⁸. Сидя над "ямой без воды", в которую брошен Йосеф, братья едят хлеб. Попав в Египет, герой предрекает смерть начальнику пекарей и распознает символическое значение колосьев, привидевшихся во сне фараону, после чего становится фактическим владельцем всех хлебных запасов страны и кормильцем своих родичей. Так исполняется пророчество о кланяющихся снопах и контрастно обыгрывается эпизод с ямой и хлебом. На этом кончается биография Йосефа и начинается история рабства, которое заключается в том, что евреи строят в Египте города для запасов, так сказать, египетский бет-лекем. А Исход совершается в месяце Авив — т. е., в месяце колосьев. И тогда пустыня, чьим прообразом оказалась "безводная яма", орошается хлебным дождем, и устанавливаются законы о жатве и приношениях хлебных снопов.

Затронутая тема включает в себя другой мотив, заслуживающий внимания. Рабство и освобождение, море и обетованный берег метафорически связаны с противопоставлением горькое — сладкое. В канун Исхода евреи едят агнца или козленка с горькими травами, — покинув Египет, они попадают в Мару (מר), где Моше, бросив дерево в горькую воду, делает ее пресной (букв. — сладкой), и вскоре получают сладкую манну, своим

вкусом, вкусом "лепешки в меду", напоминающую о последней цели скитаний — о стране, "текущей молоком и медом". Но в Синае же народу вновь суждено было испытать горькую воду, вызывающую в памяти представление о море и рабстве, ту, в которой Моше растворил прах сожженного им идола. Трансформируется мотив "обжигаемого" на огне козленка, служащего выкупом за первенцев Израиля, — выплавленный, а потом испепеленный телец приносит евреям гибель.

Впрочем, генезис образа более сложен, и его изучение помогает понять глубокое внутреннее единство различных частей Пятикнижия. Мне уже приходилось указывать на отношение преемственности между эпизодом, где говорится об идолах Лавана и сходным моментом в сюжете о Йосефе и его братьях. Первый фрагмент связан с возвращением Якова в Обетованную землю, второй — с переселением его сыновей на чужбину. Остается добавить, что история с изготовлением тельца представляет собой усложненную и расширенную модификацию того же мотива, приобщенного на сей раз к теме исхода из Египта. Итак, готовясь к бегству из Харана, жена Якова похищает идолов, которых впоследствии Яков закапывает под деревом вместе с серьгами, — его потомки выплавляют идола из серег, в числе других золотых украшений выпрошенных — а попросту говоря, похищенных у соседей — еврейскими женщинами накануне бегства из Египта. В кончине Рахели раввинистические комментаторы справедливо усматривают исполнение обещания Якова: "У кого найдешь богов твоих, тому не жить"; как уже отмечалось, в пустыне служение рукотворному "богу" — тельцу, карается смертью.

Это примечательное совпадение — лишь одно из многих, доказывающих типологическую однородность всех библейских рассказов об исходе. Как и любые другие сюжеты в Пятикнижии, они обусловлены изначальной логической организацией текста и подчиняются закону снятия первого элемента последовательности, задаваемой исходной ситуацией. В силу этого в каждом повествовании об исходе вычленяются две фазы: отрицательная, а затем положительная. Ни с чем возвращается ворон, первый посланец Ноаха, выпущенный им из ковчега; Аврам вначале попадает в Харан и только спустя много лет добирается до Кнаана (Ханаана); сначала фараон не отпускает евреев — потом разрешает им оставить страну; Моше разбивает первые полученные им каменные скрижали. Осуждено на изгнание и гибель старшее поколение Исхода, его "первенцы": по возвращении Аврама из Египта Лот уходит в обреченный Сдом; во время бегства из Сдома погибает жена Лота; умирает в пути Рахель, любимая жена Якова; навсегда остается в Синае "поколение пустыни". Любители исторических параллелей, вероятно, вспомнят о том, что исчезновение десяти колен Израилевых, затерявшихся на чужбине, предшествовало исходу из Вавилонии их иудейских соплеменников, и о том, что первую, малопримечательную стадию этой репатриации следует признать несравненно менее удачной, нежели вторую, освященную именами Нехемии и Эзры. На сходные размышления наводит и судьба последующих репатриаций, вплоть до сионизма. Еврейская история со свойственной ей монотонностью щедроставляет материал для подобных аналогий, и непредвзятому наблюдателю поневоле приходится обращаться к сюжетам Пятикнижия как к модели нашего национального бытия⁹.

Возвращаясь к вопросу о циклической диалектике событий, перечисленных в Пятикнижии, целесообразно подчеркнуть, что ярчайшим ее подтверждением должна считаться сама хронологическая упорядоченность, регулирующая творение мира, — чередование будней и субботы, рассматриваемой в том ее непосредственно негативном значении, в каком она

дается в Торе, — как момент чистого отрицания, снятия, прекращения всякого действия: "Не делай... никакого дела". Я не собираюсь утверждать, будто суббота лишена собственного положительного содержания, закрепленного последующей ритуальной практикой, но эта тема причастна метафизике и философии религии, а потому не вмещается в пределы данной статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Пятикнижие Моисеево, или Тора. С русским переводом и комментарием. Под общей редакцией проф. Г. Браунера. Иерусалим, 1978.

²См., например, замечание Раши о том, что т. н. вторая версия рассказа о сотворении человека — мужчины и женщины — на деле является детализацией первой.

³Особенно охотно толкуют, предположим, об анахроничности библейских топонимов, о том, что Ур во времена Аврама не мог считаться халдейским городом и т.п. Но никто ведь, однако, не усматривает несуразицы в, казалось бы, не менее парадоксальной географии Эдена, граничащего с землей Куш. Между тем приведенная аналогия свидетельствует, во всяком случае, о наличии единого сюжетного принципа, нуждающегося в интерпретации. "Анахронизмы" — явление того же порядка, что и обратное время, возникающее в тех эпизодах, где говорится о заключении вечного союза между Богом и человеком, союзу, подразумевающего пророческое преодоление, устранение ограничений, налагаемых временем. Сюда относятся знаменитое "исполним и будем послушны", (Шмот 24:7), а также появление символической радуги накануне, а не после дождя. Короче говоря, если описывается движение времени вспять, то оно задается собственной логикой текста. Так, в словах Лота, обращенных к ангелам, рисуется обратная последовательность действий: "Ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру".

Раши, впервые обнаруживший здесь некоторую несообразность, предлагает, иную, реалистическую и бытовую мотивировку, не замечая, что "обратный ход" отвечает общей тенденции рассказа об уничтожении нечестивого города и его жителей, чье поведение являет собой предельную противоположность нормативному. Поэтому, уничтожая города, Бог именно "опрокинул" или "перевернул" (פגל) их, а жена Лота погибла, оглянувшись, обернувшись назад. Для иллюстрации приема "обратного действия" стоит еще напомнить, что жена Лота стала "соляным столпом" еще до того, как на этом месте появилось Соленое (Мертвое) море, что ангелы "завернули" в гости к Лоту (мотив непрямого, ненормативного действия — см. реалистическую трактовку у Раши), что он становится спиной к двери, запертой снаружи, и что чудесное спасение из греховного города курьезно завершается кровосмесительной связью, — аналогом противоестественного греха, за который были наказаны жители Сдома.

⁴Напрашивается другой, достаточно туманный вопрос: для чего создано древо жизни? Если первоначально Адам был сотворен бессмертным, то оно не нужно, а если смертным — в чем состоит кара?

⁵Я предпочитаю прямое толкование этого места всевозможным мистическим и теософским домыслам.

⁶В этом, как и в некоторых других сюжетах, где гово-

рится о соперничестве родственников, наблюдаются и обратная смена иерархического статуса — своеобразная компенсация ущерба: "Но узрел Суций, что Лея нелюбима и отверз утробу ее". Ср., кроме того, в рассказе о Якове и Эсаве: "Но когда вознегодуешь, свергнешь его", — и симметрическое перераспределение иерархии в дальнейшем повествовании о потомках сыновей Якова, а также сыновей Моше и Аарона. Вообще, композиция подобных сюжетов в целом носит несколько более сложный характер. Происходит чередование "плюсов и минусов", и все зависит от изначального элемента последовательности. Скажем, праведнику Ноаху наследуют: старший Ефет-Иафет (его образ, в принципе, выглядит сниженным в сопоставлении с оценкой, приданной Шему (Симу), занимающему поэтому первое место в перечне), средний сын Шем ("Благословен Суций, Всесильный Шема") и младший, грешник Хам. Ср. другую последовательность: отец, Терах (Фарра), остающийся и умирающий в Харане, вдали от Святой земли, его сыновья — праведный Аврам, "нейтральный", но также остающийся в Харане Нахор и Аран, сын которого, как бы замещающий Арана, вместе с Аврамом уходит в Обетованную землю.

⁷Ср. в исторической перспективе, открывающейся в других книгах Библии: пророк Шмуэль (Самуил), провозвестник еврейской государственности, — младший сын в семье Эльканы; Ша-

уль (Саул) — потомок Биньямина, младшего из 12 патриархов; Давид — последний из восьми братьев; Шломо (Соломон) — второй сын Батшевы (Вирсавии), младшей жены Давида.

⁸Во втором сне речь идет о "поклоняющихся" Йосефу планетах и звездах. Если принять в расчет вышеупомянутую функцию светил — быть "знамениями для времен", — станет понятно, что помимо своего элементарного значения, расшифрованного отцом героя, сон содержит еще одно, указывающее на присущий Йосефу дар предвидения как таковой. Светила и растительность, имеющая временную конно-

тацию, следовательно, связываются между собой общим представлением о грядущем, открытым взору героя. Показательно, что все другие, в большинстве также растительные, вещи образы истолковываются Йосефом в первую очередь как аллегории времени.

⁹Предопределенностью и цикличностью характеризуется в Пятикнижии не только движение в Сион, но и обратный процесс — изгнание и рассеяние. При этом в Торе устанавливается известная тождественность между ситуациями бегства, изгнания и призвания (миссии), — обстоятельство, несколько проясняющее таин-

ственную диалектику и телеологический смысл диаспоры. Адам изгоняется из рая лишь для того, чтобы выполнить свое исконное предназначение; Авраам высылается фараоном — но высылается в Обетованную землю; Яков спасается бегством, но, выполняя желание матери, женится на чужбине и становится родоначальником еврейского народа; Йосефа изгоняют в Египет, — вместе с тем изгнание оборачивается спасением от гибели; а впоследствии Йосеф говорит братьям: "Всесильный послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле". Исход из Египта — это одновременно и изгнание, и бегство, и исполнение завета.

Борис МОЙШЕЗОН

Загадки древних цивилизаций

ВВЕДЕНИЕ

Дописьменную историю человечества иногда называют предисторией. Некоторые считают изучение предистории безнадежным делом, другие же, наоборот, видят в этом увлекательную науку. Главная трудность изучения предистории состоит в том, что на основании имеющихся археологических и других данных можно построить несколько логических схем, исключающих друг друга. Эту неопределенность легко подчинить политическим и религиозным установкам, демагогии и властолюбию. Самые влиятельные и катастрофические идеологии последнего столетия — марксизм и нацизм основаны на возвращении к предистории, но по-разному понятой. Марксисты видели предисторию человечества как первобытный коммунизм с закономерным прогрессирующим развитием. Для нацистов же предистория — победное шествие нордической расы голубоглазых блондинов, сложившейся на севере Центральной Европы и являющейся высшим продуктом естественной иерархии, заложенной в природе вещей.

Несмотря на провалы и разочарования, ученые, посвятившие себя предистории (археологи, антропологи, специалисты по древним языкам и текстам) продолжают накапливать факты. Одна из причин их трудолюбивого терпения — интуитивное убеждение, что когда фактов очень много, число непротиворечивых логических схем, их объединяющих, резко уменьшается. В конечном счете может оказаться, что лишь одна схема, а именно та, которая соответствует реальному процессу, явится удовлетворительным и непротиворечивым объединением фактов. Это похоже на решение систем уравнений со многими неизвестными в математике. Добавление новых уравнений к системе уменьшает число решений. Если система соответствует реальному явлению, то есть и соответствующее решение. Оно оказывается единственным, когда число уравнений достаточно велико.

В логической схеме важно отделить причины от следствий и вообще построить причинно-следственные связи. Число возможных построений сильно уменьшается, когда имеющиеся факты удастся упорядочить во времени. Одно из самых замечательных достижений современной науки — радиоуглеродный метод для датировки археологических находок, разработанный в начале 50-х годов. Этот метод был усовершенствован в конце шестидесятых с помощью калибровки по кольцам старых деревьев. Выдающийся английский археолог Дж. Меллаарт [15]* предложил недавно хронологические схемы для главных археологических культур, основанные на калиброванных радиоуглеродных данных. Эти схемы хорошо согласуются с эмпирическим материалом и представляются автору более достоверными, чем прежние датировки. Так или иначе, в данной статье все даты приводятся в соответствии с точкой зрения Дж. Меллаарта.

*Цифры в квадратных скобках соответствуют библиографическим ссылкам, приведенным в конце статьи.

Новые хронологические схемы меняют многие представления о последовательности событий (так называемые отношения "до — после"), а значит, и многое в сложившихся представлениях о причинно-следственных связях в предистории.

В ряде географических районов накоплено так много археологических фактов, что принципиально нового там уже не открывают. Возникает как бы состояние "насыщения". Это состояние "археологического насыщения" и прогресс в датировке археологических комплексов приводят к мысли, что сейчас осталось не так уж много разумных логических схем для интерпретации по крайней мере бронзового века (т. е. последних перед письменной историей тысячелетий предистории). Предлагаемая работа — одна из таких попыток интерпретации. Нас особенно интересуют антропологические данные о "предисторических людях". Самые увлекательные и загадочные факты относятся к "арменоидам" — этносу, расе или касте, без понимания которых обойтись в интерпретации предистории (и, наверное, истории) невозможно.

Анализ фактов позволяет делать утверждения, различающиеся по "спекулятивности" (степени доказанности). Важно упорядочить имеющийся материал по тому, в какой мере он кажется автору более или менее реалистичным. Такая иерархия, отражающая, собственно, разную степень уверенности автора в тех положениях, которые он высказывает, определила порядок изложения в нашей работе.

Работа эта состоит из трех статей. В первой (данной) статье мы приводим несколько наиболее фундаментальных и несомненных наблюдений, относящихся к арменоидам. Из этих наблюдений следуют (очевидные, как нам кажется) выводы о том, что арменоиды тысячелетия назад составляли аристократический класс, сыгравший центральную роль в формировании древних цивилизаций.

Во второй части дается уже несколько более свободный анализ различных фактов археологии, древней истории и древней географии, а также текстов Библии и Иранского эпоса. Такой анализ позволит увидеть далекие связи и глобальные структуры, объединявшие "арменоидное рассеяние" в предисторическое время.

Наконец, в третьей статье будет изложена реконструкция предистории, соответствующая хронологическим схемам, основанным на калиброванных радиоуглеродных данных. Эта реконструкция, конечно, не более чем гипотеза. Тем не менее, автор полагает, что сегодня мы находимся уже не очень далеко от той единственной реконструкции, которая соответствует реальной эволюции человечества.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

- Рис. 2. Рельеф ассирийского царя Ассурнасиपालа II, нач. I тыс. до н. э., Нимруд, Ирак [7].
Рис. 3. Золотая статуэтка хеттского царя, Анатолия, II тыс. до н. э. (Британский музей).
Рис. 4. Статуэтки из слоновой кости, начало II тыс. до н. э. Кюль-Тепе, Анатолия.
Рис. 5. Головы богов. Рельеф из Зинджирли. F.v. Luschian Völker, Rassen, Sprachen", [стр. 239].
Рис. 6. Статуя богини, Тель-Халаф. Сев. Месопотамия, начало I тыс. до н. э. [18].
Рис. 7. Рельеф сфинкса, Тель-Халаф, Сев. Месопотамия, начало I тыс. до н. э. [18].
Рис. 8. Голова из Тель-Аграб, Шумер, I пол. III тыс. до н. э. [7].
Рис. 9. Бронзовые статуэтки из Тель-Джудейде, Сев.-зап. Сирия, ок. 3000 г. до н. э. [7].
Рис. 10. Голова из гипса, Тель-Брак, Сев. Месопотамия, II пол. IV тыс. до н. э. [7].
Рис. 11. Статуэтка из Кафайе, Шумер, II пол. IV тыс. до н. э. [7].
Рис. 12. Терракотовая голова, Ситагрой, Македония, II пол. V тыс. до н. э. [19].
Рис. 13. Медный скипетр, "Пещера клада", Нахал-Мишмар, Израиль, II пол. V тыс. до н. э. (Музей Израиля, Иерусалим).
Рис. 14. Терракотовая женская статуэтка. Гилат, Израиль, II пол. V-го тыс. до н. э. (Музей Израиля, Иерусалим).
Рис. 15. Бронзовый орнамент. Луристан, Иран, начало I тыс. до н. э. [7].
Рис. 16. Золотая монета царя "Великих Кушан", Афганистан, начало н. э. (Париж, Национальная библиотека, Кабинет медалей).
Рис. 17. Ваза с полихромной декорацией. Культура майя, Центр. Америка, начало н. э. (Небай, Гватемала).

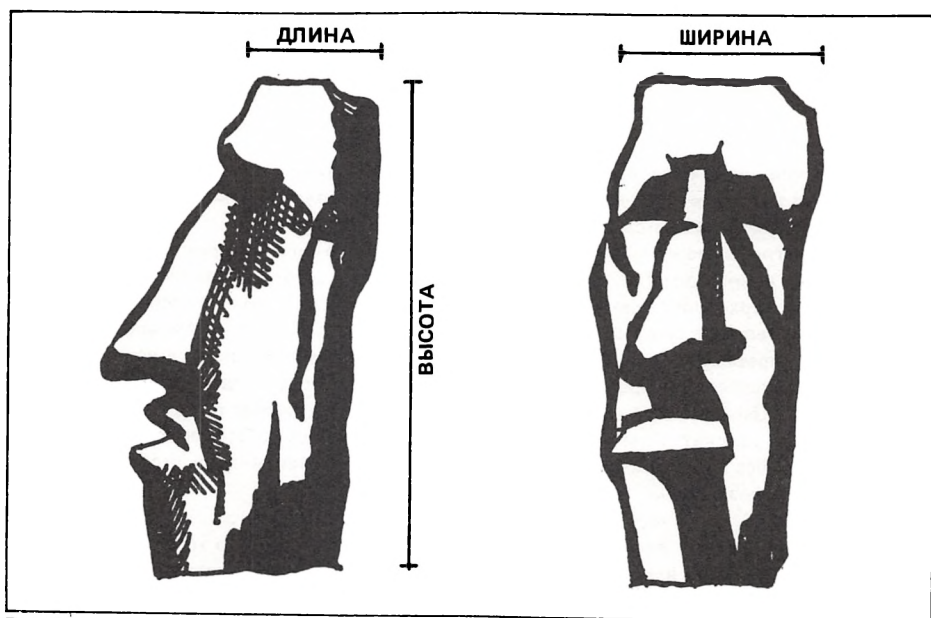


Рис. 1

Часть I. ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

1 Арменоидный антропологический тип

Понятие "арменоидов", или "арменоидного типа", было введено в антропологию в конце прошлого века.

Вначале этот тип называли "ассироидным" [5], так как считали, что он лучше всего представлен на ассирийских барельефах. Позже было замечено, что ассирийская скульптура является лишь частью намного более широкого явления в древнем искусстве. Оказалось, что очень многие изображения людей в древних цивилизациях имеют схожие лица и, что еще более поразительно, схожие очертания черепа. Так как такой тип лица и черепа часто встречается среди армян, то было предложено назвать соответствующий антропологический тип "арменоидным".

Формальное определение такого типа дать нелегко. Тем не менее, имеется ряд черт, которые резко выделяют арменоидов. Прежде всего, арменоиды относятся к брахицефалам, или "широкоголовым" людям.

Разделение людей на брахицефалов, мезоцефалов (т. е. "среднеголовых") и долихоцефалов (т. е. "длинноголовых") является одним из самых фундаментальных понятий в антропологии. Для этого разделе-

ния используют "головной индекс", т. е. отношение ширины головы к ее длине (рис. 1). Если это отношение больше, чем 0,8, то считается, что голова брахицефальная, если оно между 0,75 и 0,8 — то мезоцефальная, и если отношение меньше 0,75, то череп называют долихоцефальным.

Многочисленные измерения черепов в древних захоронениях и у современных людей показали, что в целом человечество "брахицефализируется" на протяжении своей истории и предыстории, т. е. головной индекс в среднем возрастает.

Три главные человеческие расы — белая ("кавказоидная"), монголоидная и негроидная. Для негроидов более характерна долихоцефалия, для монголоидов — брахицефалия. У кавказоидов долихоцефалия встречается чаще у северных и южных групп (т. н. "нордический" и "средиземноморский" типы), а в промежуточных горных областях более обычны брахицефальные типы. Этот брахицефальный тип кавказоидной расы иногда называют "альпийским". Внутри альпийцев антропологи различают также черепа высокие и низкие. При этом подчеркивают, что для высоких брахицефальных черепов часто характерны плоские затылки, то есть голова сзади не круглая,

а несколько уплощенная. Такой тип черепа соответствует так называемому динарскому антропологическому типу. Некоторые антропологи отождествляют динарский тип с арменоидным. По мнению других, для выделения арменоидного типа из динарского надо дать еще описание лицевой части черепа и других черт лица. Здесь главная черта арменоидов (в дополнение к описанным выше "динарским чертам") — наклонный лоб с высокой переносицей, тенденция линии носа продолжать линию лба, в целом узкое лицо "треугольного" типа и без выступающих скул.

Все сказанное выше относится к очертаниям черепа и может быть установлено прямыми измерениями, в частности, на черепах из древних захоронений.

Другие черты арменоидов можно увидеть только у живых людей или на древних изображениях. Это крупный нос, большие глаза и уши, резко очерченные ноздри, толстые губы, кудрявые волосы. У мужчин выраженный волосной покров на теле.

Таким образом, можно сказать, что арменоидный антропологический тип характеризуется следующими признаками: брахицефалия, высокий череп, уплощенный затылок, наклонный лоб с высокой переносицей и тенденцией линии носа продолжать линию лба, узкое треугольное лицо, крупный нос, большие глаза и уши, резко очерченные ноздри, утолщенная нижняя губа, кудрявые волосы, выраженный волосной покров на теле (ср. [20]). Все эти признаки гораздо больше обозначены у взрослых мужчин-арменоидов, чем у детей и женщин.

Важно подчеркнуть, что указанные десять признаков — это не формальное определение арменоидного типа, а скорее указание тенденций в свойствах черепа и лица, которые можно наблюдать у отдельных индивидуумов или групп.

Если попытаться нарисовать портрет арменоида со всеми признаками, как бы доведенными до предела, то легко видеть, что получится стандартный еврейский тип, как бы взятый с антисемитской карикатуры.

2. Арменоидность евреев

Антисемитские карикатуры, известные со средних веков (где, кстати, дьяволу тоже

придавали карикатурные арменоидные черты) и просуществовавшие до нацизма и современного антисемитизма, — это самое простое доказательство того, что арменоидный тип и есть тот самый, который большинство людей считает "еврейским". Кажется, что если бы не подсознательное табу, которое заставляет почти каждого человека чураться слов "еврей" или "еврейский", то антропологи с самого начала говорили бы "еврейский тип", что проще и понятней, чем "арменоидный". Иногда это почти так и происходит: есть археологи и историки, которые, видимо, сознательно заменяют термин "арменоидный" термином "семитский".

Известны две группы евреев, далекие географически, но с очень высокой концентрацией арменоидов: это евреи Восточной Европы и бухарские евреи. Арменоидность обеих групп была проанализирована со статистическими данными в антропологических работах, опубликованных в 20-е годы нашего столетия [12].

Обе группы резко отличаются от окружающего населения, среди которого прожили сотни лет. Проще всего арменоидность обеих групп объяснить общностью происхождения. Однако известно, что евреи Восточной Европы являются выходцами из Германии, а бухарские евреи — из Ирана. Наиболее вероятной общей группой как для восточно-европейских, так и для бухарских евреев являются евреи Древнего Израиля.

Отсюда вытекает очень важный вывод — евреи Древнего Израиля были, видимо, арменоидной этнической группой.

Прямых данных по антропологии древних израильтян почти нет и потому приходится ограничиваться косвенными доказательствами.

3. Парадокс древней скульптуры

Раскопки древних цивилизаций Месопотамии начались в середине прошлого века. Тогда же стали извлекать из-под земли скульптуры и барельефы, которые, как считалось, изображают первых цивилизованных людей на земле. Антропологический тип изображенных был не очень привычен для европейских ученых, производивших раскопки. Как уже упоминалось, это от-



Рис. 2

крытие и стимулировало определение "ассироидного" или "арменоидного" антропологического типа.

Расскажем подробнее о древней скульптуре. Начнем со скульптуры Ассирии. Человеческие типы, запечатленные в этой скульптуре, мало отличаются друг от друга и воспроизводят, в основном, некоторую разновидность арменоидного типа (рис. 2).

Рис. 3



Ассирийская скульптура или, лучше сказать, ассирийский стиль, возникает, по-видимому, в первой половине II-го тысячелетия до н.э. и продолжается до разгрома

Рис. 4





Рис. 5

Ассирии в 612 году до н. э., оказав потом большое влияние на стиль персидской скульптуры эпохи Ахеменидов.

Приблизительно в одно время с ассирийской скульптурой существовали на Ближнем Востоке еще два других стиля, в которых преобладание арменоидного типа сопровождалось большим разнообразием. Кроме того, арменоидность там более подчеркнута. Это хеттские (анатолийские) и арамейские (т. е. северно-сирийские) скульптурные изображения (рис. 3, 4).

Немецкий археолог фон Лушан, предложивший в начале нашего столетия термин "арменоидный тип", был, по-видимому, очень впечатлен необычайно резко выраженными арменоидными чертами скульптурных портретов из Зинджирли, на юго-востоке Турции, где помещалась столица арамейского княжества Симал (рис. 5).

Другой немецкий археолог, барон фон Оппенгейм, раскопал не менее поразительные арменоидные барельефы и монументы в Тель-Халаф, в верхнем течении реки Хабур (рис. 6, 7). Сейчас общепризнано, что эта скульптура — арамейская и датируется временем около 1000 года до н. э. Интересно, однако, что сам барон фон Оппенгейм ошибся в датировке своих находок и отнес их к III тысячелетию до н. э. и к стилю, который называют шумерским. Ошибка эта отнюдь не случайна и связана с тем фактом, что арамейская скульптура действительно кажется прямым продолжением скульптуры Шумера (Южной Месопотамии) и Элама

(юго-западный Иран) III-го тысячелетия до н. э.

Шумерская скульптура предшествует, таким образом, ассирийской, хеттской и арамейской.

Интересно, что арменоидные портреты практически навсегда исчезают из Южной

Рис. 6

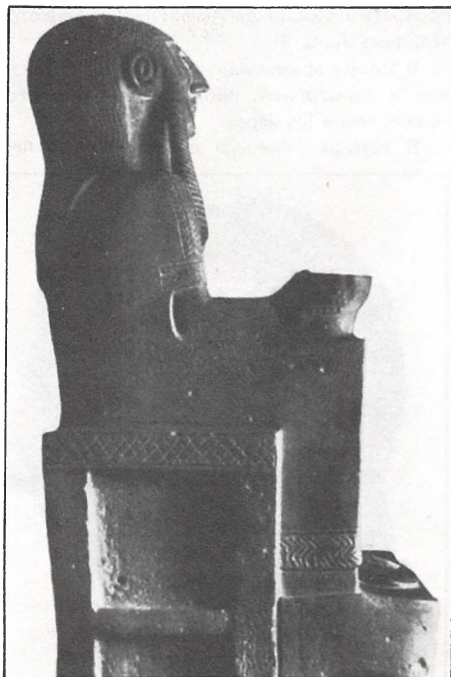




Рис. 7

Месопотамии приблизительно к 2450 году до н. э., то есть к началу так называемого Аккадского периода. Расцвет арменоидной скульптуры в этом районе приходится на "Ранний династический период III", т. е. приблизительно на 2800—2500 годы до н. э. В это время все изображенные в скульптуре люди — арменоиды, причем иногда это достаточно реалистические индивидуальные портреты с указанием имени изображенного человека (рис. 8).

В Эламе арменоидная скульптура, близкая к шумерской, продолжается намного позже, чем в Шумере.

В течение "Раннего династического пе-



Рис. 9

риода III" в Шумере и Эламе расцветает также скульптура из меди и бронзы. Фигурки из металла, изображающие арменоидов, находят и в богатых гробницах в Северной Анатолии, (III тысячелетие до н. э.). Мастерски сделанные фигурки арменоидов из бронзы (с высоким содержанием олова) были найдены в северо-западной Сирии в области Амук (рис. 9). Их относят к периоду "Амук G, конец", то есть приблизительно к 3000 году до н. э. Эти фигурки из Амук интересны не только очень высоким уровнем искусства литья, но и тем, что мужские



Рис. 8

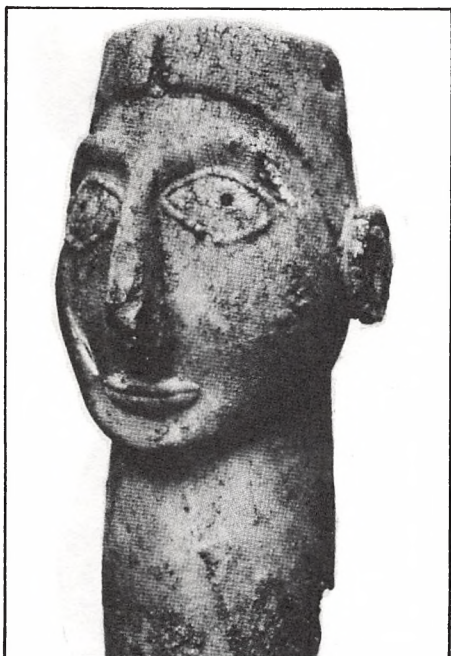


Рис. 10

персонажи там показаны прошедшими обряд обрезания. Что касается IV тысячелетия до н.э., а точнее его 2-ой половины, то соответствующую арменоидную скульптуру находят в ряде мест, связанных с так называемыми "большими храмами" Северной Месопотамии, а также в Шумере (рис. 10, 11).

Если оставить в стороне египетскую цивилизацию, где история скульптуры более сложна, то оказывается, что почти все изображения людей, относящиеся к бронзовому веку (т.е. к периоду приблизительно от

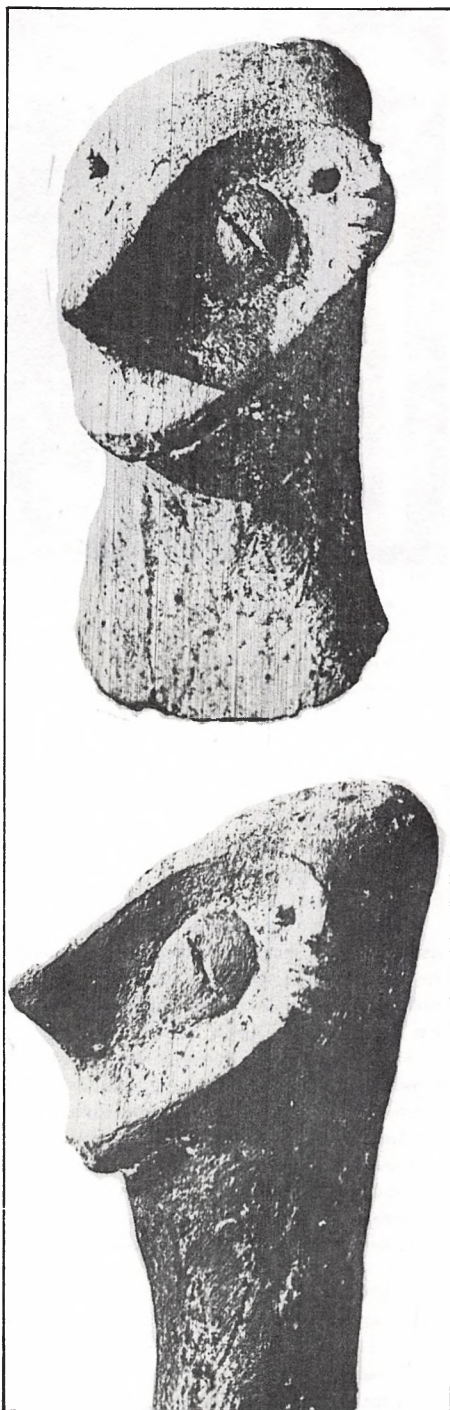
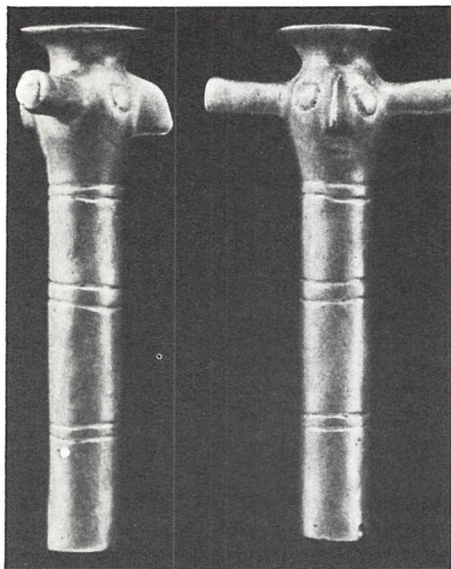


Рис. 12

Рис. 11



Рис. 13



4000 до 1000 года до н.э.) — это изображения людей арменоидного типа. Вместе с тем это изображения главным образом богов и царей и их приближенных — священников и воинов.

Имеется много археологических данных и о временах более древних, чем бронзовый век. Это так называемый неолитический ("новокаменный") и халколитический ("медно-каменный") периоды, которые соответствуют приблизительно времени от 10000 до 6000 лет до н.э. — неолит) и 6000—4000 лет до н.э. — халколит.

От халколитического периода остались изображения людей, сделанные из камня, глины или меди, которые находят в Месопотамии, Закавказье и Анатолии, на Балканах и в Израиле [16], (рис. 12, 13, 14).

Найденные изображения почти все подчеркнуто арменоидного типа, иногда стилизованного, а иногда реалистического.

Антропологические исследования древних захоронений Ближнего Востока стали проводить позже, чем описание скульптур. Довольно быстро выяснилось, что арменоидных черепов в этих захоронениях очень мало. На этот факт обратили внимание 30—40 лет тому назад. До этого преобладание арменоидов в скульптуре объясняли просто: население древних государств Месопотамии, Анатолии и Ирана было в основном арменоидным. Когда в древних захо-

Рис. 14



ронениях этих районов стали находить большей частью останки людей других рас, обычно с длинными и низкими черепами, возникло ощущение странного противоречия.

Кажется, наиболее естественное объяснение того противоречия, что арменоиды весьма широко представлены в скульптуре и скудно в захоронениях — это признание того, что они составляли особую высшую группу в цивилизациях Ирана, Анатолии и Месопотамии бронзового века и более ранних периодов, группу, стоявшую у истоков этих цивилизаций и определившую их стиль.

Поэтому боги, цари и их окружение изображались арменоидами. Основное же население этих цивилизаций принадлежало к другим антропологическим типам, и оттого так редко арменоиды в древних захоронениях.

4. Начало металлургии

Самую раннюю арменоидную группу, которую находят археологи, исследуя древние захоронения, связывают с так называемой культурой Гассул-Беэр-Шева ([1], [2], [17]). Эта культура существовала на территории Израиля в период приблизительно с 4600 до 4000 год до н. э. К ней относятся остатки храма в Эй-н-Геди, на берегу Мертвого моря. В нескольких километрах от храма, в пещере ущелья Нахал-Мишмар, нашли сотни медных предметов. Скорее всего, их спрятали хозяева или служители храма, надеясь когда-нибудь туда вернуться. Короны, скипетры, булавы, топоры — выполнены с мастерством, которого трудно ожидать от столь раннего времени. Следует помнить, что шумерская и египетская цивилизации развились почти на 1000 лет позже.

Все изображения людей в культуре Гассул-Беэр-Шева — изображения арменоидов (рис. 13, 14).

Гассул-Беэр-Шевская культура — начальное звено в длинной цепи фактов, указывающих на центральную роль арменоидов в развитии металлургии.

Широкое распространение меди и бронзы относится к III тысячелетию до н. э. Тогда же почти одновременно возникают четыре мощных центра металлургии: 1) в Центральной и Западной Европе; 2) на Украине и на Северном Кавказе; 3) в Анатолии и 4) в Месопотамии. Началом III тысячелетия до н. э. датируются бронзовые и медные изображения арменоидов из Амур, о которых говорилось выше. К 2800 году до н. э. относят сказочно богатые "царские гробницы" из Аласса-Худжук (Северная Анатолия), где находят много изделий не только из бронзы, но также из золота и серебра.

В литературе отмечается, что антропологический тип захороненных в этих "царских гробницах" — брахицефальный и резко отличается от окружающего населения Анатолии того же времени, которое было долихоцефальным [17]. Более точные данные об антропологии брахицефалов из царских гробниц Аласса-Худжук не опубликованы. Однако то, что там была тесная связь с арменоидами, подтверждается антропологическим типом, отраженным в скульптуре

из других "царских гробниц", очень близких к Аласса-Худжук географически и по стилю, хотя и несколько более поздних. Самые важные из них — в Хороз-Тепе (северо-восточная Анатолия). Эти скульптуры датируются приблизительно 2500 годом до н. э. [17]. Северо-восточная Анатолия продолжала быть важным металлургическим районом до начала нашей эры (по свидетельствам греческих географов и историков). По всей видимости, именно там во II тысячелетии до н. э. развилась железная металлургия.

Как мы уже говорили, в Шумере бронзовые и медные изображения арменоидов распространились в период 2800—2500 гг. до н. э. "Царские гробницы" из Ура (приблизительно 2650 год до н. э.) свидетельствуют и о необычайно высокому развитию там ювелирного искусства, типологически связанного с искусством Северной Анатолии (и Закавказья).

Главным городом северной части Шумера был Киш, где, по шумерской легенде, жили первые цари после потопа. Археологи находят в Кише самые ранние богатые захоронения и дворцы Южной Месопотамии. Датируют их приблизительно 2900—2800 годом до н. э.

Примечательно, что на территории Шумера только в Кише находят арменоидные черепа, которые составляют примерно 10—20% от общего числа черепов в сравнительно небольших Кишских коллекциях, относящихся к 2900—2500 году до н. э. [8].

Один из самых ярких фактов, свидетельствующих о связи арменоидов с древней металлургией — это открытие археологами прошлого века культуры, которая по-английски называется "Beaker People", а в русской археологической литературе передается термином "культура колоколовидных кубков". Мы же в дальнейшем будем пользоваться термином "культура людей с кубками" [3]. Установлено, что приблизительно в 2500—2300 г. до н. э. на огромных пространствах Западной и Центральной Европы (на территориях нынешних Испании, Франции, Англии, Северной Италии, Германии, Венгрии и Чехии) распространяется довольно однородная материальная культура, отмеченная производством очень похожих глиняных кубков и медных кинжалов.

Брачный контракт (клуба) с геометрическим орнаментом. Курдистан; (на обороте) Михаэль ГРОСС. Дом. Холст, масло, 60-е годы; (на следующей странице) Амос КЕНАН. Гамла. Акварель, 1982; (на обороте) Вид на Гамлу. Фото.

Рис. 15



Эту культуру "людей с кубками" связывают с распространением меди в Центральной и Западной Европе. Открытие культуры "людей с кубками" — один из редких случаев, когда археологам удалось установить не только распространение признаков новой материальной культуры, но и сопровождающее эту культуру появление людей иного антропологического типа, в которых трудно не увидеть проводников этой культуры. Антропологический тип "людей с кубками" в основном арменоидный ([3], [4]). К культуре "людей с кубками" близка так называемая "катакомбная культура" на юге Европейской части СССР, датируемая приблизительно 2600—2300 г. до н. э. Здесь также фиксируется экспансия металлургии вместе с экспансией арменоидов.

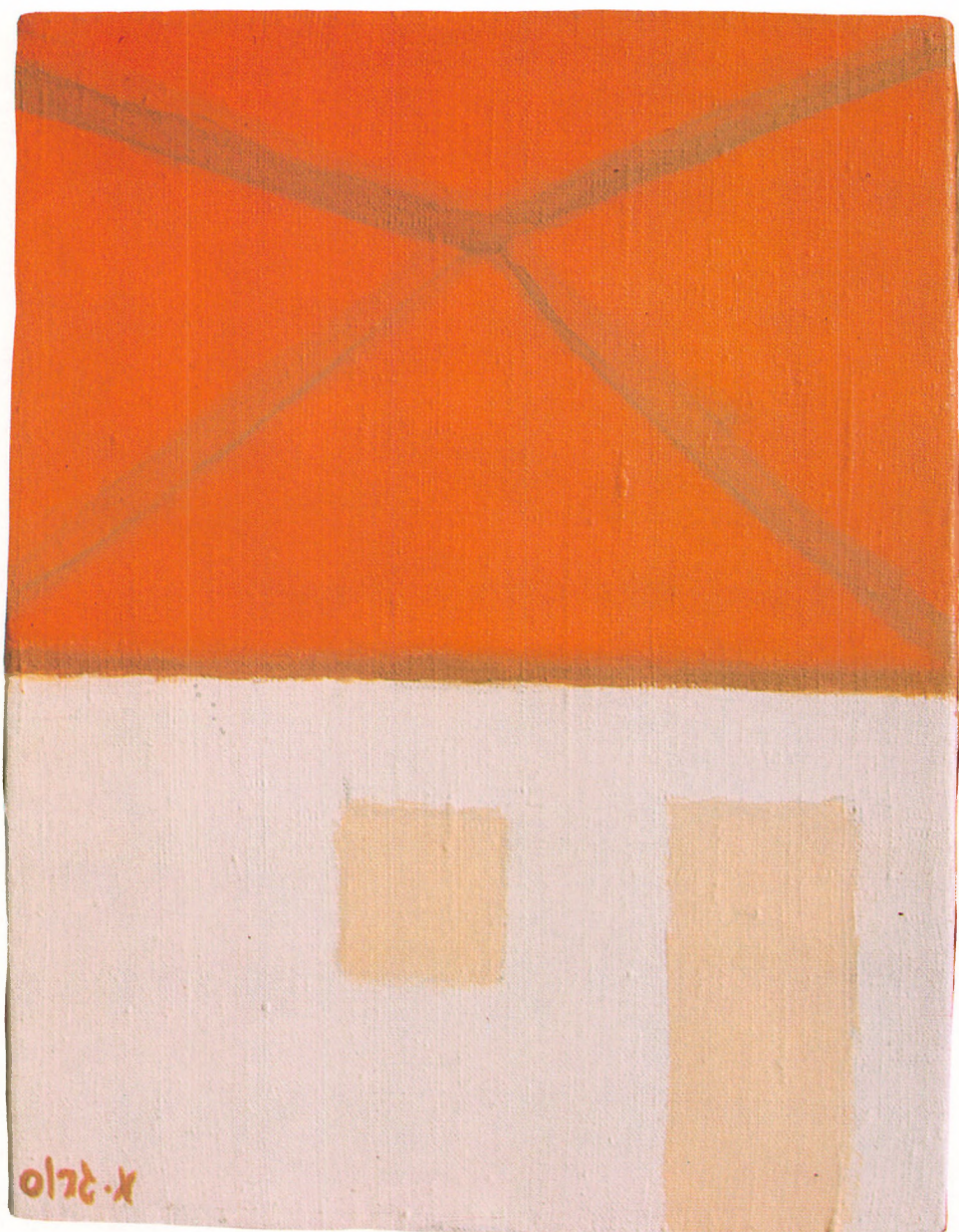
Подобную соотнесенность расцвета металлургии бронзового века, арменоидной скульптуры и захоронений арменоидов археологи находят на Кипре.

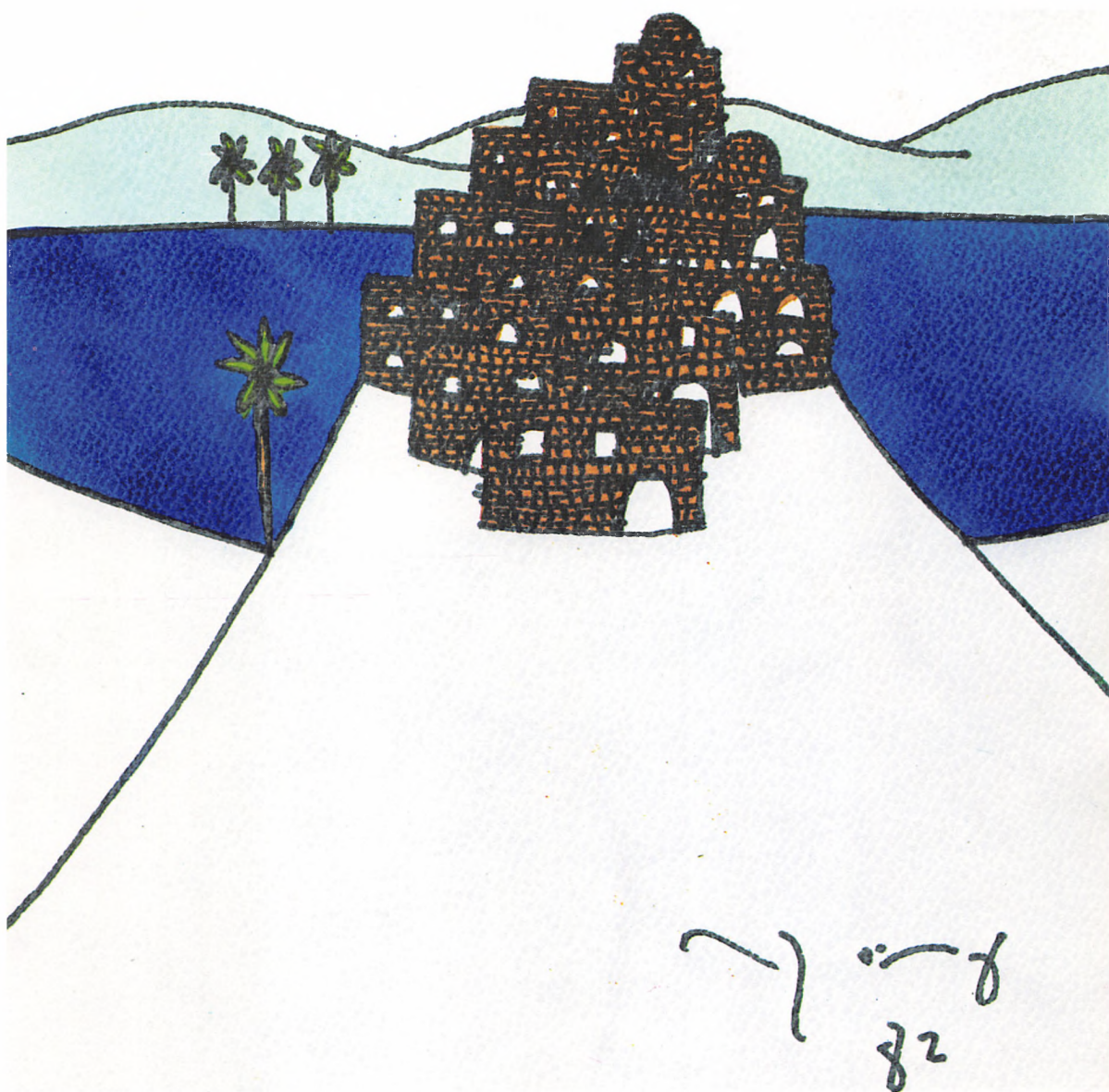
Самое раннее появление арменоидов на Иранском плато датируется началом первого тысячелетия до н. э. [8]. В очень богатых захоронениях так называемого "Сиалк VI" [10] (к югу от Тегерана) резко преобладают арменоидные черепа. Существует мнение [11], что эти захоронения соответствуют первому появлению ирано-арийских племен в этом районе и что материальная культура "Сиалк VI" тождественна культуре создателей так называемых "Луристанских бронз". "Луристанские бронзы", представленные во многих музеях мира, свидетельствуют о пребывании в Западном Иране в начале 1-го тысячелетия до н. э. необыкновенно искусных металлургов. В фантастических орнаментах "Луристанских бронз" встречаются изображения людей только арменоидного типа (рис. 15.).

5. Деформация черепов

Упомянутая выше "катакомбная культура" характерна не только распространением изделий из металла и людей арменоидного типа, но и еще одним странным явлением — деформацией черепов [6].

О такой деформации писал еще Гиппократ в V-ом в. до н. э. Он рассказывает о некой этнической группе "макроцефалов", жившей где-то на восточных берегах Черного моря. По словам Гиппократа, люди с





82



Рис. 16



более вытянутыми (судя по другим данным, вверх) головами считались у этого народа более знатными, и поэтому "макроцефалы" деформировали головы, чтобы иметь более "знатный вид" [13].

Анализ многочисленных археологических находок показывает, что чаще всего с помощью деформации, проведенной в раннем детстве, голове придавали утрированную арменоидную форму: череп делали очень высоким, с наклонным лбом и плоским затылком. Этот странный обычай продолжал существовать в разных районах евразийских степей в течение тысячелетий. Первые деформированные черепа из степных культур датируются "катакомбным временем", т. е. серединой III-го тыс. до н. э. Археологи, конечно, не могут проследить непрерывную цепь, и следующий период, когда есть археологические данные по деформации черепов в степях Евразии — это 2-ая половина I-го тыс. до н. э. — первые века н. э. Деформированные черепа находят в захоронениях ираноязычных сарматов и ряда кочевых племен Центральной Азии, часть которых с большой вероятностью говорила на индо-европейском тохарском языке. Тохары вместе со скифами разгромили во II-ом веке до н. э. Греко-Бактрийское царство. На его месте было создано могущественное государство, просуществовавшее несколько столетий и называвшееся "Царство Великих Кушан". Сохранились монеты, а также немногочисленные скульптуры с изображениями кушанских царей (рис. 16). На этих изображениях головы так вытянуты и затылки так плоски, что ученые не могли не прийти к выводу,

что по крайней мере аристократия Кушанского царства продолжала традицию деформации черепов.

На восточной окраине Евразийского степного мира жили гунны. К IV в. н. э. они подчинили себе почти все другие кочевые племена и вторглись в Западную Европу. Их главный археологический след — захоронения, в которых находят деформированные черепа "ультра-арменоидов".

Никто не знает, как обычай деформировать голову проник на американский континент, но следов он оставил довольно много. Европейцы еще застали этот обычай у ряда индейских племен. Сохранились описания, как голову ребенка зажимали между двумя досками, сходящимися вверх, так, чтобы лоб получался наклонным, а затылок — вертикальным. Возможно, самое значительное свидетельство — скульптура майя разных периодов. В барельефах майя, вероятно, отразилось какое-то влияние Древнего Востока — анатолийское, арамейское или финикийское (рис. 17). На скульптурах майя изображены люди арменоидного облика с подчеркнуто деформированными черепами.

Удивительно то, что самые древние деформированные черепа "под арменоидов" нашли в захоронениях неолита в докерамическом Иерихоне (приблизительно 8000 лет до н. э.), на Кипре (Кирокийская культу-

Рис. 17



ра, 7000 — 6500 лет до н. э.) и в Западном Иране (приблизительно 7000 лет до н. э.) ([8]), [16]). Кирокитийская скульптура замечательна тем, что в ее захоронениях находят только брахицефальные черепа, по ряду признаков близкие к арменоидным. Деформация там как бы доводит до предела уже имеющийся в этой культуре антропологический тип.

То, что обычай деформировать голову "под арменоидов" существовал в неолите, может означать только, что арменоиды не моложе неолита и что тогда уже они рассматривались как люди высокого происхождения.

6. Контуры общей картины

Приблизительно 12000 лет назад начались резкие перемены в жизни людей на Земле. Появились первые дома и укрепленные поселения, украшения и каменные сосуды. Люди сделали первые шаги в земледелии и скотоводстве. Эти события археологи называли "неолитической революцией". Начало неолитической революции связывают сейчас с так называемой Натуфийской культурой на территории Израиля [16]. Там же находится первый город — городище "Иерихон".

Современные данные о развитии неолитических и последующих культур показывают, что в целом это был процесс, непрерывно разворачивающийся во времени и пространстве. Новые очаги возникали и исчезали, но с течением времени неолитическая революция захватывала все новые районы. Вначале — Северная Месопотамия и южные районы Анатолии, затем — западная Анатолия, Греция и Балканы, далее — Закавказье, Западный и Северный Иран, Южная Туркмения и Южная Месопотамия. Примерно с седьмого тысячелетия до н. э. в Анатолии и Северной Месопотамии стали развиваться культуры, где уже были керамика и начальные элементы металлургии. Эти культуры соответствуют так называемой Халколитической эпохе. От них опять пошли волны прогресса на запад, восток и юг.

Следующий археологический период — бронзовый век (с 4000 г. до н. э.) имел, кажется, неоспоримыми своими источниками Гассул-Беершевскую культуру и вслед за тем культурные очаги Северной Сирии, Шумера и Кавказа. Аналогичная картина вырисовывается и из анализа археологических и древнеписьменных данных по так называемому железному веку (примерно с 1200 г. до н. э.).

Кроме пространственно-временной непрерывности развития, начатого неолитической революцией, археологи находят множество дальних связей, совпадений стилей удаленных друг от друга культур, синхронность в ряде существенных перемен и нововведений. Иногда кажется, что процесс прогресса человечества только локально определялся свободой выбора и случайностями, в целом же был как бы согласован и направлен. Такое почти мистическое ощущение можно сделать рациональным, если предположить наличие определенной преемственности и связанности в какой-то стабильной части активного человеческого элемента, угадываемого за неодушевленными свидетельствами археологии.

Описанные нами выше свидетельства древней скульптуры, деформации черепов уже с неолитического времени, антропологические корреляции металлургических очагов дают простое и ясное указание в одном только направлении: стабильной частью процесса культурной эволюции в неолитическую и последующие эпохи, определившей его преемственность и связанность, были люди, антропологически относимые к арменоидному типу. Более того, арменоидные изображения царей и богов, связь деформированных под "арменоидов" голов с представлением о знатности, делают весьма вероятным и более сильное предположение. В очень древние эпохи (приблизительно с 10000 г. до н. э.) арменоиды были тождественны высшему классу по крайней мере в центральной части Ближневосточного культурного очага и их экспансии в основном совпадали с процессом расширения этого очага.

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Y. Aharoni, "The archaeology of the land of Israel", The Westminster Press, Philadelphia, 1982.
- [2] П. Бар-Адон, "Пещера клада", Иерусалим, 1971 (на иврите).
- [3] V. G. Childe, "The dawn of European civilization", New York, A. A. Knopf, 1958.
- [4] C. S. Coon, "The races of Europe", New York, Macmillan, 1939.
- [5] J. Deniker, "Les races et les peuples de la terre, Chap. VIII", Paris, 1926.
- [6] Dingwall, "Artificial cranial deformation", London, 1931.
- [7] H. Frankfort, "The art and the architecture of the ancient Orient", Penguin Books, 1954.
- [8] D. Ferembach, "Formation et evolution de la brachycephalie au Proche-Orient", Homo, 1965.
- [9] Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, "Миграции племен — носителей индо-европейских диалектов с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии", Вестник древней истории, 1981, №2.
- [10] R. Ghirshman, "Fouilles de Sialk pres de Kashan", 1933, 1934, 1937, v.2.
- [11] R. Ghirshman, "Iran, from the earliest times to the Islamic conquest", Penguin Books, 1954.
- [12] (а) Гинзбург В. В., Трофимова Т. А., "Палеоантропология Средней Азии" (монография). (Даны ссылки на работы 20-х годов по антропологии бухарских евреев.)
- (b) M. W. Hauschild, "Die kleinasiatischen Völker und ihre Beziehungen zu den Juden", Zeitschrift für Ethnologie, Braunschweig, 1920-21, 52-53:524.
- (c) F. Wagneseil, "Beiträge zur physischen Anthropologie der sefardischen Juden und zur jüdischen Rassenfrage", Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Stuttgart, 1922, 23, 1:149.
- [13] Hippokrates, "The genuine works of Hippokrates" (translated from the Greek by Francis Adams) Baltimore, Williams-Wilkins, 1930.
- [14] F. von Luschan, "Ausgrabungen in Sendschirli" (Mitt. aus den orient. Sammlungen, Heft 11—14, 1893—1911).
- [15] J. Mellaart, "Egyptian and Near Eastern chronologie: a dilemma?" — Antiquity, 1979, v. LIII, № 07.
- [16] J. Mellaart, "The Neolytic of the Near East, London", Thames and Hudson, 1975.
- [17] J. Mellaart, "The Chalcolitic and Early Bronze Ages in the Near East and Anatolia", Beirut, Khayats, 1966.
- [18] M. von Oppenheim, "Tell Halaf", London and New York, G. P. Putnam's sons.
- [19] C. Renfrew, "Problems in European Pre-history", Edinburg, Edinburg University Press, 1979.
- [20] БСЭ, изд. 2-е, т. 3, стр. 40, статья "Арменоидный антропологический тип".



Буденный — критик Бабеля

Евреи — народ никудышный, соседи его ненавидят, и по заслугам, в диаспоре его ожидает всеобщая Варфоломеевская ночь, и единственное его спасение — ехать в Палестину.

В. Жаботинский. Автобиография

Юбилеи положено отмечать. В газетах. На многолюдных торжественных заседаниях. А тут как раз на носу два связанных между собой юбилей: 90-летие со дня рождения Исаака Бабеля и 60-летие со дня антибабелевской атаки Семена Буденного. Может показаться, что события не равноценны: юбилей блистательного писателя и... годовщина появления критического опуса малограмотного кавалериста, автора нескольких корявых "писем читателя" и скучнейших воспоминаний бывшего унтер-офицера?! Дело, однако, не только в словесности. Дело в той инстинктивной силе, с которой искусству, правде и духовности сразу же воспротивилось примитивно-фельдфебельское понимание Слова. Эта сила преследовала художника всю его жизнь. И не отступила даже после его трагической гибели.

Двадцатые годы...

Новеллы Исаака Бабеля знают все. Статья С. Буденного "Бабиизм Бабеля из "Красной нови", с которой начался и поныне длящийся

ся поход против бабелевского творчества, известна значительно меньше. Она, кажется, никогда не перепечатывалась, — и это очень обидно. Ибо в ней с казацкой решительностью предсказана та методологическая основа, на которой в дальнейшем так привольно было действовать всем последователям главного красного кавалериста. Впрочем, последователи пользовались не только "методом", но и самой "терминологией" буденновской статьи. И этот факт ни в коем случае не должен быть забыт!

В "Бабиизме Бабеля..." была впервые предложена та богатейшая россыпь обвинительных определений, из которых впоследствии можно было черпать и черпать, лишь чуть-чуть подновляя: мелкотравчатый, идеологически чуждый; больной садист; дегенерат от литературы. Той же определенностью отмечены и нравственные инвективы: "Гр. Бабель... видит со страстью больного садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д."¹ И еще точнее: "Для нас все это не ново, что старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие пред-

ставители: Куприн, Арцыбашев (Санин) и другие, — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся, благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенератизма, и нагло называет это "Из книги "Конармия"². Но, конечно, важнее всего социальные характеристики. Первый красный конник сообщает нам: "Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную армию бабы сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом, по-бабы, рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет"³. Понятно, что все это происходит потому, что Исаак Бабель "подхватывает" "старую песню господ Суворовых, Милюковых, Деникина и пр., которые в свое время до хрипоты кричали, писали и шипели по поводу грубооголтелого, вонючего, ненавистного им мужичья, на которые поняли глупость и перестали"⁴. И основополагающий вывод: "Для того, чтобы описать героическую, небывалую еще в истории человечества борьбу классов, нужно прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, т. е. быть диалектиком, быть марксистом-художником. Ни того, ни другого у автора нет. Поэтому для него не важно, как и почему и за что сражалась, будучи величайшим орудием классовой борьбы, 1-я Конная Красная Армия. Несмотря на то, что автор находился в рядах славной Красной Армии, хотя и в тылу, он не заметил, и это прошло мимо его ушей, глаз и понимания, ни ее героической борьбы, ни ее страшных нечеловеческих страданий и лишений. Будучи от природы мелкотравчатым и идеологически чуждым нам, он не заметил ее гигантского размаха борьбы... Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чуждой, противной..."⁵

Линия была намечена: классово чуждый, мелкобуржуазный, социально неразборчивый, морально опустившийся. Правда, пока еще допускаются к употреблению некоторые факты из писательской биографии, еще

пока не зачеркиваются... Признается, хотя и со множеством оговорок и недомолвок, что Исаак Бабель "находился в рядах славной Конной армии, хотя и в тылу..."

"Бабизм..." С. Буденного послужил сигналом. В журналах, в газетах появился рой статей, и уже профессиональные критики развили и дополнили принципиальные установки командарма. Здесь, правда, соблюдалась своя приличия: вначале заводили речь о писательском мастерстве, о стилистическом умении, о лаконичности и емкости фразы. А уж затем выдвигали обвинения политические — недооценка и непонимание смысла большевистской революции, отсутствие классового чутья и гражданского сознания. Приговор же был категоричен: произведения Исаака Бабеля не только не приносят пользы "новому поколению", но и способны исковеркать его светлое, жизнеутверждающее мировоззрение. В подтверждение долгодействующей универсальной "схемы" — только один пример: статья В. Вешнева "Поэзия бандитизма". Построение ее — классическое. Вначале — общий заповедь: "Бабель, — пишет В. Вешнев, — искуснейший новеллист. Его новелла всегда заострена пикантным сюжетом, почти всегда жестоким. Сюжет истощающе развит в крайне ограниченной, строго очерченной словесной рамке. Его новелла реалистична, глубоко погружена в жизненный материал. Жестокое содержание воспринимается легко, ибо оно пропитано либо иронией, либо тонкой поэтической идеализацией. Оно всегда, кроме того, окантовано вычурным пейзажем, вычурность которого не всегда даже чувствуется вследствие умения экономить краски и своеобразного пользования стилистическими средствами"⁶. Затем, понятно, следуют рассуждения о морали. И что знаменательно, профессионалы от литературы тут деликатно подправляют своего кавалеристского предтечу. В. Вешнев, да и многие другие, черты незрелости Исаака Бабеля усматривают не в аморализме, а, напротив, в его недопустимой оценке революции с моральных позиций. В. Вешнев замечает, что "революция морали неподведомственна. А наоборот, мораль ей подчинена. Не проникая в глубину этой темы, — поучает В. Вешнев, — приходится сказать, что этот кри-

терий уже не оригинален. Все так называемые полутчики пытаются подойти к революции с моральным аршином, а он со скользкого и необъятного плаща революции неизменно соскальзывает и на нем не умещается. Революция оправдывается "имманентно", собственным своим смыслом"⁷. Утвердив аморальность революции, В. Вешнев легко переходит к прогнозированию вредного успеха бабелевских произведений: "Что мы узнаем о незабвенных битвах от очевидца Бабеля — а он был очевидцем и, может быть, даже участником,— что именно может воспринять от его рассказов наша молодежь, которая тогда ходила в коротеньких штанишках и которая теперь с такой серьезностью и пытливостью знакомится с героическим прошлым пролетарской революции? Она из рассказов И. Бабеля узнает, как буденновцы оскорбляли религиозные чувства поляков ("У святого Валента"), как грабили мирное население во время переходов и стоянок ("Мой первый гусь"), как для "смеху" секли нагайками собственную почти голую и голодную пехоту ("Афонька Бида"), — все то, что может быть очерчено одним словом: бандитизм, все то, что было не раз сурово и справедливо осуждено высшими революционными органами, квалифицированными восставшим пролетариатом блюсти достоинство его революции... В рассказах Бабеля так вышло, что буденновцы, эти герои революции, оказались бандитами... Была распространена, известную социальную базу имела мелкобуржуазная анархистская психология у нас, в Советском Союзе. Она имеет ее и сейчас. К ней прокладывают себе дорогу Бабели, воспевая банду, орду разрушителей, ватагу вольных громил. Будет читать Бабелей молодежь городская, молодежь деревенская. Бандитские рассказы с поэзией анархизма написаны просто, прозрачно и увлекательно. Они могут иметь, они будут иметь идейный успех. Может ли нас это радовать?"⁸

В. Вешнев и другие, шедшие вслед за Буденным, не касались внутренних причин идейной ограниченности и моральной неустойчивости Исаака Бабеля. Они упирали на сам факт его "недостаточно четкого отношения к пролетарской революции", "к

героизму бойцов Конной армии". Но завеса была приподнята, когда об острейшем внутреннем драматизме бабелевского творчества заговорили критики, не захваченные окончательно схемами вульгарного социологизма, не руководствовавшиеся лишь формулами будущего соцреализма. В полемической статье о Бабеле редактор "Красной нови" критик А. Воронский осмелился даже напомнить о единстве мировой литературы, о неизбежности ее нравственно-эстетических критериев. Об Исааке Бабеле было сказано: "У нас, как, вероятно, и всюду, писатели делятся на национальных и интернациональных. Сейчас у нас национальны Пильняк, Всев. Иванов, Есенин, Сейфуллина, Леонов и др. Понятие "национальные" употребляется здесь не только и не столько как система мировоззрения, политического сгедо, а как способность в разной обстановке и в таком культурном быту художественно ориентироваться и питать свой талант... С этой точки зрения Бабель — писатель безусловно интернациональный. Природа его таланта такова, что он в Америке сможет написать американские рассказы, в Одессе — одесские, в конармии — конармейские и т. д. В России это качество в среде писателей редкое: наше искусство в этом смысле мало европеизировано. И это свойство очень ценное особенно теперь, ибо национальные рамки давно стали непомерно тесны, ограниченны, условны и явно отстают от жизни..."⁹

Так была сделана попытка перенести разговор о рассказах Исаака Бабеля из области социально-классовых концепций в сферу историко-литературную, вернуться к обсуждению той образной структуры, того состояния мира, в котором художник не только прочертил столкновение, сшибку разных уровней взаимоотношений с действительностью, но и в трагизме чувств и страстей своих героев, в самой художественной логике их развития обнаруживал истинную (в иной терминологии — божественную, не зависимую ни от Времени, ни от Пространства!) природу нравственных установлений. И тут скрытое, скрываемое стало очевидным — зоркий читатель мог если не увидеть, то догадаться, что в подтексте "Бабизма..." (и всех последующих дополнений к

нему) заложен намек не только на отстраненность Исаака Бабеля от русской жизни, но и на органическую невозможность для него к этой жизни приобщиться. Намек, повторяю, был очень осторожный, прикрытый плотной завесой слов о "классах", "пролетариате", "марксизме", — ведь пока шла только первая половина двадцатых годов, и инерция официального интернационализма, мировой революции, всеобщего пролетарского братства еще не исчерпала себя окончательно. Шелуха слов еще многим казалась полновесным зерном, и с этим приходилось считаться. Старые теории мешали, а будущая практика в национальном вопросе только разрабатывалась: вершители революции, новые хозяева жизни станут отныне все настойчивее замалчивать историческую роль инородцев (в то время как побежденные, отринутые от российской стремнины, будут эту роль всемерно преувеличивать!).

Возможно, поэтому М. Горький, отвечая в 1928 году С. Буденному в брошюре "О том, как я учился писать", счел нужным прибегнуть к ответственным литературным параллелям: "Товарищ Буденный охаял "Конармию" Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев"¹⁰.

Шел, однако, уже 1928 год, и С. Буденный, не стерпев личной и национальной обиды, мог теперь быть значительно откровеннее, чем прежде. Теперь в своем ответе М. Горькому он многое расшифровывает: "Фабула его [Бабеля] очерков, — пишет С. Буденный, — уснащенных обильно впечатлениями эротонеистовствующего автора, идет от образа сумасшедшего еврея, проходит через описание ограбленного костела, типа красноармейца-сифилитика и оканчивается удовлетворением любознательности автора к тому, как выглядит женщина-еврейка, изнасилованная десятком махновцев"¹¹. Чего такой сюжетный перекося? Теперь С. Буденный отвечает не задумываясь: "Чтобы лучше знать первоисточники "Кон-армии" Бабеля, я должен оговориться, что

Бабель никогда не был и не мог быть подлинным и активным бойцом 1-ой Конной армии. Мне также известно, что он где-то плелся с частицей глубоких тылов, к нашему несчастью всегда отягощавших боевую жизнь 1-ой Конной армии, — вернее, Бабель был "на задворках" Конармии"¹². Все обнажено до предела: Исаак Бабель был "на задворках", он не только не был, но и "не мог быть" (!) "подлинным и активным бойцом 1-ой Конной армии"...

М. Горький делает последнюю попытку вернуть обсуждение в русло литературной традиции, вторично называя имя Исаака Бабеля рядом с классическими именами Толстого и Гоголя: "Вы говорите, — отвечает он С. Буденному, — что Бабель "плелся где-то с частицей глубоких тылов". Это не может порочить ни Бабеля, ни его книгу. Для того, чтобы сварить суп, повар не должен сам сидеть в кастрюле. Автор "Войны и мира" лично не участвовал в драках с Наполеоном. Гоголь не был запорожцем"¹³.

Горьковская попытка оградить Исаака Бабеля от вульгарного социологизма и воинствующего шовинизма была последней на многие-многие годы...

Пятидесятые годы...

Сам Исаак Бабель не обольщался ни декларациями о свободе новой культуры, ни заявлениями в абсолютном интернационализме нового общества. В своей "Автобиографии" он относил начало своей литературной деятельности к 1924 году, "когда в 4-ой книге журнала "Лев" появились мои рассказы "Соль", "Письмо", "Смерть Долгушова", "Король" и др.". В этом утверждении есть неточность и, вероятно, неточность умышленная. Все упомянутые рассказы были напечатаны уже в 1923-ем году в различных одесских газетах. Но Исаак Бабель, возможно, не просто связывал свое писательское рождение со столичным журналом, а еще и стремился избежать подчеркивания своего "одесского происхождения".

Однако "скрыть" его не удалось. Уже в начале 50-ых годов, после правдинской статьи Н. Бубеннова о романе В. Катаева

"За власть Советов!" и в годы борьбы за великий русский народ была опубликована статья Ан. Тарасенкова "За богатство и чистоту русского литературного языка!". В ней на Исаака Бабеля уже прямо возлагалась вина за "вред, нанесенный русскому языку" — важнейшему проявлению народной души и главнейшему инструменту национальной жизни. Ан. Тарасенков писал: "Особенно много вреда развитию советской литературы нанесла в области языка и так называемая южно-русская школа. Целая группа писателей в течение долгих лет культивировала в литературе так называемый одесский жаргон, представляющий собой крайнюю степень уродства и искажения русского языка. Первый начал эту разрушительную работу Бабель, политическое лицо которого хорошо известно. Одесский воровской жаргон у Бабеля органически сочетается с наплевательским отношением к жизни и делам советских людей. Все его творчество было проникнуто отвратительным цинизмом, порнографией, — и все до конца враждебно нам"¹⁴.

Накал антибабелевских страстей не улегся и после смерти Сталина, и даже после 20-го съезда КПСС. Реабилитация Исаака Бабеля мало коснулась его произведений. Правда, были изданы его книги, но официальная критика, продолжая с прежним пылом писать об ограниченности его мировоззрения, мелкобуржуазности, классовой отсталости (блюстители марксистской ортодоксии!), особенно напирала теперь на "оторванность его от народа, на непонимание народной души" (критика националистов-шовинистов!). Особенно резко новые ноты зазвучали после выхода "Избранного" с предисловием Ильи Эренбурга. Тон задавал А. Макаров, который, обозревая книги "реабилитированных писателей", так отзывался о книге Исаака Бабеля: "Предисловие Ильи Эренбурга способно только запутать читателя. Ибо оно не дает понимания, что творчество И. Бабеля — своеобразное и изломанное явление определенного времени и определенной среды, творчество человека, далекого от народа, хотя и искренне сочувствующего народным стремлениям"¹⁵. Очевидно, что изюминка здесь в словах "далек от народа...". Не случайно они были

повторены в редакционной статье "Литературной газеты", которая поддержала и развила положения А. Макарова: "Неясность, запутанность мировоззрения И. Бабеля, далекого от народа, не позволили ему понять смысл революционной борьбы, смысл эпохи... Неправомерно у Эренбурга сравнение гуманизма И. Бабеля с гуманизмом всех великих русских писателей — "от Гоголя до Горького"¹⁶.

После такой официальной установки кажется неудивительным появление "Уроков" В. Архипова в журнале "Нева", уроков, характерных для понимания все более обнажающихся идеологических тенденций. В. Архипов лишь следует традиции, заметив, что "стоит только поставить содержание "Конармии" на суд истории, как поэма тут же потеряет свое название и право на него (о чем, кстати, не раз писали участники героических рейдов Конармии). Или, в противном случае, желая сохранить название, она должна лишиться на три четверти, если не больше, своего содержания"¹⁷. Столь же не ново и осуждение общей концепции произведения: "Что такое "Конармия" Бабеля в сопоставлении с другими произведениями советской литературы о гражданской войне?" — вопрошает В. Архипов. И отвечает: "Конармия" Бабеля — это "Чапаев" Фурманова и "Донские рассказы" Шолохова в преломлении Мечика из "Разгрома" Фадеева". Далее уточняется: это "история мелкобуржуазной интеллигенции, история ее судеб, ее метаний в суровые, великие годы революции"¹⁸. Подобный Мечик — лирический герой "Конармии" — не мог не быть "далеким от народа". "Такое единение, — пишет В. Архипов, — было исключено по самому условию исторической и психологической задачи: быть с народом означает быть частью народа, что раздражало Мечика и претило ему. Народа Мечик не любил, относился к нему с презрением и цинизмом, едва прикрытым иронией. Ведь умудрился же он написать: "Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти"¹⁹.

Но на этом кончается продолжение ранней буденновской традиции и начинаются собственные откровения В. Архипова. Пре-

жде всего отмечается, что весь материал "Конармии" сплошная экзотика, и это становится особенно явственным, когда сравниваешь "лоскутность" "Конармии" с единством стиля "одесских рассказов" ("Для Мечика экзотичным был брянский и рязанский мужик"²⁰). Далее поясняется, что "особые упования у бабелевского героя были на религию...". И уж совсем невозможно ему было отрешиться от чар иудейской религии, впитанной с детства: "В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзры..."²¹. В. Архипов дает резкую "ответь" И. Эренбургу, посмевавшему назвать Исаака Бабеля гуманистом и ввести его в пантеон великих русских писателей-реалистов: "Все это трогательно и хорошо. Но точно ли это сказано и о Бабеле и о русской литературе? Думается, что нет, не точно. Гуманизм великих русских писателей от Гоголя до Горького просто немыслим, его не существует без гоголевского: "Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу..." Нет гуманизма русского писателя без этого, как и без горьковского: "Если враг не сдается, его уничтожают". И коли уж мы решили определять гуманизм Бабеля через гуманизм великих русских писателей, то мы обязаны сказать о патриотизме, о воинствующем гуманизме русской литературы и показать, как соотносится с этим гуманизм Бабеля, без чего наша параллель будет искусственной, мнимой. Но грустно сказать, да и умолчать нельзя: И. Эренбург не обмолвился о патриотизме русской литературы и о характере гуманизма Бабеля, не произнес прекрасного слова "патриотизм". А без него какой же может быть разговор о Гоголе, Горьком, Маяковском, — о русской литературе вообще, ее чаяниях и идеалах? А без этого можно ли определить место Бабеля в русской и советской литературе? Конечно же нет!"²².

Но если в русской литературе нельзя определить место Исаака Бабеля (или место Исааку Бабелю?!), так что же с ним делать? Что делать с ему подобными? У В. Архипова есть решение. Слегка подтасовав литературные факты, критик сообщает о нем цитатой из Бабеля же: "Ты меня врагом наделил, а

чем я тут виноват?" — спрашивает Мечик у эскадронного Баулина"... Прервем на минутку цитату, чтобы спросить себя: зачем все-таки это нужно, зачем Лютова, близкого автору героя-рассказчика "Конармии", подменять Мечиком, героем совсем другого произведения — романа Фадеева "Разгром". О, передержка эта есть выражение глубокого душевного подтекста, и она исполнена высокого идеологического смысла! Мечик-то, как его аттестуют во всех учебниках, "интеллигентшишка, испуганный революцией", у Фадеева он совершает прямое предательство и оказывается нравственно ниже героического уголовника Морозки. В системе В. Архипова назвать Лютова Мечиком значит почти напрямую обвинить расстрелянного писателя Бабеля в предательстве или — что еще хуже — в идеологии предательства. Статья датирована 1958 годом, но возвращает читателя к атмосфере 1938-го. И когда Архипов закончит цитату, мы услышим, как критик, присоединяясь к эскадронному Баулину, грозит писателю: "...Эскадронный поднял голову. — Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов... — На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задержал щекой. — Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием, — это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери..."²³.

"Пошел от нас!..." — вот и прозвучало во всеуслышанье национально-радикальное решение сугубо литературного вопроса!

Семидесятые годы...

Последняя беседа с С. Буденным на "литературные темы" состоялась в 1969 году, а вел ее Аркадий Первенцев. Интервью, опубликованное только в 1974 году, подано так, что не всегда ясно, что действительно сказано С. Буденным, а что домысленно самим интервьюером. Да, впрочем, это и не суть важно, так как мнения участников беседы не очень-то разнились друг от друга. Да и сами мысли не новы — все те же поправки одесским жаргоном, те же ссылки на конармейцев, которым "Конармия" пришлось не по вкусу, все те же рас-

суждения о легкомысленной форме ("нельзя делать из Конной армии хохму"). Только четче говорится о том, что "были пламенные бойцы, и были обозники, соглада-тай". И еще добавлено, что книга И. Бабеля, "написанная в юмористической форме, с использованием одесского жаргона, с перенесением понятных и близких писателю образов одесситов в среду бойцов революционной армии, встретила ликующее одобрение прежде всего одесситов"²⁵.

Круг замкнулся: Исаак Бабель писал по-одесски, писал про одесситов, писал для одесситов. Оставалось только приподнять стыдливую завесу слов "Одесса", "по-одесски", "одесситы", но сделать это в официальной советской печати было все-таки неудобно. Или только несвоевременно?!

А в неофициальной?

"Беседа" с "уважаемым в Советском Союзе" русским литератором, опубликованная на Западе, свидетельствует, что завесы давно отброшены, а к эвфемизмам прибегают только из тактических соображений. Все давно уже ясно всем. Кто, например, коверкал русский язык? Если без лишних слов и интеллигентских ухищрений, тот тут сомнений нет: "И вот именно этот язык, — поясняет "уважаемый литератор", — стал чудовищно портиться и загаживаться еще задолго до революции. Стихия газеты, стихия журналистики, мешанины языковой хлынула туда, а когда, наконец, стало обновляться искусство, из разных городов и местечек пришло очень много евреев, которые стали метать жребий об одеждах искусства. И, конечно, на первых порах это казалось привлекательным малограмотному читателю, который, собственно, впервые раскрывал книгу, который чутко искал что-то новое, что казалось чем-то необыкновенным. Скажем, "Одесские рассказы" Бабеля или его "Кон-армия". Это было что-то необыкновенное, хотя ведь, если разобраться, принцип морали, нравственности, духовности, то, что составляло сердцевину великой русской литературы, — ими отвергается. На место этого принципа приходит другой принцип — эстетический... Таким образом, в литературе нашей это являлось довольно значительной угрозой, и механическими средствами бо-

роться с ними было смешно. Можно было кого-то репрессировать (хотя, скажем, по-гибло и очень много русских людей, и речь не об этом идет), но тем не менее такой путь, конечно, механический, был смешон"²⁶. Почему же литераторы-евреи проявили такое небрежение по отношению к великим традициям русской культуры? Абсолютно ясно: "Ведь евреи, — замечает "уважаемый литератор", — будучи даже гражданами нашей страны, все-таки сохраняют свое внутреннее национальное сознание. Так вот эти бойкие люди, одесская школа, к примеру — Бабель, Багрицкий..."²⁷.

Все, наконец, названо своими именами без экивоков. Буденновские традиции не пострадали. Они продолжены, развиты и обогащены в духе нового времени, требований эпохи. В кипении борьбы за равные права русские братья-пролетарии возлагали на социально-чуждых (с позиций истинно российских!) граждан-евреев вину за их аморальную тягу к морали. Нынче же на граждан-евреев, заскоружных в своей национальной ограниченности, возлагают вину за подрыв русских традиционных устоев. Меняется время, меняются слова. Но одно слово звучит неизменно — чужие! Что ж, к заключениям "уважаемого литератора" стоит прислушаться: "А что касается еврейства, то оно либо рассосется, либо будет иметь возможность покинуть, если оно не захочет ассимиляции, страну. Потому что ни в искусстве, ни в культуре не может быть человека, который бы не чувствовал себя до глубины души принадлежащим к той нации, от имени которой и от имени культуры которой он говорит. Это невозможно, это нонсенс"²⁸.

* * *

Сегодня и эти "рекомендации" не вызывают гнева. Только требуют выводов. Даже по части юбилеев. Юбилей Буденного-критика придется, само собой, отметить в России — ведь маршал так самоотверженно оборонял русскую словесность. А бабелевский? Уж коли уверили нас, что Бабель — писатель еврейский и только еврейский, то спорить не стоит, а к юбилею следует готовиться в Иерусалиме...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹С. Буденный "Баби́зм Бабе́ля из "Красной нови". "Октябрь", 1924 г., № 3, стр. 197.

²Там же.

³Там же, стр. 196.

⁴Там же, стр. 197.

⁵Там же, стр. 196.

⁶В. Вешнев "Поэзия бандитизма". "Молодая гвардия", 1924 г., № 7-8, стр. 274.

⁷Там же, стр. 278.

⁸Там же, стр. 278—280.

⁹А. Воронский "Литературные типы". "Круг", М., 1925 г., стр. 117.

¹⁰М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, М., 1953 г.

¹¹С. Буденный "Письмо в "Правду". 1928 г., 26 октября.

¹²Там же.

¹³М. Горький "Ответ С. Буденному". "Правда", 1928 г., 27 ноября.

¹⁴Ан. Тарасенков "За богатство и чистоту русского литературного языка!". "Новый мир", 1951 г., № 2.

¹⁵А. Макаров "Разговор по поводу". "Знамя", 1958 г., № 4, стр. 202.

¹⁶"Литературные акафисты". "Литературная газета", 1958 г., 24 апреля.

¹⁷В. Архипов "Уроки". "Нева", 1958 г., стр. 118.

¹⁸Там же, стр. 189. стр. 23.

¹⁹Там же, стр. 193.

²⁰Там же, стр. 195.

²¹Там же, стр. 192.

²²Там же, стр. 199.

²³Там же, стр. 194.

²⁴Аркадий Первенцев "Встреча с С. Буденным". "Подвиг", 1974 г., выпуск 9-й, стр. 23.

²⁵Там же.

²⁶"Не называя имен...". "Синтаксис", 1978 г., № 2, Париж, стр. 42. ("Интервью" сопровождается резко критической статьей редактора журнала А. Синявского).

²⁷Там же, стр. 41.

²⁸Там же, стр. 48.

Михаил ВАЙНШТЕЙН

РУССКАЯ ПАРТИЯ...

Готовность государства вкладывать в спорт огромные средства нередко позволяет ему добиваться заметных успехов в спортивных состязаниях. Так, Германия стала победительницей Олимпиады 1936 года, а в 1939 году на VIII шахматной олимпиаде в Буэнос-Айресе немецкая команда заняла первое место, хотя по уровню участников значительно уступала командам Франции, Польши, Голландии и Англии.

Можно сказать, что на сегодняшний день СССР — сильнейшая спортивная держава мира. Всем памяты события, предшествовавшие 22-м Олимпийским играм в Москве. Советский Союз придавал им совершенно исключительное политическое значение. Поэтому самые разные периодические издания были буквально заполнены экскурсами в область спорта. Даже научные издания не остались в стороне. К примеру, журнал "Советская этнография" опубликовал

две статьи, посвященные выставкам в Ленинграде: "Из истории спортивных игр народов мира" (в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого АН СССР) и "О национальных видах спорта в СССР".

Но главное было уделено проблемам приоритета. Этой теме посвятили серии статей журналы "Наука и жизнь" и "Огонек", газета "Советский спорт", многие другие популярные и специальные издания.

Советская традиция в освещении этих вопросов восходит к концу 40-х годов — периоду борьбы с "преклонением перед Западом" и "космополитизмом". Характерный пример: в книге, посвященной знаменитому борцу Ивану Поддубному, все его поражения объясняются либо "коварством иноземцев" (противник Ивана Поддубного будто бы вымазался прованским маслом), либо благородством Ивана Максимовича,

пожалевшего стареющего спортсмена (чемпиона мира Збышко-Цыганевича).

А вот как описывает подобный поединок Александр Блок, которого никак нельзя заподозрить в недостатке русского патриотизма: "Никогда не забуду, — пишет он в предисловии к поэме "Возмездие", — борьбу безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла собой совершенный музыкальный инструмент редкой красоты".

Особое внимание уделялось в 40-50-е годы "исправлению" истории шахмат. Впервые, была решительно отвергнута гипотеза о проникновении этой игры в Россию из Западной Европы. Почему-то более патриотичной была признана "восточная" гипотеза, согласно которой шахматы проникли в Древнюю Русь непосредственно из Индии и Персии. При этом решено было исключить из истории "сомнительный" Хазарский каганат. Даже сейчас шахматный словарь ограничивается общим указанием на волжско-каспийский путь, хотя ясно, что речь идет именно о Хазарском каганате.

В шахматах приняты стабильные названия дебютов. Иногда название связано с той или иной фигурой ("Дебют слона", "Дебют четырех коней"). В других случаях название указывает на страну, где впервые стала применяться данная система ("Французская защита", "Английское начало", "Испанская партия"). Наконец, есть и названия, в которых запечатлено имя шахматиста — создателя данной системы ("Защита Нимцовича", "Защита Грюнфельда", "Дебют Рети").

Естественно, в этом ряду представлена и Россия ("Русская партия", "Защита Аলেখина"). Однако в Советском Союзе пришли к выводу, что этого недостаточно, и стали усиленно акцентировать русские моменты. В результате система Савелия Григорьевича Тартаковера в ферзевом гамбите ныне именуется системой Бондаревского-Макагонова; защита Пирца, созданная до второй мировой войны югославским мастером Васей Пирцом, упорно называется в советских учебниках защитой Уфимцева. Лишь в последнее время, не желая ссориться с

влиятельной югославской федерацией, решили перейти на двойное название — защита Пирца-Уфимцева. Характерно, что учебник дебютов Панова в пяти изданиях (до 1973 года) именовал этот дебют защитой Уфимцева и лишь в шестом издании (1978 год) появилось двойное наименование.

Гамбит Блюменфельда (советского шахматного мастера) нынче именуется Волжским гамбитом. В 1980 году вышла книга Ю. С. Разуваева и В. И. Мурахвети "Акиба Рубинштейн". Там на странице 120 воспроизводится под №36 партия Рубинштейн — Шпильман (Вена, 1922 г.). В 1922 году в Вене был разыгран именно гамбит Блюменфельда, но в 1980 году московское издательство "Физкультура и спорт" засадило шахматных классиков за "Волжский гамбит", о котором они при жизни и слыхом не слыхали.

Второстепенному варианту защиты Нимцовича был присвоен статус самостоятельного дебюта и название — защита Рагозина. Система, редко употребляемая и поэтому не имеющая названия (В2-В4), стала величаться дебютом Сокольского, малоупотребительный вариант дебюта ферзевых пешек получил название дебюта Вересова. Не качеством, так количеством!

Не секрет, что международная шахматная жизнь довольно долго обходила Россию стороной. Это было связано, конечно, с общим культурным отставанием страны. Достаточно сказать, что первое первенство России было проведено в Москве лишь в 1899 году, тогда как выступление представителя России за рубежом состоялось еще в 1867 году в Париже. В Парижском международном турнире от России выступал известный шахматист, варшавский коммерсант Шимон Винавер. Любопытно, что и выступление первого собственно русского шахматиста в международном турнире состоялось по рекомендации того же Шимона Винавера. В 1881 году в Берлинском турнире играл Михаил Иванович Чигорин. Отметим, что непосредственным учителем Чигорина был петербургский шахматист Эммануил Степанович Шифферс. Ныне он упорно именуется обрусевшим немцем

(меньшее из зол), хотя несомненно был евреем...

Известно, что Чигорин дважды оспаривал звание чемпиона мира по шахматам в матче с Вильгельмом Стейницем — создателем современных позиционных шахмат. Чигорин стоял на позициях предшественников Стейница — Адольфа Андерсена и Цукерторта, представителей романтической школы комбинационных шахмат.

Еще незадолго до второй мировой войны советская шахматная школа характеризовала учение Стейница как передовое, а борьбу Чигорина против него сравнила с борьбой вооруженного копьем дикаря против современного человека, снабженного винчестером.

Однако в 40-е годы, когда пыльным цветом расцвел махровый русский шовинизм, Стейница и особенно Тарраша стали обвинять в узком догматизме, в недооценке эстетической стороны шахмат. В советской шахматной литературе Тарраш сделался такой же одиозной фигурой, как Вейсман, Морган и Мендель — в биологии. Но тут фальсификаторы столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что своим выдвижением на шахматный Олимп Чигорин обязан почти исключительно Стейницу. Именно он выбрал Чигорина своим противником как наиболее достойного соперника.

Современная практика оценивает силу шахматистов с помощью коэффициента, исчисляемого по системе профессора Эло. Анализ, проведенный с помощью этой системы, свидетельствует, что Чигорин в свое время не входил даже в первую десятку сильнейших шахматистов мира. Лишь после первого матча со Стейницем и успеха на Нью-йоркском международном турнире он выдвинулся в мировой табели на третье-четвертое место, вслед за Стейницем и Исидором Гунсбергом.

Замолчать эти очевидные факты было чрезвычайно трудно. Тем паче, что и Стейниц, и Тарраш, и Гунсберг восхищались игрой русского чемпиона, и уже по одному этому на них приходилось ссылаться...

Забавно, что приведенное выше сравнение Чигорина с дикарем принадлежит мастеру Василию Николаевичу Панову. Правда, сделано оно было еще до войны. После войны, учтя "социальный заказ", Панов круто изменил позицию, занявшись апологией Чигорина, а заодно и пропагандой антисемитизма, пытаясь свести старые счеты Чигорина с Семеном Захаровичем Алапиным. В шахматной иерархии России конца XIX века Алапину принадлежало третье место, вслед за Чигориным и Шифферсом.

Семен Захарович Алапин родился в Вильно в 1856 году. Учился он в Петербурге и еще в гимназические годы обратил на себя внимание оригинальной манерой игры. Первые же его официальные выступления были отмечены выдающимися успехами. В 1878-1879 годах он разделил в турнире первое и второе место с Чигориным. На международной арене он дебютировал в 1887 году в турнире во Франкфурте-на-Майне. Особенно же удачно он играл в матчах — выиграл у Курта Барделебена, у Левицкого и, что особенно важно, свел вничью с К.Шлехтером — одним из величайших шахматистов начала XX века.

Однако еще более известен Алапин своими теоретическими изысканиями, в этом смысле он, видимо, крупнейший русский теоретик. Его именем назван дебют, имя Алапина носит и система в испанской партии. Он очень много сделал для развития французской и сицилианской защиты и особенно гамбита Эванса. Как пишет шахматный словарь, дебютные идеи Алапина отражают его острое критическое мышление. Значительную известность Алапин приобрел и как журналист, неустанно пропагандировавший шахматное искусство.

Алапин был страстным поклонником Стейница. Рассказывают анекдот: работая в западном краю лесничим, он случайно узнал, что в Вене играет Стейниц. Алапин как был — заросший бородой, в сапогах и армяке — ринулся в Вену и, войдя в зал, сразу же кинулся к Стейницу и стал целовать ему руку. Увидев страшную фигуру, Стейниц в ужасе отшатнулся и стал звать на помощь...

Так это или нет, но бесспорно, что Алапин был преданным поклонником Стейница и ощутимо помог ему, указав правильную защиту в гамбите Эванса, которым охотно пользовался Чигорин. Сам Алапин этого не скрывал и рассказывал о своем варианте на публичных лекциях в Петербурге, собиравших многочисленную аудиторию. Однако антисемитская пресса, возглавляемая Сувориным, начала травлю Алапина, именуя его изменником отечества. А в одной из статей было добавлено: "Если он таковое вообще признает".

Немного позднее в журнале "Будильник" появилась карикатура, где действия Алапина (помощь Стейницу) именовались подвохом, а сам Алапин был изображен в виде... свиньи.

Антисемитизм в шахматном собрании в Петербурге достиг такого накала, что большая группа шахматистов во главе с Алапиным и Шифферсом вышла из него, создав отдельное шахматное общество. О том, что в числе ушедших был и Шифферс, советская пресса обычно умалчивает, зато Алапина обвиняет во всех смертных грехах.

Характерный пример — книга того же Панова "М. И. Чигорин", вышедшая в издательстве "Физкультура и спорт" в 1963 году. В этой книге есть все: и антисемитская карикатура из "Будильника" (едва ли не единственная, перепечатанная из дореволюционного издания), и обвинения в инсинуациях против Чигорина, и многое другое. Например, сообщая о том, что вдова Чигорина передала архив своего мужа Алапину, Панов тут же обвиняет Алапина в сокрытии этого архива и называет его злым гением Чигорина. Даже надпись на венке (по случаю переноса праха Чигорина в 1914 году в Петербург), присланном Алапиным, Панов рассматривает как пасквиль на Чигорина, поскольку там он назван лишь талантливым, в то время, как его надлежало именовать гениальным...

Кстати, вопрос о помощи одного шахматиста другому вовсе не так прост. Тот же Панов, рассказывая об Алехине и его одиночестве на первом матче с Эйве в Голландии, добрым словом поминает голландского мастера Ландау, который бескорыстно помогал Алехину в его матче с чемпионом Голландии. Печально, но в 1942 году, когда началась депортация голландских евреев и Эйве обратился к Алехину с просьбой помочь Ландау, Алехин уклонился. К тому времени он уже был автором статьи о роли евреев в шахматах, полной антисемитских выпадов. Почему-то советская пресса никогда не упоминает об этой статье, напечатанной в издававшейся в Париже нацистской газете.

Клеветнические измышления Панова были почти дословно повторены в книге о Чигорине (серия "Замечательные шахматисты"), написанной Е. Васюковым, А. Наркевичем и А. Никитиным.

Но еще показательнее другое. В книге И. Линдера "Первые русские шахматисты" не нашлось места для отдельной статьи об Алапине. Вместо него фигурируют два любителя — А. Соловьев и А. Хардин. Последний известен главным образом тем, что у него — присяжного поверенного — проходил практику Владимир Ильич Ленин. Ни Соловьев, ни Хардин никакого влияния на историю русских шахмат не оказали.

Впрочем, "не повезло" не только Алапину. Напрасно читатель будет искать в этой объемистой книге партии Шимона Авраамовича Винавера или Соломона Григорьевича Сальве — сильнейших шахматистов России конца XIX — начала XX века. Советские шахматные идеологи, конечно, радуют о приоритете и славе российских шахмат. Но лишь при условии, что эта слава творилась "чистыми", сугубо русскими руками.

Савелий ДУДАКОВ

ТАЛИСМАН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Находясь в ссылке в селе Михайловском А. С. Пушкин между августом 1824 г. и первой половиной 1825 г. создал одно из своих самых беспросветных по настроению стихотворений – "Храни меня, мой талисман..." Это было после разлуки с горячо любимой им Елизаветой Ксавьерьевной Воронцовой, до получения от нее первых писем.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи –
Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,
На ложе скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пушай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье,
Прощай надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.

"Талисманом" называл А. С. Пушкин свой золотой перстень с восьмиугольной сердоликовой печатькой, на которой были вырезаны таинственные письмена и виноградные гроздья. Перстень этот был подарен поэту перед его отправкой в ссылку "в далекий северный уезд" графиней Е. К. Воронцовой на даче Рено близ Одессы. Этому же перстню в 1827 году Пушкин посвятил другое стихотворение – "Талисман", где, романтически описывая, как он был вручен ему любимой "в сладкий час вечерней мглы", вкладывал в ее уста обещание:

"Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!"

На листках черновика этого стихотворения поэт поставил пять оттисков сердоликового перстня. "Талисманом" запечатывал Пушкин все свои письма. Сестра поэта, О. С. Павлищева, рассказывала, что когда из Одессы приходило письмо, запечатанное сургучом с отпечатком, изукрашенным точно такими же каббалистическими знаками, какие находились на перстне ее брата (Воронцова сняла для себя копию с камня-инталье, подаренного ею), то он запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал. В начале 1825 г. Пушкин пишет стихотворение "Сожженное письмо" ("Прощай, письмо любви! прощай, она велела"), навеянное просьбой Е. К. Воронцовой уничтожить компрометирующее ее письмо. И в этой исповеди фигурирует заветная печать.

"Уж перстня верного утрата
впечатленье,
Растопленный сургуч кипит..."

В 1835 г. Пушкин нарисовал на черновой рукописи перстень ("талисман") на указательном пальце левой руки. На портрете же поэта, написанном В. А. Тропининым в 1827 г., печать изображена на большом пальце правой руки. Александр Сергеевич никогда не расставался с этим кольцом и до конца дней не снимал его. На дуэль, на Черную речку, он также отправился с "талисманом", веря в его магическую силу, забыв предупреждение дарительницы.

"В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман".

Снять перстень с мертвой руки Пушкина пришлось В. А. Жуковскому, которому он

завещал его на смертном одре. П. В. Анненков в своих воспоминаниях писал: "Пушкин, по известной склонности своей к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то каббалистическими знаками и бережно хранимого им".

П. В. Анненков и С. А. Соболевский сообщали, что перстень находится во владении В. И. Даля. В записке же И. С. Тургенева, написанной в Париже в 1880 г., ныне хранимой в фондах музея А. С. Пушкина, говорится: "От Жуковского перстень перешел к его сыну, Павлу Васильевичу, который подарил его мне". В. Б. Пассек после одной из встреч с И. С. Тургеневым записал его слова: "Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет и "его час", граф Толстой передал бы мой перстень, по своему выбору, достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями".

После смерти Тургенева Полина Виардо передала пушкинский "талисман" музею Александровского лицея, из которого в марте 1917 г. он был похищен. Были сообщения (отмеченные в советской прессе) о том, что след перстня-талисмана будто бы недавно отыскан в Италии. Достоверность этого сообщения не проверена, да и вполне возможно, что это был перстень-близнец, оставшийся у Е. К. Воронцовой. Лишь после возвращения перстня в Россию в 1880-ых гг. эксперты определили, что талисман с таинственными письменами оказался еврейской именной печатью с вырезанной раввинским полукурсивом надписью на иврите. В описаниях императорского Александровского лицея, изданных в 1899 г., дается прочтение сокращенной надписи "Симха бен р. Йосеф старый п. б.". Здесь расшифровка не совсем точна: слово, прочитанное как *бен*, в действительности состоит из букв *ל* (*бет*) и *ס*

(*каф*), что вместе с последующим *ר* (*resh*) составляет аббревиатуру слов *בן כבוד רבי* т. е. "сын почтенного раби". На иврите, — *ל"ל שמה בכר יוסף הקדוש ז"ל* (Симха б[ен] к[вод] р[аби] Йосеф а-закен з[ихроно] л[и-враха]). Следовательно, вся надпись гласит: "Симха, сын почтенного раби Йосефа умудренного, да будет память его благословенна". Слово *закен* (буквально "старый", "старик") обычно употребляется в еврейской эпитафике в качестве почетного титула. Хозяин перстня Симха, видимо, также был почитаемым членом общины.

Еврейское происхождение пушкинского "талисмана" долго не вызывало сомнения. Однако в статье кандидата геолого-минералогических наук Н. В. Супрычева "Легендарный камень сердолик" ("Наука и жизнь", № 3, 1979) сообщается: "Стиль надписи, по мнению некоторых специалистов, указывает на крымско-караимское происхождение перстня. Надпись на камне, возможно, сделана в Чуфут-Кале в Крыму".

"Возможно!" — Все, конечно, возможно. Но хочется все же, чтобы были приведены доказательства крымско-караимского происхождения печати. Как, например, быть с тем фактом, что надпись выполнена курсивными (раввинскими) буквами, которые вплоть до нашего столетия употребляли только европейские евреи и которых не знали евреи восточных общин, не говоря уж о караимах? Как быть с титулом "раби", и вовсе невозможным у караимов, антираввинистов? Н. Супрычев, геолог, возможно, считает, что сам сердолик свидетельствует о крымском происхождении камня? Но нет — ступив на твердую почву своей профессии, Н. Супрычев осмотрительно заявляет, что сердолик "скорее всего не местный, а с Ближнего Востока".

Интересно отметить, что, по свидетельству друзей и близких Ю. Н. Тынянова, он считал факт принадлежности Пушкину "талисмана" знаменем, т. к. выдающегося писателя и ученого преследовала мысль о еврейском, точнее фалашском происхождении прадеда Александра Сергеевича — "арапа Петра Великого", Абрама Ганнибала.

М. К.

РАБИ АКИВА И НАШИ ПРЕТЕНЗИИ

Известна ли вам история о том, как одному еврею приснилось, что в таком-то городе, у таких-то ворот он найдет клад? Дальше история складывается так: еврей отправился в тот город, и пошел к тем воротам, и искал там клад. И встретил начальника городской стражи, который, узнав причину поисков, рассмеялся и сказал: "Ну, знаешь... Если уж верить снам!.. Мне вот приснилось, что богатейший клад спрятан под полом в доме одного еврея...". И он назвал имя нашего искателя кладов. Тот поспешно вернулся домой, вскрыл пол и нашел клад.

Как вам эта история?

Чему она нас учит? Тому ли, что не стоит свое искать у других? Или тому, что только от других мы можем узнать, какой клад втуне хранится у нас? А может, тому, что прежде, чем отправляться в дальние поиски, следует внимательно поискать у себя дома? А возможно, она нас учит и еще чему-то, чего мы сейчас не понимаем, потому что такие истории скрывают много поучительных парадоксов...

* * *

Издательство "Библиотека-Алия" выпустило монографию о раби Акиве, "чье имя прославлено во всю длину и ширину мира". Его галахическая система была важнейшим элементом той основы, которая позволила впоследствии сохранить Устное Учение (Тора шебеальпэ). Выработанная им диалектика была фундаментом для всех последующих раввинских рассуждений, а влияние на сформулированные позже системы еврейского права, этики и теологии неизмеримо. Нет другого мудреца в Талмуде, который наложил бы на еврейскую мысль такой неизгладимый отпечаток. Законоучители следующего поколения были его учениками. Дошедшие до нашего времени древние сборники раввинской мысли — Мишна, Тосефта, Сифра и Сифрей — во многом обязаны ему своим существованием. Народ почитал раби Акиву чуть ли не как воплощение Моисея, и здесь сыграли свою роль такие события

жизни Акивы, как поддержка, оказанная им восстанию Бар-Кохбы, и его мученическая смерть.

Луи Финкельштайн, автор монографии, — американский еврей, консервативный раввин, историк, теолог, писатель. Он автор и редактор книг и статей по общим проблемам религии, культуры и этики. Он глубокий исследователь фарисейства, главного духовного течения в еврействе в века, предшествовавшие разрушению Второго Храма.

Говорят, что мы, евреи, прилетели с Марса — такие мы непохожие на все другие народы. Еще говорят, что в любую культуру мы вносим свое, и такое, что может совершенно изменить облик этой "любой" культуры. Толкуют, что мы и европейцы, и мы же — азиаты. Что всюду мы чужие, куда бы ни попали. И даже в своей собственной стране мы одиноки и окружены враждебными народами, как и всюду, где бы мы ни оказались.

Цивилизацию Западной Римской империи уничтожили вандалы. Философские школы переместились из Греции в Парфию. В Европе шестого-восьмого веков умение писать стало редким искусством. Библиотеки были сожжены, произведения искусства разбиты, богатства расхищены.

Развевали хаос и восстановили цивилизованную жизнь христианская церковь, халифат и раввинские академии Европы и Северной Африки. Крохи учености, оставшиеся в Западной Европе, сохранила церковь. Переписчиками и учеными были священники и монахи. Но многое из греческой мудрости и учености проникло в пределы христианских стран.

Вдохновленная заимствованным из Библии учением Мухаммада, возникла исламская империя. Арабы стали учениками греческих философов, живших в Персии. Арабы доставили греческую мудрость к порогу Европы.

Единственным поголовно грамотным народом Европы были евреи. А произошло это потому, что некогда раби Акива требовал учения (имея в виду, конечно, изучение

Торы) как исполнения первостепенной обязанности — даже перед лицом смертельной опасности и самых жестоких преследований. Через двадцать лет после казни Акивы его ученики основали новую академию в Галилее, а от нее пошли выдающиеся школы в Вавилонии, а затем и по всему еврейскому рассеянию.

Чувствительность к культуре, к науке, к учению со времен Акивы навсегда стала свойственной еврейству. Еврейские ученые оказались посредниками между христианским и мусульманским миром. И греческая мудрость переступила порог Европы благодаря переводам еврейских ученых с арабского на латынь.

На развитие культуры европейского средневековья влияли не только упомянутые переводы, но и первые университеты, открытие которых явилось одним из признаков европейского пробуждения. А повлияли на создание европейских университетов уже существовавшие раввинские академии и вся тогдашняя система еврейского всеобщего образования, созданная некогда по требованию раби Акивы.

В еврейской истории были подходящие моменты, когда мы могли одним махом стать левантийским народом. Накануне, например, восстания Макавеев мы могли бы, подавившись насильственной эллинизации, уподобиться другим народам эллинистического мира и раствориться среди них, сняв тем самым с потомков "еврейский вопрос" на веки вечные. Был такой шанс и во времена раби Акивы — нужно было перестать заниматься своими еврейскими делами и обратиться к проблемам, которые тогда считались универсальными. (Не забавно ли, что в разные эпохи бывает разная универсальность?) Ценою за уподобление и растворение всегда была наша особость. Вероятно, та самая, за которую окружающие народы считают нас чужими. Та самая наша особость, которая до сих пор спасала мир.

На авторов, заложивших основы современной философии, — от Фомы Аквинского до Спинозы, — повлияли идеи Маймонида, Гершонида и Крескаса. Если учение Спинозы есть способ мышления, пишет Луи Фин-

кельштайн, то этот способ мышления восходит к Акиве. Акива говорил, что богослужение есть выражение любви, а учение — высшая форма служения Богу. Позже Спиноза скажет об "интеллектуальной любви к Богу". Свобода и терпимость еврейской мысли в значительной степени есть следствие утверждения Акивой своего права быть самим собой, быть оригинальным. Не здесь ли основы и корни европейского философского индивидуализма? Проблемы мира, социальных прав, статуса женщины, всеобщего образования и поныне приходится обсуждать — не странно ли, что решения, предложенные Акивой, оказываются применимыми к этим проблемам и сейчас?

Эти, перечисленные, и другие вопросы обсуждались раби Акивой и его коллегами в сугубо еврейском контексте. Луи Финкельштайн предпочитает обходить, не подчеркивать это обстоятельство, но рассматривать деятельность раби Акивы больше в плане универсальном. Возможно, что и так. Мы это видели.

А раби Акива изучал Тору, считая, что в ней важны не только каждое слово и каждая буква, но и каждая из коронок, украшающих буквы. На этой скрупулезности и углубленности он строил свое толкование Пятикнижия. Именно такое сосредоточение на чисто местных, как говорится, проблемах, замкнутость на только своих, сугубо национальных делах и превратили деятельность раби Акивы в явление универсального значения.

Указывают на несколько причин отсутствия жанра биографии в еврейской литературе. Антипатия к биографии как таковой, вероятно, отражает специфику еврейского мышления. Личность, признанная субъектом этической проповеди, не имела значения для составителя Хроник. И вплоть до наших дней еврейская религиозная литература отличается обилием писательских псевдонимов.

Другая причина в том, что для еврейских ученых мудрецы Талмуда были скорее современниками, нежели персонажами далекого прошлого. Талмудический мир был для них такой же частью жизни, как улочки и переулки их собственных городков. Изучение этого мира было для них не только

религиозной обязанностью, но и интеллектуальным наслаждением. Мудрецы Талмуда были их постоянными спутниками, они принимали их в свою жизнь и не стремились оценивать их место в мировой истории.

А талантливые переводчики, популяризаторы Библии не интересовались Талмудом, и, во всяком случае, они не смогли проникнуть в него. Необычная диалектика Талмуда, своеобразный язык, малопонятная терминология их обескураживали.

Переводы могут устранить языковое препятствие на пути к изучению Талмуда. Но остаются неясности намеков, сжатость стиля, своеобразие аргументов — они-то и превращают изучение Талмуда в дело целой жизни. Введением в дух Талмуда может, по мнению Л. Финкельштейна, служить лишь биография. Он поставил своей целью дать читателю возможность видеть раби Акиву не через свое посредничество, но так, как он, раби Акива, выступает на страницах Талмуда.

Луи Финкельштейн исследует личность раби Акивы, реконструируя социальные конфликты его времени. Интеллектуально и духовно это был один из самых продуктивных периодов истории человечества. Он прославлен новыми мыслями, возрождением идеалов, отчаянно смелыми предприятиями, обилием творческих личностей, героев-мучеников и мудрецов-учителей. За сто с лишним лет крошечная страна дала миру раввинский иудаизм и христианство, — отмечает Л. Финкельштейн и подчеркивает, что этот фундаментальный вклад в цивилизацию замечателен при всех условиях; он потрясает и кажется невероятным, если вспомнить о политическом упадке, социальной раздробленности и экономическом хаосе тех времен.

Материалом же для автора биографии были афоризмы и остроумные ответы раби Акивы, искусные его аргументы и глубокие решения важных проблем, зрелая его теология, педагогический метод и памятные события его жизни: необычная история его женитьбы, внезапный поворот судьбы, возвысивший его до положения народного вождя, и мученическая смерть.

Почему мы так хотим быть похожими на других? Почему часто стараемся создать

нечто такое, что было бы "не хуже" того, что создается в европейско-американской культуре?

Мы знаем, что деятельность наших предков, сосредоточенная на национальных, еврейских проблемах, обусловила и толкнула развитие европейской культуры. Но ветхая идея левантизации не дает нам покоя...

Если культура трех с лишним миллионов евреев, живущих в Израиле, измеряет свой возраст возрастом репатриации, поселений и Войны за независимость — где уж ей тягаться с многовековой европейско-американской культурой! Тогда она может соревноваться разве что со странами третьего мира. Они тоже недавно освободились от колониализма и работают сейчас над созданием своих культур, открыто и тщательно подражая европейцам, а особенно — американцам. Неужто отныне и нам суждены только подражания и подделки?

Если же современная израильская культура включает себя в еврейскую цивилизацию, которая есть часть древней мировой цивилизации, тогда претензии к самим себе должны быть у нас совсем иные.

Яков АШКЕНАЗИ

ПРИТЧА О НЕГАСИМОЙ СВЕЧЕ

Когда в зарубежной печати пишут о превосходных произведениях, изданных в СССР, традиционным становится начало: "Как же ему (ей) удалось это напечатать?" Конечно, напечатать в Союзе хорошую книгу — чудо. Но когда я читал роман Григория Кановича "Слезы и молитвы дураков", изданный в Вильнюсе в 1983 г., то думал о другом: как удалось — написать?..

Существует мнение, распространенное не только среди западных обывателей, но и среди читателей в Союзе: якобы пробиться в советскую печать можно одним способом — написать нечто угодное власти и восхва-

Г. Канович, "Слезы и молитвы дураков". Вильнюс, изд.-во "Вага", 1983.

лять коммунистическую партию и ее политику. Тогда, мол, при любой бездарности тебя напечатают. Но реальный процесс складывается не всегда так. Если начинающий и вдобавок не имеющий протекции (в отделе пропаганды) автор принесет верно-подданническую рукопись в редакцию, ее "завернут" обратно, предварительно дав заработать на ней своему человеку, внутреннему рецензенту. Как справедливо заметил покойный критик Илья Рубин, "...с чего бы стала Власть оплачивать благодарственные молебны, когда искренно убеждена, что всецело их заслуживает? Вздумай наши свиньи щедро награждать каждый вопль: "Слава родной партии!!! Слава советскому правительству!!!!" — это было бы так же нелепо, как Шаляпину — оплачивать комплименты своему певческому таланту, или Мэрилин Монро — отдаваться всякому проходимцу, похвалившему ее грудь". На самом деле, единственный серьезный способ пробиться "в свет" заключается в следующем: нужно написать книгу **во всю меру** своего таланта и своего понимания правды жизни, не приспособивая ее даже к "внутреннему редактору". После этого рукопись относится к редактору издательства, которого только так она может заинтересовать **лично**. И в этом случае он "вобьет" ее в план и сам или совместно с автором "доведет до нужной кондиции", стараясь отделаться от начальства минимумом уступок. Вот так процесс происходит — иначе откуда в Союзе появились бы Окуджава и Белов, Трифонов и Шукшин, Эйдельман и Стругацкие и многие, многие другие...

Длинное "начало-отступление" понадобилось мне, чтобы сказать: удивительно не только то, что Кановича напечатали, — удивительна книга Кановича, прежде всего как подлинный феномен искусства, независимо от того, где и когда, при какой власти она написана, и чудо ее возникновения поразило бы нас и в Израиле так же, как в Союзе. Это чудо **написания** настоящей книги, которая отразила мир, воскрешенный воображением писателя, мир, отразивший душу народа и искру Бога, которая хранится в этой душе.

Место действия романа Г. Кановича — небольшое еврейское местечко в Литве. Время действия — конец прошлого века. В зарубежной русской литературе нередки и теперь мотивы ностальгии по старой России: там, мол, люди в Бога верили и не было зверств и жестокостей ВЧК-КГБ, да и не могло их быть; там мирно трудились никем еще не раскулаченные крестьяне; там государство не вмешивалось в повседневную жизнь человека, а народ хоть и пьянствовал, но в твердом понимании, что делать это все-таки нехорошо... И так далее. Суть сей литературной ностальгии по "добрым старым временам" сводится к тому, что хоть и не все было в царской России хорошо, реформаторы-нигилисты-революционеры принесли в семнадцатом году в Россию еще худшее, еще более сатанинское... Оспорить этот последний тезис невозможно, но в Союзе я, углубившись серьезно в историю народничества, узнал — вдруг, и для себя неожиданно, — что жизнь России во второй половине XIX века необыкновенно напоминала **современную** мне советскую жизнь. Не СССР времен Сталина с раскулачиванием, "ежовщиной" и "борьбой с космополитизмом", с миллионами смертей в ГУЛаге, а современную мне, по-своему сытую и относительно либеральную советскую жизнь 60-х гг., когда не высунешься, так тебя и не заметут, и вещички приобретать можно, и детям образование вполне можно дать, и дачу построить... Думается, не случайно именно в общественной атмосфере **сегодняшнего**, а не сталинско-хрущевского Союза родилась книга Г. Кановича — книга "о слезах и молитвах дураков", которые жили и все еще живут в России, и о свече надежды, которая горит в сердцах таких дураков, — надежды на пришествие Бога или Его посланца. Ждут от этого Божьего вестника не сытости, не достатка, а правды и справедливости, без которых нет счастья никому из них, вечных российских "дураков", в том числе и дураков еврейского происхождения.

Канович вскрыл еще один слой русской жизни — национальный. Когда современные идеализаторы старой России вспоминают, как тогда неплохо жилось, забы-

вают начисто, например, что украинский язык был десятилетиями запрещен в качестве языка литературного; что за белорусами вообще не признавались права на национальное существование, так же, как, впрочем, и за эстонцами ("таких народов вообще не существует"); что поляки и мусульмане были постоянными объектами шовинистического унижения в печати и в быту и т. д. Я умышленно не упоминал в этом ряду евреев, ибо угнетение шести миллионов евреев (почти 4% населения империи!) было общепризнанным и даже как бы морально узаконенным, почти оправданным фактом имперской жизни. Тома инструкций и ограничений опутывали жизнь евреев России, и тома эти оправдывались религиозными соображениями. На самом же деле угнетение евреев просто находилось на **острие** того широкого топора, которым сокрушали **все** без исключения народы империи.

Г. Канович это показал. В его романе представители власти никого не убивают и никого прямо не подавляют. С мастерством истинного художника он создал образ единоличного начальника в глухом местечке — урядника Ардальона Игнатича Нестеровича. Урядник несчастен в этом забытом краю, где детям его негде учиться, где не с кем всласть поговорить по-русски, и единственная утеха его жизни — сбор грибов, и единственная мечта — что проедет когда-нибудь по тракту царь в Германию и отведаст его, Нестеровича, грибков из особой "царской кадки". Но дали приказание — изловить террориста-еврея, и одновременно в местечке появился странный еврей. (Это, как выясняется в конце романа, сошедший с ума после смерти первенца сапожник, вообразивший себя посланцем Бога на Земле, которого, мол, пустят на небо по лестнице в Судный день.) И урядник арестовывает сапожника Цви Ашкенази. Разобравшись же — отпускает. Эпизод последней беседы урядника с Цви — одно из лучших, наиболее художественных мест книги:

"Иди, — сказал Нестерович. — ...Хорошо тому, кто не думает... или думает, как все... Иди! Если Господь спустит тебе лестницу, и ты живой поднимешься по ней, ты вот что Ему скажи. Есть в Рос-

сийской империи такой Ардальон Игнатьевич Нестерович... Пил я у него в горнице парное молоко с ржаным хлебом... сидел в саду под яблоней без документа... и мог бы меня он, Ардальон Нестерович не отпустить, но отпустил, потому что иногда... во искупление своих грехов и токмо для очистки совести... втихомолку, когда вокруг ни души, поступает и думает не так, как урядник. Скажешь?

— Скажу, — ответил человек в ермолке.

— Ну и ладно, — пробормотал Ардальон Игнатьевич, подтянул штаны и крикнул: — И еще у меня просьба. Правда, не к вашему богу, а к нашему... Они, наверно, там наверху встречаются?

— Встречаются, — подтвердил пришелец.

— Пусть шепнет нашему, чтоб государь-император в гости к кайзеру собрался, грибков из царской кадки отведал... А то солим, солим, а он все не едет.

Ардальон Игнатьевич смутился, прыснул, прикрыл рот рукой и сказал:

— Кажись, и я маленько того... С кем поведешься, от того и наберешься. Прощай, Цви Ашкенази!

Нестерович проводил его взглядом до поселка и, одинокий, сгорбленный, с казакской шашкой на боку, поплелся в избу".

Вот так написан этот роман. И урядник в нем — хороший человек, поступающий, по возможности, по совести. И корчмарь — хороший человек. И дочка фабриканта. И владельцы крупнейшего в местечке магазина. У всех есть совесть в душе, сознание Бога. И в то же время **вся** жизнь устроена так, что хорошими они — в том числе и урядник Ардальон Игнатьевич — могут быть только когда они — **одни**. Когда никто из ближних не видит. Потому что над этими, по-своему хорошими людьми господствует бесчеловечный "порядок", которого они боятся, которому без охоты повинуются, но который исполняют. Тот "порядок", который завершился первой мировой войной, убийством двадцати миллионов (!) человек ради целей бессмысленных и аморальных и крахом империи, неизбежным после такого потрясения.

Когда читаешь роман Г. Кановича с этим порядочным урядником, трагическим

корчмарем Ешуа (то есть Иисусом) — имя, конечно, дано символически, и как не вспомнить Блока: "Я пригвожден к кабацкой стойке!" — и сумасшедшим Цви, думаешь: вот и ответ на вопрос — была ли неизбежна революция в России?

Революция становилась неизбежной в мире, где "порядок" противоречил совести, внутреннему закону справедливости... Разве революция тогда произошла только в России? А в Германии, Австрии, Турции, Испании, Португалии? А общественный переворот во Франции ("Народный фронт") и в Англии (приход к власти лейбористов)? Это все были явления одного ряда, это было историческое Осуждение мира, который описал Г. Канович. В его литовском еврейском местечке, как в капле, отразилась вся тогдашняя Европа, обреченная на гибель, ждущая своего могильщика.

Могильщиком будет тот, кто начнет говорить от имени Бога. Я не знаю другого произведения, где бы так выразительно был описан мессианский настрой душ, готовых в любую минуту бросить все найтое и пойти искать правду — за Баал-Шем-Товом, за Шабтаем Цви (и посланцы действительно явились, да только не от Бога, и увлекли посулами грядущего рая всех жаждущих и взыскующих правды — во имя "коммунизма").

Еврейские персонажи романа отличаются от нееврейских, пожалуй, лишь тем, что евреи умеют, привыкли облекать общее для всех настроение сначала в мысли, а потом и в слова — **выражать** то, что чувствует в душе каждый из потомков Адама.

И зловещим пророчеством неизбежного исторического будущего России служат слова старого Рахмизла в финале произведения:

— Страшно, — сказал Рахмизл, — когда у тебя все отнимают дважды: сначала то, что у тебя есть, потом то, чего нет, но во что ты веришь.

Книга Григория Кановича — это книга о Божьем духе в сердце каждого человека; если порой его персонажи слабы и предают ближних — то по слабости, не по злобе. Но чаще они доверчивы и безумно напуганы жизнью — недаром

слово "дурак" вынесено в заглавие, и недаром книга кончается трагически: помешавшись после самоубийства матери, сын корчмаря Семен убивает "божьего посланца" Цви Ашкенази. Это тоже пророчество: что именно в будущем ждет "божьих посланцев" в России... И все-таки это не трагическая, а светлая книга, и после ее прочтения будто умыта душа — потому что она рассказывает о негасимой свече надежды, свече веры в правду и справедливость для всех народов Земли и для нашего народа тоже, — несмотря и вопреки всему — потому что это свеча Бога на Земле.

Даже советский критик почувствовал это и назвал "Слезы и молитвы дураков" притчей. Так оно и есть.

Михаил ХЕЙФЕЦ

КРУГОМ ОДНИ ЕВРЕИ...

Давно-давно, в конце 20-х, в журнале "Чудак" была опубликована коллекция фотопортретов под общим заголовком "Говорят, что...". Так вот, говорили, что "Станиславский — еврей. Настоящая фамилия — Станиславкер", "Горький — еврей. Настоящая фамилия Пешкис", "Ильф и Петров — по слухам, оба один еврей" и т. д.

Воспоминание об этих невинных юмористических упражнениях пробуждается, когда мне говорят, что "элита русского общества имела еврейские корни" (стр. 58) или что "народное самоназвание "Расея", "расейский" полностью соответствует слову *רוסי*, произнесенному по-славянски" (стр. 20).

Небольшая монография Ирмы Хайнман, из которой взяты приведенные цитаты, посвящена самому сложному моменту русской истории — проблеме происхождения Руси — и претендует на окончательное решение русского вопроса.

Интерес еврейского историка к данной теме оправдан хотя бы тем, что научная

Ирма Хайнман, "Еврейская диаспора и Русь". Иерусалим, 1983. 93 стр. (Библиография — стр. 80–92)

постановка проблем генезиса русской государственности невозможна без обращения к вопросу о роли хазар в данном процессе. С наибольшей резкостью хазарский аспект был подчеркнут в работе В. А. Пархоменко (нееврея) "Русь и Хазария" ("Slavia", 1923), по концепции которого древнерусское государственное образование возникло в недрах Хазарского каганата как его составная часть, а затем, проявив сепаратистские тенденции, отделилось и начало самостоятельное существование. Именно этим Пархоменко объяснял то удивительное обстоятельство, что в древнерусских источниках умолчание обо всем, что касается хазар, сочетается с невиданной напряженностью русско-хазарских отношений, вылившейся в стратегически бессмысленный поход Святослава и разрушение столицы каганата — города Итиль.

Но наш автор уверенно ступает на еще более заповедный путь: не Хазария, не Итиль, сама Русь властно интригует его. За исходный пункт своих размышлений Ирма Хайнман принимает непопулярный в советской науке, но научно бесспорный факт, что племя, известное под именем "Русь" или "Рось", этнически ни с русскими, ни вообще со славянами ничего общего не имело. Из этого правильного положения делается вывод: значит, они были евреями. Такому выводу противоречит все, что мы знаем о русах (этого "всего" — немного, но гипотеза тем более должна учитывать факты). Ирма Хайнман не закрывает глаза на это обстоятельство и выдвигает предположение, компромиссный характер которого не затмевает его революционности: это были евреи, но отпавшие от иудаизма. Основанием гипотезы служит то, что отпавшего от иудаизма еврея могли обзывать *раша* (רשע) — "злодей, преступник". Никакие источники ничего о неиудейских евреях в районе Таманского полуострова (то есть там, где проживало племя "Русь") не сообщают. Более того, говоря о племени "Русь", источники всегда отделяют его от живших в том же районе иранцев, греков и евреев. Значит, заключает г-жа Хайнман, — это были эллинизированные иудеи. Эллинизация, как мы знаем, есть податливость соблазну греческой культуры. Но почему же тогда переход из

иудаизма в эллинизм вылился у русов в практикование погребения трупа вместе с конем и любимой женой? Я считаю такой взгляд клеветой на эллинов.

Отмеченный Г. П. Федотовым факт невнимания древнерусского духовенства к вопросам теологии и ограничения богословских занятий исключительно сравнением Ветхого и Нового заветов вызывает следующую реплику автора: "Если принять, что элита русского общества имела еврейские корни и была достаточно хорошо образована, то самым разумным способом защиты христианства было бы доказательство на основании логического анализа всего хода еврейской истории и мессианских идей иудаизма, что мессия уже пришел" (стр. 58). Научное утверждение, исходящее из "если" и приходящее к "было бы", плюс приписывание древним собственным логическим идеалов, с точки зрения научной этики не является даже суждением. Что же касается фактической стороны данной цитаты, то "еврейские корни" лишены почвы, а мнение о хорошем образовании русской элиты в X веке просто неверно. Поэтому приходится согласиться с Г. П. Федотовым: причиной отсутствия теологии в Древней Руси была как раз культурная неразвитость и незнание иностранных (греческого) языков.

Оставляют меня холодным и этимологические авантюры автора: древнее название Киева "Самбат" не происходит от талмудического "Самбатиион" — названия мифической реки, останавливающей свое течение по субботам (стр. 63). Во-первых, потому, что Днепр по субботам не останавливается, а во-вторых — "Самбат" есть передача греческими буквами древнерусского произношения "Сон-вод", то есть Суводь — "стечение воды", то есть название места, где одна река впадает в другую; "Рош" — "голова" (רש) не выводится из "рааш" — "шум" (רשע) (стр. 18–19): "алеф" и "айин" разные звуки и друг друга не заменяют, "айин" же никогда и ни при каких условиях по корню не гуляет, а потому "раша" — злодей (רשע) из "рааш" (רשע) "шум" никак не получится; на вычитывании ломаных ивритских слов из древнешведских названий днепровских порогов (стр. 46–49) я позволю себе не останавливаться.

Книга Ирмы Хайнман представляет собой редкий по чистоте пример неквалифицированной эрудиции, то есть такого качества, обладая которым, автор, добросовестно прочитавший громадное количество специальной литературы, не способен самостоятельно оценить ни факты, ни прочитанное.

Историческое исследование должно отвечать двум требованиям: быть свободным от идеологической предвзятости и быть научным. К сожалению, книга "Еврейская диаспора и Русь" находит свое место в ряду

других исторических антиутопий (палестинские арабы — потомки славян, этруски — предки лопарей и т. п.).

Отвергая методологические принципы исследования Ирмы Хайнман, я также не могу разделить и идеологические. По моему убеждению, инициатива создания Русской державы не прибавляет евреям ни славы, ни почета. По счастью, хотя бы этого просчета наша история не знала.

Зезв БАР-СЕЛА

ХРОНИКА

ФРАНЦИЯ

Культурные центры и ассоциации

Культурный центр "Мерказ", расположенный на горе Монмартр в Париже, был основан в 1956 году, чтобы помогать детям первых еврейских иммигрантов из стран Северной Африки. Впоследствии деятельность центра расширилась, и "Мерказ" стали посещать люди всех возрастов. При "Мерказе" работают различные курсы (в частности, для изучающих Тору и Талмуд); организуются встречи, на которых обсуждается положение советских евреев, проводятся уроки французского языка для новых иммигрантов.

Недавно культурный центр марокканского еврейства "Рамбам" торжественно отпраздновал свою первую годовщину. На праздничном вечере присутствовал посол Израиля во Франции г-н О. Софер. При центре "Рамбам" организованы курсы по изучению Торы и Талмуда. По субботам и праздникам проводятся молитвы.

Отметил вторую годовщину со дня своего основания Художественный центр еврейской женской организации Вицо "Лорье" ("Лавры"). При центре ежегодно проводится конкурс на лучшие

работы в области живописи, скульптуры и графики.

Отметила свою вторую годовщину Ассоциация еврейских артистов и художников Франции (АЖА), созданная в 1982 году. Целью этой ассоциации является подготовка театральных постановок, концертов, выступлений художественных и музыкальных ансамблей, организация выставок работ художников-живописцев, скульпторов и фотографов.

Библиотеки

Еврейская библиотека, собирающая книги на языке идиш, носит имя Медема и существует более полувека. При библиотеке, основанной в 1929 году в Париже бундовцами, сегодня работают культурный центр, детский клуб, разнообразные курсы (в частности, по изучению языка идиш).

Библиотека организации "Всемирный еврейский альянс" в Париже насчитывает 100 000 томов. В фондах библиотеки хранятся редчайшие книги и рукописи.

Книги на еврейские темы

Крупные французские издательства в течение многих лет ведут целые серии книг на еврейские темы. Издатель-

ство "Эдиссон де Миньон" выпускает серию "Алеф", куда включены книги на темы еврейской жизни, истории, культуры; издательство "Кальманн — Леви" публикует серию "Диаспора"; издательство "Вердье" выпускает серию "Десять заповедей", посвященную главным образом вопросам еврейской мистики и философии; издательство "Сток" печатает серию "Иудаизм — Израиль", включающую работы по еврейской истории и мистике; и наконец, крупнейшее издательство "Альбен Мишель" продолжает начатую еще в 1954 году серию "Современный иудаизм", посвященную еврейской истории, философии и литературе.

Пресса

Среди нескольких десятков еврейских изданий, выходящих во Франции, отметим два парижских студенческих журнала: ежемесячник "Экспресс-Сион" (начал выходить в 1983 г.) и "Резистанс" (журнал парижского отделения Союза еврейских студентов Франции).

Конференции

В ноябре 1983 года Либеральное еврейское движение

Франции организовало собрание на тему "Еврейская религия сегодня".

В конце 1983 года вышел в свет сборник "Традиция и современность еврейской мысли", где были опубликованы выступления участников Международного фестиваля еврейской культуры, проходившего в Париже по инициативе Э. Вейса. В этом форуме приняли участие такие видные представители еврейской интеллигенции, как Л. Ашкенази, Ш. Тригано и др., которые пытались ответить на вопрос о возрождении животворной национальной традиции в условиях современной унификации и нивелировки культурных ценностей.

Выставки

В ноябре 1983 года в парижской галерее "Сафир" состоялась выставка работ еврейского художника Террье. Излюбленная тема автора — тихие светлые пейзажи, сады, населенные причудливыми животными.

Осенью 1983 года в "Галерии де ля Платон" в Париже состоялась персональная вы-

ставка художницы Мирьям Танги, полотна которой проникнуты атмосферой кафкианской безысходности.

В Доме искусств в Крете состоялась выставка картин и гравюр еврейского художника Мильштейна.

В Музее еврейского искусства в Париже в ноябре-декабре 1983 года проходила выставка, посвященная столетию со дня рождения Франца Кафки. На выставке были представлены фотографии, документы и другие экспонаты. Особый отдел выставки был посвящен жизни евреев Праги и Чехословакии.

В феврале 1984 года в культурном центре "Раши" в Париже состоялась совместная выставка художницы Селестин Абулер (картины на библейские темы) и ее сына Франсиса Гамбургера (композиции и натюрморты).

Газеты и журналы на языке идиш

Читающих на языке идиш становится все меньше. В 1969 году во Франции выходило девять газет и журналов на идише. В настоящее время их только четыре.

ских деятелей прошлого и настоящего, заметки о сегодняшней, довольно интенсивной жизни еврейских общин Румынии, о событиях еврейской жизни за рубежом, а также рецензии на книги румынских еврейских авторов и произведения последних, чаще всего в отрывках.

Естественно, отдается дань и нынешнему румынскому режиму и румынской истории.

Материалы для публикации ниже подборки взяты из "Ревиста Култулуй Мозаик".

В ноябре 1983 года бухарестский профессор Марк

Молодежные организации

Во Франции существует несколько еврейских молодежных организаций различных направлений. Важнейшие из них — Бейтар (Ликуд), Дор а-боним (кибуцное движение), Бней-Акива (религиозное кибуцное движение), А-шомер а-цаир (Мапам), Сиона (Федерация сефардов).

Преподавание иврита

Во многих лицеях больших городов страны (Париж, Лион, Марсель, Страсбург и др.) введено преподавание иврита в качестве второго языка.

Радио и телевидение

По французскому телевидению еженедельно по воскресеньям передают две специальные программы по вопросам иудаизма и еврейской религии. Утренняя программа называется "Источник жизни", вечерняя — "Читая Библию".

В стране работают многочисленные частные еврейские радиостанции, например, "Радио Жи", "Жюдаик", "Радио шалом", "Еврейский голос", "Слушай, Израиль".

РУМЫНИЯ

Федерация еврейских общин Румынии издает выходящую раз в две недели газету "Ревиста Култулуй Мозаик". Ее объем — 12 страниц: восемь — на румынском языке, одна — на английском, две — на идише и одна — на иврите. Название можно было бы перевести, как "Журнал еврейского вероисповедания", но это не чисто религиозное издание, а скорее общественно-культурное.

Наряду со статьями о еврейской религии, праздниках и традициях, здесь печатается много материалов из истории румынского еврейства, статьи о видных еврей-

Клариан выступил перед еврейской аудиторией городов Арад и Фокшань с лекцией "Возрождение разговорного иврита", которое он оценил как чудо.

В газете "Ревиста Култулуй Мозаик" опубликован отрывок из романа Говарда Фаста "Мои прославленные братья" в переводе с английского на румынский Доры Литани, вышедшем в Израиле. Номер журнала с отрывком из романа Говарда Фаста о Макавеях был приурочен к празднику Ханука.

В лекции "Иудаизм и международное право", прочитанной 1 ноября 1983 года

перед еврейской аудиторией, бухарестский профессор Эрвин Глазер раскрыл влияние еврейских этических норм и ценностей на эволюцию международного права.

В конце 1983 года исполнилось 90 лет со дня рождения получившего мировое признание израильского художника Реувена Рубина, уроженца Румынии. В газете "Ревиста Култулуй Мозаик" теплая статья о нем подписана лично знавшим Р. Рубина христианским священником Г. Кунеску.

Как пишет "Ревиста Култулуй Мозаик", в XVIII — XIX веках в Бухаресте было несколько ашкеназских и сефардских синагог, а также улицы с "еврейскими" названиями — Синагоги, Палестины, Саула.

Румынские евреи в январе 1984 года отметили 75-летие со дня рождения Шимона Визенталья, директора Венского еврейского центра документации, созданного для розысканацистских преступников. "Ревиста Култулуй Мозаик" напомнила об участии Визенталья в поимке Адольфа Эйхмана и поместила главу из книги "Убийцы среди нас", переведенной на румынский язык и изданной в Бухаресте в 1969 году.

В последних числах декабря 1983 года члены еврейской общины Бухареста собрались от мала до велика в хоральной синагоге, чтобы почтить память жертв легионерского погрома, со времени которого прошло 43 года. Были показаны диапозитивы, запечатлевшие сцены кровавой расправы румынских фашистов, учиненной ими над мирным еврейским населением. На церемонии присутствовали посол государства Израиль в Румынии Цви Брош и работники посольства.

В 1983 году исполнилось

80 лет со дня рождения адвоката Марку Онеску (умер в 1976 году), который был основателем, руководителем и душой высшего учебного заведения для евреев, функционировавшего в Бухаресте в период гонений на еврейство (1941 — 1944 гг.). Колледж для еврейских студентов, более известный под неофициальным названием Колледж Онеску, был еврейским университетом, собравшим преподавателей и студентов, изгнанных из системы высшего образования. Высокий уровень лекций, богатая библиотека, хорошо оборудованные аудитории позволили выпустить за годы существования колледжа более полутора тысяч студентов. После 1944 года дипломы, полученные выпускниками колледжа Онеску, были признаны государством.

На сессии общего собрания Академии Наук Социалистической Республики Румынии 25 октября 1983 года профессор доктор Марчел Шарага был удостоен академической премии имени доктора Г. Маринеску, присуждаемой за достижения в области медицины. Премия дана ему за участие в работе над выпущенным академией двухтомным трактатом "Физиопатология". Профессор М. Шарага — член руководства Федерации еврейских общин Румынии и директор бухарестского дома престарелых, носящего имя главного раввина страны доктора Мозеса Розена и его жены.

В массовой серии "Библиотека для всех" (Бухарест) вышел двухтомник стихотворений Биньямина Фундоану (настоящее имя Биньямин Векслер), известного в истории французской поэзии под псевдонимом Бенжамен Фондан. Появление двухтомника совпало,

как пишет "Ревиста Култулуй Мозаик", с сорокалетием гибели талантливого румынско-французского лирика в газовой камере Аушвица.

Творчество поэта, который, как пишет автор предисловия Д. Мику, был одним из создателей современной румынской лирики и принадлежал "почти ко всем новаторским течениям", отмечала мощная и постоянная тяга к еврейской тематике. Изпод его пера вышли "Неизданный псалом Давида", "Псалом прокаженного", "Псалом Адама" и другие стихотворения на еврейскую тему. Рецензент "Ревиста Култулуй Мозаик" приводит звучащее болью и гневом стихотворение "Исход", которое перевела с французского на румынский израильская переводчица Дора Литман-Литани:

"Я не похож на вас./ Вы не родились в пути,/ в канавы не швыряли ваших детей,/ котят, едва прозревших,/ вы не брели по градам и по весьям,/ гонимые полицией,/ вам незнакомы кошмары на рассвете,/ вагоны для скота,/ смех горький униженья,/ обвинения в несовершенных преступлени-ях;/ не знали вы проклятья жить,/ сменив и имя и обличье,/ чтобы избавиться от имени, которое поносят кому не лень,/ и от лица, что всем/ служило плевательницей".

Напомним, что в 1978 году бухарестское издательство "Минерва" выпустило однотомник Б. Фундоану, автор рецензии В. Бырлядяну подчеркивает, что сам факт включения в "Библиотеку для всех" свидетельствует о том, что стихи Биньямина Фундоану стали румынской классикой.

В. ДАГМАРОВА

СССР

Либретто оперы "Иегуда Галеви"

Ленинградский композитор Гирш Пайкин сообщил в одном из последних писем, что завершил клави́р оперы "Иегуда Галеви" и приступил к работе над партитурой. Он просил Д. Ярдена перевести на иврит некоторые фрагменты либретто, написанные по-русски, и доктор Ярден уже выполнил эту просьбу.

Либретто написано самим композитором, и в нем широко использованы стихи Галеви и его современников: Шломо ибн-Гви́роля, Моше ибн-Эзры, Авраама ибн-Эзры и других.

В опере — три действия, пять картин. Первые четыре картины воссоздают облик Толедо 1109 года. Последнее действие происходит 32 года спустя в Александрии. Главные действующие лица, помимо Иегуды Галеви, — его жена Тамар, их дочь Шломит, друг семьи Моше ибн-Эзра, граф Гомес Гонсалес.

После красочной увертюры "Толедо ночью" следуют картины веселого застолья в доме Иегуды Галеви — здесь празднуют 16-летие его дочери Шломит. Завершается сцена лирическим дуэтом Шломит и влюбленного в нее Авраама ибн-Эзры.

Вторая картина открывает торжественным свадебным шествием. После венчания corteж направляется в сад, где накрыты столы для пиршества. Но веселье прерывается подозрительным шумом... Гремит набат, в городе пылают пожары, начался погром... Хозяева и гости едва успевают укрыться за массивной дверью дома.

Третья картина — дворец графа Гонсалеса. Гости танцуют воинственное болеро. Под звуки хора́ла входит в

зал епископ Хельмирес в сопровождении свиты. Он благословляет присутствующих. Танцы продолжаются. Но вот неожиданно является незваный гость — королевский врач Иегуда Галеви. Он прерывает праздник горьким стихотворением о недавнем погроме. Некоторые пристыжены и опускают головы, большинство остается равнодушным, а есть и такие, что демонстративно отворачиваются от поэта. Танцы продолжаются... Возмущенный Иегуда Галеви воздевает руки к небу и беззвучно молится.

В четвертой картине показаны остатки разгромленной еврейской общины, старики, женщины, дети, ищущие защиты под кровом дома влиятельного Иегуды Галеви. Звучат траурные хоры, слышны слова молитв. Жена поэта Тамар поет балладу о героической еврейской матери Хане, все дети которой предпочли погибнуть, но не изменить вере предков.

ЗаклЮчительная сцена оперы разворачивается в египетском порту Александрия на фоне корабля, который увозит великого поэта в Эрец-Исраэль — страну, о которой Галеви мечтал всю жизнь. Напряженно и страстно звучит его ария:

Ты ждешь ли еще, Сион,
вестей от детей твоих?
Пленных, рассеянных,
вдали от полей твоих?
Из ближних
и дальних стран
на всех четырех ветрах,
Сион, принимай поклон,
привет сыновей твоих!

(Пер. А. Гинзая)

Толпы людей пришли проститься с любимым поэтом. Иегуда Галеви поднимается на борт корабля. Хор матросов рассказывает о бу-

шевавшем недавно шторме:

Расшумелись валы
Высоки, тяжелы,
Гребни — пенно-белы,
Ветер гневно-могуч,
Небеса так темны,
Воды буйно-шумны,
Море взлетом волны
Касается туч...

(Пер. Л. Пеньковского)

Подхватив рассказ моряков, Иегуда Галеви предсказывает: наступит время, когда рассеются тучи и солнце засияет и для нашего народа. В ослепительно сверкающем море появляется mirage святого Иерусалима. Порыв ветра надувает паруса. Корабль медленно движется к горизонту.

Народ на берегу поет "Кантату гениальному скитальцу". Апофеоз оперы построен на известном стихотворении Генриха Гейне (в ивритском переводе Манделькерна) о Иегуде Галеви, которого он называет "дивным поэтом", "звездой своей эпохи", солнцем своего народа, "огненным столпом искусства".

Отрывки из оперы "Иегуда Галеви" уже звучали в Израиле на концертах и по радио в исполнении сестер Полины и Светланы Айнбиндер. Сейчас несколько арий разучивает молодой певец Залман Дойтч. Вскоре фрагменты из оперы ленинградского композитора будут показаны по телевидению.

Гиршу Пайкину 67 лет. Выпускник Ленинградской консерватории, он четыре года воевал с фашистами и завершил войну в поверженном Берлине; награжден орденами и медалями. В 1972 году его песня "Путин" получила первую премию Всесоюзного конкурса на лучшую массовую песню.

Авраам БЕН-ЭЛИ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Давид ФОГЕЛЬ (1891–1942) родился на Подолии. До второй мировой войны большую часть времени жил в Вене и Берлине; 1929 год провел в Тель-Авиве. Вторая мировая война застала его во Франции. Был отправлен фашистами в концлагерь и там погиб. Писал и печатался при жизни только на языке иврит. Единственная книга стихов "Возле сумрачных ворот" вышла в 1923 году. Книга была полна пророческих предвестий страдания, ужаса и боли. Современники отнеслись к ней холодно. Сочувственное открытие и прочтение заново поэзии Давида Фогеля началось в Израиле около 10 лет назад. Оригинальность и самобытность его стихов, совершенно свободных от тех влияний, которые сформировали ивритскую поэзию 20–30-х годов в Палестине, обеспечивают ему прочное место в истории новой ивритской литературы. Первые переводы на русский язык были сделаны Вл. Глозманом в 1975 году и напечатаны в журнале "Время и мы". В настоящее время интерес к его стихам проявляют и другие поэты-переводчики.

Владимир ГЛОЗМАН родился в 1951 году. Жил в Москве. В Израиле с 1973 года. Публиковал стихи и переводы с английского и иврита в журналах "Новый мир", "Менора", "Сион", "Время и мы", "22". В 1978 году издал книгу стихов "Милостивый государь". В 1981 году закончил Еврейский университет в Иерусалиме по специальностям славистика и ивритская литература.

Яков БРАГИНСКИЙ, молодой израильский поэт и переводчик, живет в Нагарии. Пишет на иврите и по-русски. Печатается в израильских периодических изданиях. Окончил факультет английского языка и литературы Хайфского университета.

Ицхак МЕРАС родился в 1934 году в Литве. Закончил Каунасский политехнический институт. Еврейский писатель, пишущий по-литовски. Его повести "Желтый лоскут", "На чем держится мир", "Ничья длится мгновенье" переведены на многие языки мира (в том числе на иврит) и принесли писателю мировую известность. В Израиле с 1972 года. Награжден многими литературными премиями: в 1973 г. — государственной премией им. Шазара, международной премией Общества переживших Катастрофу; в 1977 г. — литературной премией литовского Союза писателей в эмиграции (Чикаго); в 1979 г. — премией фонда Рафаэли (Израиль), в 1981 г. — литературной премией Всемирного сионистского конгресса. Роман "Сара" — первое большое произведение писателя, написанное после отъезда из СССР.

Феликс ДЕКТОР родился в 1930 году в Минске. Окончил Вильнюсский университет, учился в Литературном институте им. Горького в Москве. Занимался переводами с литовского. В 1975 году был исключен из СП СССР за выпуск самиздатского просветительского журнала еврейской культуры "Тарбут". С 1976 года живет в Иерусалиме. Владелец издательства "Тарбут", главный редактор журналов "Народ и земля", "Израиль сегодня".

Михаил ГЕНДЕЛЕВ родился в 1950 году. Получил образование в Ленинграде, где окончил медицинский институт. С 1977 года живет в Израиле. Поэт и переводчик, широко печатающийся в зарубежных изданиях на русском языке. Автор двух поэтических книг — "Въезд в Иерусалим" (1978) и "Послания к лемурам" (1981). При переводе стихотворения "Уходя из Саргосы" М. Генделев пользовался комментарием П. Криксунова.

Давид ШАХАР — современный израильский писатель. Автор тетралогии, охватывающей долгую историю израильских войн. Последняя книга этой серии — "Тайный агент его величества". Роман "День графини" был отмечен в 1983 году как лучшая переводная книга во Франции. Уроженец Иерусалима, Д. Шахар хорошо передает характерный бытовой облик

своего города времен британского мандата и становления еврейского государства. Для творчества Д. Шахара характерны тонкий юмор, историческая символика, внимание к специфическим иерусалимским типам людей.

Валерий КУКУЙ — переводчик с языка иврит. Получил инженерное образование в Свердловске. За активную сионистскую деятельность был осужден и отбывал многолетний лагерный срок в Советском Союзе. В Израиле совмещает работу инженера с постоянным участием в русских журналах в качестве переводчика художественной прозы.

Александр РОЗЕНФЕЛЬД родился в 1941 году в Тамбове. С 5 лет жил в Польше. Окончил филологический факультет Католического университета в Люблине. Первая книга стихов вышла в 1971 году, вторая — в 1976, третья — в 1978. Четвертая книга стихов вышла в подпольном издательстве "АВС". В городе Чельско-Бяло (после августа 1980 года) редактировал газету свободного профсоюза "Солидарность" и сотрудничал в подпольном издательстве "Нова". Его имя значилось в списках лиц, подлежащих аресту. Власти предложили ему покинуть страну. 30 июня 1982 года он прибыл в Израиль. Израильские газеты "Маарив", "Едиот ахронот" и "Аль а-мишмар" поместили интервью с ним и подборки его стихов в переводе на иврит. По-русски печатается впервые.

Юлия ВИНЕР родилась в 1935 году в Москве. Закончила сценарный факультет ВГИКа. С 1971 года живет в Иерусалиме. Переводит с английского и польского. В журнале "22" напечатана ее повесть "Соломон Исакович".

Михаил КАЛИК — кинорежиссер, автор фильмов "Колыбельная" (1980), "Человек идет за солнцем" (1962), "До свиданья, мальчики" (1966), "Трое и одна" (1975) и др. С 1971 года живет в Иерусалиме. Неоднократно награждался премиями, советскими и международными. Киносценарий "Король Матиуш и старый доктор" написан в соавторстве с писателем Александром Шаровым.

Эдуард КАПИТАЙКИН родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, где работал до отъезда в Израиль в 1977 году. Кандидат искусствоведения, опубликовал около четырехсот своих работ в научных и популярных советских, израильских и зарубежных изданиях на русском языке.

Раби Имануэль ЯКУБОВИЦ — современный еврейский ученый и общественный деятель. Главный раввин Англии.

Ирена БАТ-ЦВИ (ГЛОЗМАН) получила художественное образование в Киеве, Львове и Москве, окончила Еврейский университет в Иерусалиме по специальностям история искусств и славистика. В Израиле постоянно выходят книги в ее оформлении.

Голда МЕИР (1898—1978) — видная деятельница сионистского движения, родилась в Киеве. В 1906 году родители эмигрировали в США. С 1921 года жила в Палестине, занимала ответственные посты в женской организации ВИЦО, в Федерации профсоюзов, в Еврейском Агентстве, в партии Труда. В 1949 году была назначена первым послом Израиля в Советском Союзе. С 1956 по 1965 год — министр иностранных дел Израиля. С 1969 по 1973 год возглавляла правительство Израиля. Ее книга "Автобиография" готовится к изданию на русском языке в издательстве "Библиотека-Алия".

Борис МОЙШЕЗОН родился в 1937 году в Одессе. Математик, доктор физико-математических наук (с 1967 г.). С 1972 по 1977 год — профессор Тель-Авивского университета. С 1977 — профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке. Большинство его работ посвящено алгебраической геометрии и топологии. Проблемами предистории занимается с 1978 года.

Михаил ВАЙСКОПФ родился в 1948 году в городе Муроме, детство провел в Таллине. Изучал русскую филологию в университетах Тарту и Иерусалима. С 1981 года — аспирант Еврейского университета в Иерусалиме; публиковал свои работы в научных изданиях "Slavica Hierosolymitana", "Studies in Soviet Thought", "Wiener Slawistischer Almanach"; литературно-критические заметки печатает в журнале "22".

Шуламит ЙОНАИ (ШИШКО) — журналист, родилась в Вильнюсе; училась в Московском историко-архивном институте. С 1980 года живет в Израиле.

Михаил ВАЙНШТЕЙН родился в Туле в 1928 году. Окончил литературное отделение Московского полиграфического института. Кандидат философских наук. Автор ряда работ по эстетике и истории литературы. В Израиле с 1977 года. Печатался в журналах "Континент", "Сион", альманахе "Тарбут" и др. Инициатор издания книжной серии "Память", в которой вышли в свет избранные произведения Льва Лунца, Семена Гехта, Ильи Эренбурга, Александра Цибулевского и др. Автор сборника статей "Антисемитизм... и завтра?!".

Яков АШКЕНАЗИ (ЦИГЕЛЬМАН) родился в 1935 году. Окончил Ленинградский университет. Журналист и писатель. В 1970-71 годах — литсотрудник газеты "Биробиджанская звезда" (на русском языке). В Израиле с 1974 года. Сотрудник израильского радио. Автор повестей "Похороны Мойше Дорфера" и "Убийство на бульваре Бен-Маймон".

Михаил ХЕЙФЕЦ родился в Ленинграде в 1934 году. Окончил Педагогический институт им. Герцена по специальности русский язык и литература. Журналист, литератор. Автор книг "Секретарь тайной полиции" (Москва, 1968), "Место и время" (Париж, 1978), "Украинские силуэты" (Нью-Йорк, 1984). За составление предисловия к самиздатскому собранию сочинений И. Бродского получил 4 года лагерей и 2 года ссылки. В Израиле с 1980 года. Сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. Широко публикуется в различных изданиях на русском языке.

Зеэв БАР-СЕЛА родился в 1947 году в Москве. Учился в МГУ и Еврейском университете в Иерусалиме. Лингвист, литературовед. С 1973 года живет в Иерусалиме. Печатается в израильских русскоязычных изданиях.

НАРОД ИЗРАИЛЬ

ЖУРНАЛ
ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
№2, 1984

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Роман Б. Маламуда "После катастрофы".
- Стихи М. Генделева "Месяц ав".
- Главы из романа Д. Х. Томаса "Белая гостиница".
- Главы из книги мемуаров Ги де Ротшильда.
- Статьи Я. Тальмона, Э. Капитайкина, Б. Мойшезона, М. Каганской, Ш. Маркиша, а также материалы других авторов.

Цена номера — 6 долларов США.

Подписка на год — 20 долларов США.

Для подписчиков журнала "Израиль сегодня" — скидка 10%.

Заказы по адресу: "Tarbut", P.O.B. 8383, Jerusalem 91083, Israel.

